

Октябрь

Светлана Чураева
ПОСЛЕДНИЙ
АПОСТОЛ

Борис Васильев
ОГЛЯНИСЬ
НА СЕРЕДИНЕ

Ольга Сувчинская
ДВА РАССКАЗА

Михаил Тарковский
С ЛЮДЬМИ
И БЕЗ ЛЮДЕЙ

6 2003

Уважаемые читатели!

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

ОКтябрь

можно оформить в любом почтовом отделении России
по Объединенному каталогу "Пресса России" зеленого цвета.

Индекс для Российской Федерации -

73293

для подписчиков Москвы - стр. 282,

для остальных регионов - стр. 242.

В странах СНГ подписка оформляется
по местным подписным каталогам.

Подписной индекс -

79209.

По льготной цене в редакции

(ул. Правды, 11/13)

МОЖНО:

- подписаться на журнал с очередного номера,
- купить отдельные номера текущего года,
- подобрать заинтересовавшие вас номера
прошлых лет.

Справки по тел. (095) 214 31 23.

В розницу наш журнал продается в московских книжных магазинах:

"Библио-Глобус" - Мясницкая ул., 6,
"Проект О.Г.И." - Потаповский пер., 8/12, стр. 2.

За рубежом журнал "Октябрь" распространяют:

Американская фирма "Ист Вью Пабליкейшенс" (East View Publications, Inc. 3020
Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31.
В Москве тел. (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81).

Фирма "Наука-экспорт" Российской Академии Наук. Тел. (095) 334 74 79, 334 71 40.
E-mail: nauka@naukae.msk.ru

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6 2003

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Светлана ЧУРАЕВА.
Последний апостол. Повесть о необычных приключениях
святого Павла. *Вступление Владимира Маканина* 3
- Илья ФАЛИКОВ.
Точка слуха. С т и х и 35
- Борис ВАСИЛЬЕВ.
Оглянись на середине. Комментарии к прожитой жизни 38
- Андрей ГРИЦМАН.
На дне пейзажа. С т и х и 82
- Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ.
Два рассказа 85
- Ильдар АБУЗЯРОВ.
Сокровенные желания. Р а с с к а з 110

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Место жительства

- Михаил ТАРКОВСКИЙ.
С людьми и без людей 118

Метафизика быта

- Анатолий НАЙМАН, Галина НАРИНСКАЯ.
Процесс еды и беседы. 100 кулинарных и интеллектуаль-
ных рецептов. *Продолжение* 146
- Михаил ХОЛМОГОРОВ.
Реквием по «Беломору» 162

Старое, но не устаревшее письмо. М.Л.Галлай – А.Е.Голованову.
 Предисловие Л.Лазарева. Публикация К.В.Галлай 165

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Анастасия ЕРМАКОВА о книге Валерия Попова «Очаровательное захолустье».*
 Л.Н.ЦЕЛКОВА о книге «Набоков о Набокове и прочем».* Иван БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ о
 «Сочинениях» Елены Шварц.* Владимир ШПАКОВ о книге Леона Богданова «Заметки о
 чаепитии и землетрясениях».* Иосиф НЕЛИН о книге Алексея Пурина «Новые
 стихотворения».* Александр ЛЮСЫЙ о томе IV «Теории литературы».* Ирина
 РАТУШИНСКАЯ о книге Кирилла Ковальджи «Тебе. До востребования». 173

Борис ХАЗАНОВ.
 Шульц, или Общая систематика осени 187

Главный редактор
 Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	<i>зам. гл. редактора</i>
Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Афанасий МАМЕДОВ	<i>исполнительный директор</i>
Павел БЕЛИЦКИЙ	<i>отдел прозы</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
 Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов,
 Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила
 Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
 Российской Федерации выкупает для библиотек России
 400 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.
 Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
 ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24,
 приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2003. Электронная версия журнала <http://magazines.russ.ru>
 При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
 рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
 Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 22.05.03. Формат 70x108/16.
 Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
 Тираж 4180 экз. Заказ № 1172. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГП «Книжная фабрика №1»
 Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
 144003 Московская обл., г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.25

Светлана ЧУРАЕВА

Последний апостол

ПОВЕСТЬ О НЕОБЫЧАЙНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ СЯТОГО ПАВЛА

На Втором форуме молодых писателей в Липках мне предложили прочитать несколько рукописей. Одна из них – Светланы Чураевой.

Она приехала на форум из Уфы вместе с мужем, в соавторстве с которым выпустила недавно первую книгу. Но эта, предложенная форуму, повесть была уже ее и только ее повестью. Личной. Особенной. С тем удивительным ощущением, что рывок в прозе сделан автором только что, прямо сейчас и на твоих глазах.

Удивителен и герой повести, апостол. Евангельская тематика плодотворна, если писатель талантлив. Леонид Андреев... Бунин... Булгаков... И это лишь сразу вспоминающиеся русские авторы. А сколько еще иноязычных!

Апостол Павел – одна из сложнейших фигур Нового Завета. Чаще всего он представляется крепким мужчиной, который еще вчера был Савлом – свирепым гонителем христиан. Чураева дает совсем другой образ: ее Павел – это зажавший себя в кулак, колеблющийся и глубоко тоскующий человек. Да, он обратился. Да, он верует. Но как же он боится сам себя! Но как же еще много, бесконечно много трудиться этому испуганному сердцу!..

«Варнава взял незадачливого проповедника под руку, повел по улице.

– Так, значит, ты говорил с Иисусом? – спросил он.

– Да.

– Я верю тебе. – Варнава кивнул, довольный. – Ты слышишь мертвых, это хорошо.

– Я познал языки человеческие и ангельские, – с достоинством подтвердил Павел.

– А любви не имеешь, – усмехнулся Варнава.

– Иисус любит меня, – напустился Павел.

Варнава дружелюбно посмотрел на него, низенького, побитого, грязного и заплаканного.

– А кого любишь ты, Павел?»

Проза Светланы Чураевой – внешне легкая, но одновременно тонкая, выверенная в каждом слове – оптимальная проза для читателя наших дней.

Владимир МАКАНИН

– Это дитя – от Бога.

Жена его полулежит, опершись на локоть, глаз не сводит с младенца. И в голосе ее только любовь.

Сама еще ребенок. Долговязая, нескладная, некрасивая. Невесомые золотые волосы распущены, застревают на грубом полотне рубахи на плечах, пушатся над теменем, падают на лицо. Она сдувает их пухлыми сонными губами. И глаза у нее такие же сонные, с матовыми золотыми крапинами. Тонкие золотые ресницы. Тонкие золотые брови. Вся она,

белокожая, в этом неуловимом для взгляда золотистом пуху. От низкого лба до облупленных пяток. Зачем она обколупывает свои бело-золотые пятки? Обкусывает бело-золотые ногти на худых пальцах. Глупая двенадцатилетняя девочка.

Зачем он привел ее в дом, пожалел? Она ни на что не годится. Молчит целыми днями, улыбается. Спросишь – не отвечает. Прикажешь – не слышит.

И в то же время сколько высокомерия! Будто только она разговаривает с Богом, медленная никчемная девка!

– Я просила у Господа ребенка, и Он даровал мне.

Животик, уже порожний, торчит еще, топорщит рубашку. Золотистое козье вымя Марии выпадает из-за полотна. Она водит соском по сытому младенческому роту.

Бесстыжая тварь! Ни капли раскаяния. Только гордость и любовь. Нет, не гордость – любовь. Любовь этим маленьким убудком.

Его сыновья были чернявые, крикливые, а этот – молчун, как его мать. С таким же высокомерным не видящим тебя взглядом. Сиянием золотого пуха на темени. И все-таки вылитый отец.

Те же удлинненные глаза, тот же нос, тот же рот, что у солдата Пандеры.

– Разве он не чудо, Иосиф?

Смотрит прямо в глаза, а как будто мимо. Интересно, она успела хоть что-нибудь почувствовать, когда познал ее этот римский подонок?

– Я видела ангелов, Иосиф.

Еврейская женщина не должна быть такой. Анна не была такой. Она покорно носила все. На детей смотрела с горестным недоумением, будто не понимая, для чего они. «Раз так установлено, буду рожать», – говорила она черными равнодушными глазами. Только поджимала губы, когда муж клал ей руку на грудь.

Умная была женщина, спокойная, преданная, жаль, что кончилась.

– Прекрасных ангелов...

А эта – дура. Ничего в ней нет, кроме любви. Слишком много любви. Любовь переполняет ее. Светится сквозь кожу, стекает по волосам, по веснушчатой спине, по веснушчатой груди. Дрожит на губах, на ресницах.

Зачем он так стар?

Зачем он привел ее в дом? Хорошо, если римский пащенок сумеет выпитать всю эту любовь. А то год-два, – подрастет, и что прикажете делать с проклятой сукой?

– Прекрасные ангелы пели и славили меня...

Иосиф сердито вышел прочь, так и не ударив Марию.

Во дворе играли его сыновья. Старший, Иаков, обернулся, услышав отца, – те же недовольные губы, что у его матери.

– Не прогневайся, отец...

– Да?

– Мы не понимаем, как она родила. Ведь ты... Ведь она девочка.

– Господь послал нам чудо, – пробормотал Иосиф и отвернулся.

...Люди были раздражены в сердце и скрежетали зубами. А Стефан всмотрелся в небо и сказал: «Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога».

Иаков, слышавший эти слова, горестно поджал губы. Сын Человеческий!

Безмозглая мать не учила Иисуса. Пока он был младенцем, лишь валялась с ним на небубранной постели, дни напролет. И разговаривала с ним на голубином его языке, и блаженно слушала, как он гулит в ответ, и целовала его беспрестанно, лишь изредка поднимая голову, чтобы спросить: «Ну посмотрите, разве он не чудо?»

На нее все в доме махнули рукой: что взять с дурочки!

А он рос, и все давалось ему непозволительно легко. Любые умения, любые науки. Он уверенно спорил с учеными мужами, поражал беседами заезжих рабби.

Эта его неизбывная уверенность в себе! Это вечное высокомерие! Не задумываясь, отвечал на любой вопрос. «Господь, Отец мой, говорит во мне», – пояснял он брату.

Нам ли не знать, кто был его отец!

Но люди почему-то верили ему. Люди шли за ним, влюбляясь в него с первого взгляда. И слушали, как пророка. Он говорил увечному: «Иди!», – и увечный шел. Он говорил слепому: «Прозрей!», – и слепой видел. Откуда его власть? Уж не от глупой рыжей девочки, его матери, которая, как подсолнух лучи, ловила каждый вздох своего сыночка.

Он безбоязненно ходил по дорогам. В неистребимой своей самонадеянности полагая, что ни разбойник, ни зверь не тронут его. И люди уходили за ним, бросая свои дела.

Женщины обливали его ноги слезами, и отирали их волосами своими, и нежно целовали ему ноги, и мазали миром. Никогда женщины не целовали ног ему, Иакову! А ведь он красивее брата.

Женщины служили Иисусу, а он и это принимал, как должное. И в высокомерии своем прощал, будто он сам Господь.

«Потому говорю тебе: прощены ее грехи, которых много, потому что она сильно полюбила; а кому мало прощается, тот мало любит».

Любовь, она не кончалась в нем, не кончалась в его речах!

«Как возлюбил меня Отец, так и Я вас возлюбил; пребывайте в моей любви».

Он говорил, что пришел вернуть в мир любовь, а сам умер позорной смертью, как тать, осрамившись пред всем Иерусалимом.

Но и в смерти ему повезло, как незаслуженно везло всю жизнь. Имя его передается из уст в уста, и люди почитают его за Мессию.

Его, Иакова, мать еще в чреве своем посвятила Богу. Он всегда жил праведно, а Иисус грешил против закона. За то теперь он, Иаков, до самой смерти лишь «брат Господень», и не иначе! «А, – говорят про него люди, – это который брат Его?». Как глупо и несправедливо! Ведь не может какая-то любовь стоять выше закона и праведности.

Он, Иаков, всегда ступал степенно, а сейчас на один хороший шаг делает пять мелких. Его сбивают с шага – улица узкая, а люди устремились к воротам развлекаться убийством.

Люди, закричав громко, единодушно устремились на Стефана. Выгнав его из города, они стали побивать его камнями. А свидетели сложили свою одежду у ног юноши, которого звали Савлом.

И побивали Стефана камнями, а он призывал Господа и говорил: Господь Иисус, прими мой дух!

Иаков не хотел смотреть дальше, он захотел вернуться в город. Но люди спешили ему навстречу, к месту казни, и толкали его, и влекли за собой, чуть не сбивая с ног.

«Жестоковейные! – со смехом кричал им Стефан. – Чем гордитесь вы перед Богом? На хрен вам мудрость и милосердие Его, вам – с необрезанными ушами и сердцами!».

Иакову больно ударили по лицу локтем, ему топтали ноги и рвали одежды, но он упорно протискивался прочь.

«Иаков! – заметил его Стефан, задорно крутя головой, чтобы видеть одним уцелевшим глазом. – Передать привет брату?». Но ответа не получил: Иаков уже забился в толпу.

«Закон и справедливость», – думал Савл.

Закон и справедливость торжествуют, и счастлив Савл своим служением им. Безумец Стефан преступил закон и возмутил людей. Справедливо, что его побивают камнями и забрасывают пометом животных. Жес-

токая, безобразная казнь, подобна забавам детским, шумным и беспощадным. Ей предан вид государственной процедуры, а суть неизменна – потеха черни и горе гонимому. Гонимый получил по заслугам. Справедливо, что ему, Савлу, благочестивому и благонравному, – почет, а Стефану – помет.

«Ты! – крикнул казнимый Савлу. – Пустозвон! Кимвал звучащий, медь звенящая!».

Пустозвон? Так звала его мать шепотом, склоняя лицо свое над работой. Так дразнили Савла мальчишки-сверстники, кидаясь грязью, гоня по единственной улочке Тарсы. Так выругалась блудница, жирная и неопрятная, когда он, аскет и избранник Божий, отверг ее покупные искусства.

Пустозвон! Он достойно отвечал в суде на кощунства Стефановой речи. Слава его, фарисея Савла, будет передаваться в народе и послужит потомкам наукой. Он избран Господом отстаивать закон пред неразумными. А этот жалкий фанатик из зависти пачкал язык. Кимвал звучащий, медь звенящая – пустозвон!

Савл кинул камень, не целясь, дыша обидой и гневом. Потом еще, и вскоре кричал с толпой единый бессмысленный вопль ликования травли.

Стефан рухнул на колени, обливаясь кровью, захлебываясь кровью, истекая кровью на камни. «Господь, не вмени им греха, детям своим», – попросил он, увидев Бога.

А Савл одобрял его убийство. А толпа возмутилась, что потехе уже конец. И в тот день произошло большое гонение на церковь, которая была в Иерусалиме. Евреи пошли громить христиан, евреев.

Глава первая

Страшный Суд все не наступал, и назореи покуда судились друг с другом.

Евреи, члены иерусалимской назорейской общины, рядились с эллинистами, евреями-членами иерусалимской назорейской общины, вернувшимися из греческих земель в святой город. Те, дескать, распустились в своих Элладах, подзабыли отцовский закон, без которого еврей – не еврей, а презренный язычник и кал песий.

Эллинисты же смеялись над иерусалимским птичником да посматривали, как бы их правоверные собратья, эти голубки надутые, в скаредности своей не склонили лишнего. «Все твое – это мое, и все мое – тоже мое», – вот тебе и общность имущества. Голубки кроткие, а клювом не щелкают: нет-нет, да подгребут под себя сладкого сору. Не вступишь Стефан за эллинистских вдов, где сейчас были бы те вдовы? Подошли на своих крохах? Смирение, милосердие на словах, а случись – растерзают, заклюют на смерть.

Где молитва, где служение слову – все суета и злоба!

Хорошо, Стефан разворошил курятник: раскудахтались назореи, выбрали семь человек следить за хлебом насущным. И отлично Стефан вел все дела – не дурак, и деньгами привык ворочать, и за словом в карман не лез.

Но горе истинно праведному – протухло время, в котором живем! Господь медлит с судом, а синедрион скор на расправу. Доносчики шепчут молитву, а где умница Стефан, молодой, горячий? Валяется беззащитным трупом, скалится дерзко в безмятежное небо. Пусть себе мухи пируют, пока не засохла кровь да не спекся вытекший глаз – справедливый Стефан и при жизни следил, чтобы все были сыты. Радуйтесь, мухи!

А убийцы его спешат по вечернему Иерусалиму за своим предводителем – молодым фарисеем по имени Савл.

Слушает топот их под своими окнами смиренный Иаков, брат Господень, глава назорейской общины.

После вечерней трапезы взялись за священные книги назореи-эллинисты, скорбя по Стефану, своему брату казненному.

Горд и взволнован молодой фарисей по имени Савл. Сколько гоняли его по улицам родной Тарсы, сколько смеялись над ним! Не помогли ни деньги отца, ни добрая слава его благочестивой матери. А тут, в Иерусалиме, в городе Храма, в центре мира, он, Савл, сделал карьеру. Он учен, он постиг премудрости писаний и уважаем в синедрионе. А сейчас идет очистить любимый город от скверны, разорить источник смуты, грозящий иудеям многими бедами. Не то дождутся эти евреи, говорящие по-гречески, довыступаются, навлекут на себя и на весь Иерусалим гнев неразборчивых римлян.

Сейчас его, Савла, сам Господь взял в руки свои. Да свершится Божья кара над неразумными! Горд и взволнован молодой фарисей по имени Савл, он – меч разящий в руках Господних.

Невозмутим Иаков, брат Иисусов, в доме своем. Убийцы идут мимо его дома, идут расправиться с грешниками, усомнившимися в законе. Давно пора было вычистить с поля дурные травы, чтобы распрямились и вызревали злаки истинно праведных. Он, Иаков, на многие земли славен смирением своим. Не вкушает ни вина, ни мяса, не стрижет волос, не натирается благовониями, блюдет стыд всегда и повсюду. Он спасен от мирской суеты, сам Господь взял его, Иакова, в руки и говорит с ним. Господь карает дерзких, а он, Иаков, невозмутим в доме своем.

Назореи-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его распятым, победившим смерть. Их жены и сестры молились тоже. Те, кто не был занят засыпающей малышкой. А кто был занят тихо пели о любви, укачивая тяжелых младенцев. Дети постарше засыпали кто где, хихикающими стайками, устраивая непременные потасовки из-за тонких шерстяных одеял. Трехлетний Лука, первенец Филиппа и Марфы, свернувшись, как зародыш, в своем углу, изо всех сил сжимал глаза и шептал слова о добром боженьке, чтобы не бояться наступающей ночи. Белела под теплым небом трехэтажная инсула времен Великого Ирода, чернели в теплой земле вкопанные кувшины с зерном, водой и маслом, упала роса на развешенное белье, на детские качели, на посыпанные щепнем дорожки.

Горек был день, унесший их брата, но он прошел, и назореи-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его, распятым, победившим смерть.

Убийцы Стефана – деловитые палачи синедриона и просто азартные добровольцы – ворвались в общину, крича и топая, чтобы казаться злее. Савл, меч разящий в руках Господа, дрогнул было, замешкался, не зная, с чего начать. Но его сподвижники уже хватили, вязали мужчин и женщин, отшвыривали детей, визжащих и плачущих. Потрошили кладовые и погреба, волокли в кучу драгоценные свитки. Худой чиновник сидел на стуле, невозмутимо сортировал арестованных, сверяясь с разложенным на коленях списком, – сотни имен, итог многомесячной работы трудолюбивых доносчиков. Связанных уводили, убегающих ловили, над остальными глумились жестоко, распалившись от жара расправы.

И Савл свирепствовал вместе с другими. Он хотел быть холодным клинком справедливости, но уже полилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным на полу свиткам побежали первые ящерки пламени – жар охватывал все.

Вскоре погромщики, хохоча и спотыкаясь, как пьяные, бежали в другие дома. Под теплым небом пылала трехэтажная инсула времен Великого Ирода. Вопили и рыдали истерзанные жертвы. Каталась по земле, выла безумная Марфа, мать трехлетнего Луки, уже не слыша визга своего горящего сына. Растрепанный Филипп упрямо баюкал голодную дочку. Ходил по двору, не обращая внимания на пожар и крики, баюкал груд-

ную дочурку, пел ей о любви и спрашивал Господа: за что слепотой ты карашь детей своих, иудеев, граждан иерусалимских?

Несколько дней продолжались в Иерусалиме гонения на христиан-эллинистов. Кто успел – уехал прочь с домоочадцами, животными и скарбом. Кто не успел – попал под суд синедриона и римлян.

Скорбели апостолы по своим грекоязычным братьям, посылали учеников навещать гонимых в темницах, прятали у себя осиротевших детей, молились за невинно убитых.

Молился, не вкушал ни вина, ни мяса, не стриг волос и не натирался благовониями в доме своем благочестивый Иаков.

Савл, меч разящий в руках Господних, нелепый низкорослый юнец, кривоножка, заслужил похвалу синедриона и был отправлен агентом в Дамаск – выжечь и там пазорейскую пакость.

...Путники остановились на отдых и ночлег. Наутро – один переход, и они будут в Дамаске еще до пекла.

Здесь, у подножия холма, – хорошее место для привала, давнее излюбленное стойбище пастухов и торговцев. Безветренное, тенистое, но достаточно открытое, чтобы не слишком донимал гнус. Родник расчищен, заботливо обложен галькой; свежая вода удобно стекает по специально прилаженному обломку кувшина. В небольшой пещерке под корнями старого дерева аккуратной горкой сложена растопка...

Благословенное место.

Впрочем, Савл и его товарищи пока не нуждались в огне. Они развьючили ослов, разложили поклажу, набрали воды и достали свои немудреные припасы: плотные жирные комки сыра, хрустящие хлебцы и свежие, по сезону, фрукты. Молодое розовое вино радостно полилось в чаши... Благословенная трапеза, степенные беседы.

Солнце ярилось где-то высоко над деревьями, от ручья тянуло прохладой, хорошо лежалось уставшим, легко говорилось под молодое вино.

То да се, и разговор вышел на людей, способных принимать звериную личину. Всерьез никто из собеседников не верил в подобные превращения, но на этот счет ходило много интересных и даже скабрзных баек – так отчего не побалакать, пока не стемнело.

– Вздор, чушь египетская! – вскрикнул Савл, покраснев после очередной особенно сочной истории. Но его, мальчишку прыщавого, никто не слушал: каждый, отсмеявшись, спешил рассказать о своем и старался запомнить то, что рассказывали другие.

– Вот еще, – начал очередной рассказчик. – Один колдун мог превращаться в кого угодно. А жена у него была лакомка, каких поискать. И очень ей нравилось, когда он начинал львом. Ну, понимаете, шкура там какая-то особенная на ощупь, запах... Гриву ей нравилось трепать. Но главное в этом деле был язык! Якобы язык у льва ... – Вдруг за деревьями раздался львиный рык, все вздрогнули, но сразу же рассмеялись – совпадению и своему испугу.

– Богомерзость, – бормотал Савл, против воли жадно желая услышать продолжение.

– А кончал-то он кем? – спросил наименее сдержанный из слушателей.

– Погоди! – одернули его.

Рассказчик, утерев выступившие от смеха слезы, снова раскрыл рот, но вдруг закричал и повалился лицом на плащ, закрывая голову руками. Все как лежали, так и замерли в ужасе – к ним вышел огромный человек с львиной головой.

За ним – черный голый раб, еще огромное, чем хозяин. Он бережно поставил на камни большой кувшин.

– Что орешь? – пробормотал негр на хорошем греческом. – Карлика разбудишь. – И он осторожно заглянул в глубину кувшина. Удовлетворенно кивнул: – Спит.

Тут подошли еще люди, странные чужеземцы, явно варвары по обличию. Один с косматой бородой, с пышным завязанным хвостом волос на макушке, свирепый, краснолицый, в одежде из шкур и кожи, обвешанный оружием. Другой, наоборот, бритый, но с полоской воинственно торчащих волос на голове, с иссеченной шрамами рожей, одетый в легкие доспехи, грубый плащ, в руке – обоюдоострый топор. За ними еще – дикие, страшные, заполнили поляну, явно не стесняясь прибывших ранее. Захлопотали по-хозяйски. Воздух наполнился резкой незнакомой речью, запахом зверинца, дыма, копченой рыбы, ячменной браги. Бряцало оружие, поодаль громко, непристойно рассмеялась женщина.

– Заткнись, Хель! – крикнул, отвернувшись, негр. – Карлик спит.

Страшная баба высунулась из-за плеча волосатого варвара, нарезавшего на камне хлеб. Половина лица – сплошное фиолетовое пятно, ото лба до подбородка, вторая половина – красоты неопишущей, яркой, свирепой. Круглые плечи, красивые руки, высокая грудь под шерстяным платьем, но в бесстыдные разрезы ниже пояса видно, что с ногами что-то не в порядке – чуть ли не голые, изъеденные непонятной болезнью кости белеют среди юбок. Вокруг горла у бабы блестел металлический ошейник, цепь от которого прикрепили к дереву. Что не мешало ей хохотать и браниться с безумной яростью. Негр попытался урезонить неистовую тварь, заговорив на ее языке, но тщетно. Тогда один из воинов просто ударил ее прямо в рот, с такой силой, что уродина отлетела к дереву, ударилась о ствол, сползла по нему, злобно визжа и громящая цепью.

Львиноголовый посмотрел на нее спокойно, она сразу замолчала, затихла, зарывшись в свое тряпье, закрыв лицо рыжими космами.

Богомерзость! Савл во все глаза смотрел на это адово скопище.

Впрочем, все выглядело довольно мирно. Львиноголовый – его лицо действительно очень напоминало звериную морду – прилег на плащ, отпил из кисло пахнущей плетеной бутылки. Негр, пожалуй, все-таки не раб, приладил свой кувшин между камнями, улегся рядом, положив щеку на теплый валун. Остальные расположились группками кто где, зачавкали, забулькали, не воздав даже хвалу Господу за дары его.

Евреи, собрав припасы, сгрудились настороженной кучкой возле своих ослов.

– Ешьте, не стесняйтесь, – милостиво предложил человек с головой, похожей на львиную. – Вы нам не мешаете. – С евреями он заговорил по-арамейски.

Те неприязненно промолчали.

– Они брезгают. Разве ты не знаешь их обычаев? – насмешливо спросил один из пришельцев. Он подошел и сел рядом с львиноголовым.

Этот, новый, сильно отличался от своих товарищей: по лицу и по одежде видно, что местный, иудей, только ноги босы. Улыбнулся, достал из сумки большую сушеную рыбину и неторопливо, со вкусом, принялся ее разделять.

В этой дикой ватаге был еще один иудей. Но в виде непотребном совершенно: одежда порвана, весь в крови, в ссадинах, один глаз выбит и жутким месивом размазан по виску. Впрочем, этот вид и самому раненому был явно противен: он, став на колени перед ручьем, принялся смывать с себя грязь.

Чудны дела твои, Господи!

– Кто вы? – не удержался от вопроса Савл. И попытался говорить чуть любезнее: – Куда путь держите?

– Мы ищем клады, – вежливо ответил человек с львиной головой.

Вот как – гробокопатели! Разорители древних гробниц, которых множество в здешних пустынях. Ничейные люди и без Бога в сердце, и без царя в голове. Слепцы, гонящиеся за призрачным блеском золота.

– Что же ты отодвинулся, рабби? – весело спросил иудей, разделяющий рыбу.

Савл промолчал. Иудей, сдвув с пальцев рыбью чешую, похлопал Савла по плечу. – Ты – рабби, и я – рабби. Мы пойдем друг друга. Будь доверчивее к миру, не жди от него зла, и мир ответит тебе добром. – У этого человека был нестерпимый галилейский акцент, и Савл не удержался от грубости:

– Уж не думаешь ли ты меня поучать? – Еще чего не хватало! Его, уважаемого агента синедриона, будет учить галилейский нищий, подрабатывающий проводником у язычников да еще не гнушающийся делить с ними трапезу!

– Что плохого в поисках кладов? – недоуменно спросил львиноголовый. Он стяхнул налетевший в белую гриву рыбий мусор, отхлебнул из своей бугыли и передал бутылку проводнику. Этот чужеземец один из всей ватаги был совсем без оружия, но очень уж велик ростом и почему-то казался опасным.

Савл, испугавшись, ответил:

– Клады не приносят счастья. Их закапывают под злое колдовство. Только хозяин, сильный чародей или блаженный недоумок могут безбоязненно притронуться к кладу. Потому что для мудреца и для дурачка сокровища – просто побрякушки, без ценности и пользы. Над остальными клады имеют страшную власть.

– Наше ремесло трудное, – согласился гривастый. – Но не хуже прочих. При чем тут счастье, колдовство? Мы зарабатываем деньги – вот и все. Какое же ремесло у тебя, сердитый?

– Я делаю палатки, – ответил Савл. Это было правдой, а о своей богоугодной миссии он предпочел промолчать. Делать палатки, печь хлеб, обучать мудрости – работа, полезная людям. А поиски кладов – пустая погоня за золотым тельцом. Суета ради обогащения – не ремесло.

– Дорого берешь за палатки? – спросил, подойдя к ним, раненый, который отмылся в ручье и выглядел уже не так дико. Одноглазый удивительно походил на Стефана, казненного назорея, и это было очень неприятно Савлу. Он буркнул:

– Обычную плату.

– Это хорошо, – сказал похожий на Стефана. – Хорошо, когда знаешь, сколько, чем и за что платишь. А я вот недавно отдал глаз и получил возможность видеть незримое.

«Безумец», – подумал Савл.

– Глаз за науку – это недорого. – Белогривый что-то подсчитал в уме.

Все они безумцы. Два этих странных еврея, этот спящий негр со своим карликом в кувшине, этот урод со звериной башкой, не говоря уж о прочих – их слишком много. Савл решил не злить чужаков, рассмеялся через силу:

– Все мы гоняемся за кладами! Вы ищите их в песках, мы, евреи, роемся в древних черепках наших священных писаний.

– Вот и молодец! – обрадовался похожий на Стефана. – Выпей с нами!

«Сыну богоизбранного народа пить с язычниками?!» – подумал Савл.

– Что есть богоизбранность? – отхлебнув из бутылки, изрек галилеянин. – Бог избирает и дает многие дары. Ты, одаренный вдесятеро, лучше ли прочих? Нет, ты вдесятеро отвечаешь перед Господом своим. Пастуху, пасущему десять овец, больше хлопот и меньше праздности, чем пасущему одну овцу. Ему вдесятеро отвечать перед господином. Тебе, богоизбранному, предстоит много трудов, выпей с нами! Достаньте чашу.

– Ту самую? – уточнил одноглазый.

– Да.

Не выпить – страшно, выпить – противно. Савлу протянули тяжелую чашу, налив туда темный варварский напиток. Со змеиным шипением поднялась из чаши белая пена, выползла на песок.

– Пей, – подбодрил галилеянин. – Хорошо пойдет в жаркий-то день. – Разломил руками блестящий слиток рыбьей икры, половинку протянул Савлу.

Тот хлебнул – горько, не вино. Откусил – икра противная, едко соленая, липнет к зубам. Скорее отпил еще, чтобы прополоскать рот. Горько. – Так вкушаем мы горечь познания после соли наших печалей, – произнес сумасшедший одноглазый еврей.

– Пить познание горько, – подтвердил проводник, – но от него становится легко душе и приятно телу. Пей, пей до конца.

Вот и все. Савл содрогнулся – пустая чаша была вымазана чем-то черным, запекшимся потеками по стенкам и намертво налипшим на дно.

Диковинная тяжелая гладкая чаша – два полушария, сросшихся макушками. Пенное варварское пойло. Горькое, темное – куда ему до сладких виноградных соков, до светлой солнечной крови горы Кармель! Никакого удовольствия от такого угощения, Боже упаси выпить его вторично.

– Привыкнешь, – успокоил великан с головой зверя. Он затеял с проводником странную игру. Начертил прутиком на мокром песке две невиданные буквы, между ними – точки. Галилеянин пристально всмотрелся в эти знаки.

– Эйваз? – спросил, подумав.

– Нет, – ответил львиноголовый и накарябал рядом вертикальную палочку.

– Отал, – предположил еврей.

Его соперник согласился и вписал вместо одной из точек еще одну странную букву.

Потом галилеянин снова сказал неправильно. Вертикальную полоску на песке зачеркнула горизонтальная. Следующая буква мимо, и на рисунке появился кружок с глазками и ртом – голова. Еще ошибка – туловище. Проводник никак не мог отгадать, какие буквы следует вписать вместо точек, и проиграл. Львиноголовый дорисовал человечка на кресте и радостно объявил:

– Распят!

Галилеянин, пожав плечами, стер рисунок. Написал свои буквы.

– Отыграюсь. Давай, начинай.

– Ингуз! – воскликнул чужеземец с головой льва.

Его друзья рассмеялись.

Димас, старый никчемный раб, то и дело как бы невзначай проходил мимо играющих. Этот разряженный суетный человечек считал себя ученым, мудрецом, философом и любил, чтобы другие считали так же. Но сейчас он, позабыв всякое достоинство, кружил около чужеземцев, как любопытная шавка.

Наконец не выдержал и обратился к львиноголовому:

– Ты позволишь спросить, господин мой?

– Позволяю, – буркнул тот.

– Где выучился ты этим письменам?

– Нигде.

Чужеземец, пощипывая себя за ухо, раздумывал, какую следующую букву назвать, а Димас притворился обиженным. Но на него никто не обращал внимания, поэтому он спросил снова:

– Из какой ты страны, о, господин мой?

Чужеземец с досадливым недоумением уставился на жирного курчавого раба, будто вспоминая, что это и откуда. Старый грек вдруг испугался: неподвижное лицо его странного собеседника теперь уж слишком напоминало львиную морду, и смотрел он зверь зверем.

– Ну, допустим, из Асгарда. Ты доволен, червь?

Димас лстыиво рассмеялся:

– Извольте шутить, мой господин? Такой страны нет.

Черный гигант рядом пробормотал, не открывая глаз:

– Хочешь, я сделаю, чтобы тебя не было?

Смех Димаса стал тоньше и визгливее.

– Эй, это мой раб! – предостерегающе крикнул Савл, но его будто и не услышали.

– Я мог бы наказать тебя: отнять у тебя зрение, слух, способность к речи. – Грек, поверив, затрясся. – Но не могу, – закончил львиноголовый. – Поскольку у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего. Ступай, раб. – Повернулся к игравшему с ним иудею: – Этот дурак сбил меня, доиграем после?

Иудей усмехнулся:

– Все равно тебе болтаться на Югдрасиле!

Савл, сердито оттолкнув потного Димаса, отошел от лагеря по нужде. Чужаки за его спиной громко заговорили на непонятном языке.

У Савлова плаща вдруг оторвалась пряжка и звонко покатила по камням. Юноша побежал за ней, присел, стал шарить в траве, оперся о нагретый солнцем валун. И тут земля, разверзшись, поглотила его.

Холодный мертвый воздух пещеры вернул Савлу сознание.

Везде, куда ему могла набиться земля, была земля. Он зашевелился, и новый земляной поток с мелкими и крупными камешками обрушился ему на голову. Фыркая и отплевываясь, Савл яростно рванулся вперед, почувствовал ногами твердый пол, оглянулся, отряхиваясь.

Из провала над головой падал тусклый свет, освещая гладкие стены, тщательно выровненные до самого свода пещеры. На них явственно проступали древние рисунки, изображения коров, буйволов, оленей. На фризах начерчены какие-то каракули – косые и поперечные линии. Длинный ряд кувшинов у одной из стен тянулся далеко в темноту.

Прямо около ног Савла раскинулся обнаженный тонкокостный скелет, нижняя часть которого была отрублена по ребра и отсутствовала. Чуть поодаль, чинно прижавшись друг к другу, вытянулись еще скелеты: пяти детей и одной женщины. Эти были щедро разряжены. Золотые украшения ящерками поблескивали там и тут среди мертвых костей.

Савл, испуганно попятившись, споткнулся об один из кувшинов около стены. Тысячелетний сосуд медленно развалился, разрушая и соседний. Крошечный засохший трупик недельного младенца выпал на каменный пол. Его тут же прикрыло черепками второго кувшина, на которые выкатился точно такой же скорченный младенец, прикрывающий серую головку черными очень маленькими пальчиками. Нежный пух вековой плесени на хрупком остове сохранил трогательные очертания новорожденного ребенка.

Кувшинов было очень много, и каждый мог от малейшего прикосновения разродиться истлевшим младенцем. Савл замер в ужасе, сдерживая дыханье, кощунственное в этом обиталище мертвых.

Младенец на куче черепков съехал чуть ниже, лениво продолжая начатое движение, одна ручка его легко отвалилась, оставшись лежать отдельно. Трупик тут же утратил всякую трогательность, остановился, уткнувшись в глиняный обломок четко различимой пробоиной родничка на черепе. Перевернутое личико косилось беззубой челюстью, жутко смотрело в пустоту грустными овалами глазниц.

Несколько минут было очень тихо. Потом из темноты, из глубины пещеры послышались шаги.

– Прочь! – завизжал Савл. – Прочь! – завизжал тонко, как летучая мышь. Отступил, свалился тяжело на земляную кучу за спиной. Сверху обрушился большой пласт дерна, и яркий свет пронизал взвесь поднявшейся пыли.

– Савл! Савл, почему ты гонишь меня? – спросил приятный голос совсем близко.

Агент синедриона узнал галилейский акцент странного иудея, пришедшего с чужестранцами. Зашевелился на куче, пытаясь встать. В глаза его набилась пыль, он никак не мог проморгаться, слезы мешали ему ви-

деть. Поставил неукложе ногу, услышал, как хрустнули под сандалией тоненькие косточки, и закричал.

– Не бойся младенцев, Савл, – успокоил мягкий голос. – Это глупые древние люди принесли в жертву своих первенцев, живыми втиснули в эти кувшины, головами вниз, как привыкли они, вызревая в утробе. Эти дети не накопили зла, не бойся их, Савл.

Но Савл очень боялся.

В непроницаемой темноте пещеры зазвучали деловитые голоса спутников галилейского рабби. Шум, шорох, забубнил на греческом негр, перечисляя найденные драгоценности. Кто-то споткнулся, выругался: «Вальство!», его одернули.

– Вот ведь, – грустно продолжал голос проводника кладоискателей. – Иеремия и Иезекииль все попрекали Ваала человеческими жертвами. Неужели они не читали книги? Вторая и Четвертая книги Моисея: «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота...». – Голос бормотал цитаты из Писания, и Савл стал успокаиваться.

– Горе народу, который убивает своих младенцев. – В голосе послышался вздох. – Горе людям, когда они разучились передавать детям свою любовь. Дети благословенны, ибо они вызывают улыбки на наши лица и свет в наши души.

«Золотая налобная повязка, – диктовал негр, – восемь золотых, два серебряных и три бронзовых кольца, пять голубых жемчужин, серебряная пряжка...».

«Кто записывает за ним? Ведь так плохо видно», – встревожился Савл. Голос лвиноголового задумчиво произнес:

– «Тогда сказала Гиафлаг, сестра Гиуки: восемь для меня самое несчастное число на земле. Я потеряла не менее пяти мужей, двух дочерей, трех сестер и восемь братьев...»

Савлу опять стало жутко.

– Не бойся, – подбодрил голос галилеянина.

– Кто вы? – спросил Савл.

– Бессмертные, – получил он ответ.

– Боги?

– Боги? – задумчиво переспросил голос. – Не знаю, бессмертных часто называют богами.

– Почему?

– Они могущественнее, сильнее людей. А главное – они помогают преодолеть страх перед смертью.

– Скажи, разве можно не бояться смерти?

Голос тихо засмеялся.

– А что ее бояться? – Позвал: – Хель! Поди сюда, Хель!

В темноте громыхнула цепь, кто-то свирепо засопел рядом. Ужас рванул из Савла горлом, не давая ни сглотнуть, ни вздохнуть.

– Не бойся, Павел. – Голос назвал Савла его вторым, забытым, римским, именем; так называла его только тщеславная мать. – Не бойся! – Ласковое дуновение прошло по лицу, заструилось по телу, вытапливая ужас. – Страх порождает злобу, злоба разъедает душу, искореженные души забирает Хель. – Та всхрапнула жадно, всхотнула рядом.

– Не бойся! Не все попадают к Хель. Многие живут мирно, как травы и камни. Как деревья и звери. Они торгуются с Богом, говоря: я тебе – жертву, ты мне – удачную жатву. Я тебе – хлеба, ты мне – урожай. Я тебе – крови, а ты убей моего врага. Они заключают сделку и спокойны, если соблюдают свои немудреные правила.

– А смерть?

– Что им смерть? Они живут, как травы, и высыхают, как травы, рассыпая вокруг себя семя и перегнивая в землю. Они – часть растительного мира, и он не отвергает их. Можно и так жить, Павел.

– Но можно?.. – возразил Павел. – Ведь можно иначе?

Голос помедлил, усмехнулся. Возня, шаги в темноте, бряцанье золота клада и железа цепи отдалились – бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Можно просто стать равным богам.

– Кто ты, господин мой? – тихо спросил Павел.

– Я – Иисус, которого ты гонишь.

– Бог один, Иисус, – прошептал Павел. – Нет многих богов, Бог один.

– Да. Все мы едины в нем. Мы – часть тела Его. Он – это мы и весь мир.

– Зачем ты пришел, Иисус?

– Тело Господа моего болит, оно изъязвлено злобой и гордыней людской. Я пришел вернуть людям любовь.

А он, Савл, всегда хотел быть холодным клинком справедливости, но свирепствовал вместе с другими.

– Как мне убить в себе злобу? – с тоской спросил Павел.

– Понять, чего ты боишься.

– «Лилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным по полу свиткам побежало пламя...», – зачем все это? Я боялся смуты, грозящей иудеям многими бедами. Что было делать с неразумными, дразнящими римлян?

– Прийти к ним с миром и добрым словом, Павел?

А как злобно крикнула блудница у языческого храма в Киликии: «Пустозвон!» Что ее разозлило, чего боялась она? Того, что стареют ее прелести, падают в цене и скоро некому будет приласкать ее? Он же, Савл, боялся уступить искушению, осквернить тело, одновременно боялся неловкости своей, своей неудачи, и насмешки этой страшной женщины. Злобно оттолкнул ее.

– Я боялся насмешки.

– Что такое насмешка, Павел? Минутное дуновение воздуха, звук из рта – не более.

Павлу стало легко, он рассмеялся. Тысячи кувшинов ответили ему гулким эхом, снова пугая его.

– Как же победить страх, Господи?

– Если зол, остановись, оглянись, найди свой страх и посмотри ему в лицо. Посмотри: ты испугался костей, но ведь они не могут причинить тебе вреда. Ты испугался меня и гонишь, но посмотри – я ведь люблю тебя, Павел! Страх на поверку или слишком мал, или побеждаем любовью, которая сильнее страха и сильнее злобы.

– Я не знаю, что такое любовь.

– Возлюби ближнего, как самого себя.

– Я не люблю себя. Я не знаю, что такое любовь.

Ласковая рука погладила Павла по голове, взъерошила жесткие волосы.

– Бедный засохший первенец, бедный мальчик, застрявший головой в кувшине! Твой кувшин разбит, иди. Ты узнаешь, что такое любовь.

Павел поверил, что Иисус любит его. Заплакал благодарно, встал с земли и пошел в темноте, пока живой травяной воздух и тепло заходящего солнца не показали ему, что он уже на воле.

Но глаза его не видели ни трав, ни заката. Павел ослеп.

Глава вторая

Не видя дороги, Павел дошел до своих спутников. Сел на камень. Сидел, слушал, улыбаясь.

Иудеи взволнованно обсуждали нашествие чужеземцев. После тех на утопанной поляне остался кислый запах зверинца, сложенные горкой под камнем рыбы остовы да несколько перьев, запененных пылью.

Заметили, наконец, пришедшего Павла. Весь в грязи, в ссадинах; земля – в волосах, в бороде, одежда порвана. Сидит на камне, улыбается, слушает.

Бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Спасибо тебе, Иешуа–бен–Пандера, – сказал гигант с львиной головой.

Впрочем, сейчас в его лице почти не осталось сходства со зверем. Он завязал на затылке белокурые волосы и надел черную повязку на один глаз.

– Спасибо, – повторил он. – Мы хорошо провели время на твоей земле.

– Ты нашел, что искал? – спросил Иисус.

– Да. Теперь допишу свою поэму. Не хватало нескольких строк, и я нашел их.

– Ты придумал название?

– «Эдда», – ответил белокурый поэт.

– А зачем ты закрыл глаз, Один? – улыбнулся Иисус.

– Мне понравился образ, – пояснил поэт. – Я тоже буду говорить всем, что отдал глаз за науку и мудрость.

– За возможность видеть незримое, – поправил Стефан.

– Пусть будет так, – согласился Один. – Грошайте. Пойдем, Хель! – Смерть застучала цепью.

– Спасибо тебе, Иешуа–бен–Пандера, – сказал черный гигант с кувшином в руках. – Мы тоже уходим. И мы забираем чашу.

Павел улыбался, слушал, неподвижно глядя на заходящее солнце.

Его спутники встревожились.

– Савл, Савл, – тихонько позвали его.

Он не откликнулся.

– Савл! – Его позвали снова.

Молчит, улыбается, не слышит.

Тронули за руку.

– Вы меня зовете? – спросил Павел.

– Тебя.

– Зовите меня Павел.

Спутники не стали спорить.

– Что с тобой, господин? – озаботился Димас.

– Ангелы говорят со мной.

Евреи заволновались, зашептались. С праздничными лицами расселись возле Павла. Посидели, помолчали.

Молчал и Павел.

– Кто именно говорит с тобой? – не выдержал один из евреев, самый болтливый.

– Христос.

– Это который?

– Иисус – назарянин, распятый три года назад в Иерусалиме.

Евреи удивленно зашумели, зашелестели: «Иисус?.. Иисус... Тише, с ним говорит Христос!».

– А ты не падал, господин мой? – участливо спросил Димас и бережно смахнул пыль с края одежды своего хозяина.

Но, уже смахивая, понял, что поторопился. Евреи посмотрели на него неодобрительно, и он, вздохнув, отошел.

– Ты слышишь Его сейчас? – спросили спутники Павла.

– Нет.

– Он ушел?

– Не знаю.

«Тише, тише! – зашептали евреи. – Вы мешаєте ему слушать. Слушай, Павел!».

Павел сидел на камне, улыбался, слушал.

Просидел так всю недолгую ночь. Евреи вздремнули по очереди и утром отвели Павла в Дамаск.

Павел доверчиво шел, держа за руку раба Димаса, грека. То и дело подносил другую, свободную, руку к глазам и счастливо смеялся, оттого что не видит ее. Он помнил, что рука у него очень некрасивая: худая, жилистая, поросшая сверху неровным волосом, пальцы тонкие, шишковатые и морщинистые на сгибах. Павел шевелил пальцами – они легко слушались его – и счастливо смеялся.

Как мудр Господь, радовался Павел, что увел раба своего от безобразия плоти! Глаза были его, Павла, привязью, не пускавшей на волю. Он видел небо, пески, холмы – и они закрывали от него Вселенную. Он видел города, храмы, книги – они закрывали от него Создателя. Он видел лица – бородавки, морщины, язвы – они закрывали от него людей. Он видел скользкие пасти и не видел Слова. Он видел кривые с толстыми коленями ноги, тщедушное тело с мертвыми оазисами пыльных волос, пористую прыщавую кожу, маленький коричневый пенис в буром серпике обрезанной плоти – он не видел себя, Павла. Павла, которого любит Господь.

Димас вел его мимо пахучего стойбища рыбаков, и Павел был легкой, бестелесной рыбой, сквозь пустые глазницы повешенной на солнце. Солнце грело сквозь него, ветер не задерживался в нем, пролетал, лаская вывернутое пустое чрево.

Димас подвел его к городским воротам. Павел слышал, как кричали под стенами дерущиеся птицы и кричали на стенах сердитые люди – римляне строили крепость. Павел был камнем, надежно вставленным между прочих, таких же. Спокойным тяжелым камнем, теперь на столетия для него – только ветер. То холодный, утренний – с реки; то свирепый, горячий – из пустыни. Высота, ветер и крики птиц – на века.

Господь песчинкой гнал его по дороге, пчелой по цветам, поднимал к облакам дымом от кипящей похлебки. Не было глаз, закрывающих мир, а было слово Иисуса, открывшее мир: «Я люблю тебя, Павел».

Дамаск подхватил Павла разноязычным щебетанием, запахом многих тел и нагретой пыли. Придавил к земле, сбил с шага. Павел напряженно вслушивался, различая знакомые наречия; вслушивался, ожидая услышать галилейский акцент Иисуса.

Первые три дня слепой Павел провел в доме некоего Иуды, в переулке, который называется Прямой. Три дня он не ел и не пил. Ему очень нравилось, что плотское уничтожено для него...

«А в Дамаске был один ученик по имени Анания; и Господь в видении сказал ему:

– Анания!

И тот сказал:

– Вот я, Господь.

А Господь ему:

– Встань и пойди в переулок, который называется Прямой, и разыщи в доме Иуды тарсянина по имени Савл; который сейчас молится и увидел в видении, как человек по имени Анания вошел и возложил на него руки, чтобы он прозрел.

Но Анания ответил:

– Господь, я слышал от многих об этом человеке, сколько злого он сделал Твоим святым в Иерусалиме; и здесь он имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает Твое имя.

Но Господь сказал ему:

– Иди, ибо этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести мое имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля. Ибо я покажу ему, сколько он должен претерпеть за мое имя.

И Анания пошел и вошел в тот дом; и, возложив на него руки, сказал:

– Савл, брат, Господь послал меня – Иисус, явившийся тебе на дороге, которой ты шел, – чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Деяния 9:10-17.

Павел уже ждал Ананию, ждал с печалью от того, что ему снова суждено видеть.

Сначала он не почувствовал разницы. Только тише стали гоготать гуси под окнами, тише стали шаги в доме и крики на улице. И уже не так вкусно пахло хлебом со двора. Потом глаза немного привыкли к свету, и в полумраке комнаты Павел заметил Ананию, такого же кряжистого, короткошею, щекастого, как в недавнем видении.

Анания окрестил его водой из миски, которую держал в руках, поцеловал троекратно и сказал грубым голосом: «Давай-ка, поешь, а то ослаб совсем. – Поскольку Павел продолжал сидеть неподвижно, втиснул ему в рот кусочек хлеба, размоченного в воде. – Ешь!».

Павел начал есть, отяжелел, прошло ощущение невесомости и наслаждения бестелесностью. Вдохнув, он уснул, впервые за почти четверо суток.

Спал без снов и проснулся с удивительным ощущением всезнания и всепонимания. Будто все вопросы и все ответы заключались в нем; будто он весь мир впитал в ничтожную оболочку своего тела.

Но весь мир – это слишком много для одного Павла, и он поспешил в местную синагогу – делиться.

– Мир вам, иудеи, – сказал он. – Я брат ваш от семени Давидова, колена Вениаминова. Саул, тарсянин, посланный сюда синедрионом.

– И тебе мир, коли не шутишь, – ответили дамасские иудеи. – Мы слышали о тебе. Что скажешь, Саул, тарсянин?

– Откуда эта обезьяна? – брезгливо прошамкал ставосьмилетний старец в лисьей шапке.

– Агент синедриона, – вполголоса пояснили ему.

Старик недовольно промолчал, сжал высохший посох своей лапкой древней мумии.

Павел чувствовал, как много вложено в него, не знал, с чего начать делиться. Стоял, смотрел на евреев сияющими от любви глазами, маленький, неказистый.

– Братья, – начал наконец он. – По дороге в Дамаск я встретил пророка Иешуа-бен-Пандеру из Назарета.

– Вот как? – изумились слушатели. – Разве он жив? Разве не его казнили три года назад?

– Его казнили, – объяснил Павел. – Но он стал бессмертным и теперь хочет спасти нас.

– Спасти? От кого и от чего?

– Спасти нас от смерти, а Господа от боли за нас.

– Почему он не цитирует Моисея? – обиделся ставосьмилетний старик в лисьей шапке.

Ему не ответили.

– Разве можно жить после того, как тебя казнили? – любопытствовали евреи.

– Если нам начертано умирать со смертью, зачем Господь вложил в нас тревожную душу? – вопросом на вопрос ответил Павел.

– Значат ли твои слова, что мы оживем после смерти?

– Не все, а только по суду Его.

– Что он там говорит? – сердился старец в лисьей шапке. Он очень плохо слышал.

– Говорит, что спаситель уже пришел в мир и что это Иешуа из Назарета, распятый три года назад.

– Ну и что? – пожал плечиками старец.

– Что еще сказал тебе Иешуа? – спросили Павла.

– Он освободил меня от рабства страха, вдохнул дух сыновства, в котором восклицаю: «Авва, Отец!».

– Что он говорит? – сердился старец.

– Что он – сын Божий.

– Господи, и этот туда же! Хватит, уже скучно, остановите его.

– Мы все – дети Божьи, – с нежностью продолжал Павел. – Братья! Мы все вместе сбились с пути, все вместе пришли в негодность; нет никого, кто творит добро, нет ни одного. Нет праведного ни одного; нет никого, кто понимает; нет никого, кто ищет Бога.

– А теперь что говорит?

– Ругается. Бога, говорит, забыли.

– Он что, пьян?

– Иудеи! – продолжал Павел. – Вы опираетесь на закон и хвалитесь Богом, ничего не зная о нем. Уверены, что вы – поводыри для слепых, свет для тех, кто во тьме, а сами слепы. Вы – учителя младенцев, образы знаний и истины в законе – себя не учите?

– Да что он говорит там? – все больше сердился старец. – Больно уж невнятно. И долго. Хватит! Он никому не дает рта раскрыть.

– Из-за вас имя Божье хулится среди язычников, как и написано. Вспомните о любви...

– Ну хватит! – возмутился старик. Встал, решительно подошел к Павлу, ткнул его палкой в грудь. – Проваливай-ка отсюда, трепло! Кимвал звенящий! Ты пьян, тебе вступило в голову – поди проспись, а не морочь порядочных людей.

Павел схватился за палку, больно упершуюся ему в грудь. Старик выдернул палку, коротко дал Павлу по шее:

– Пошел вон, собака!

– Не надо так, – вступился стоящий рядом. – Все-таки его прислал синедрион.

– И в синедрион напишу! – визгливо огрызнулся старик. – Пусть выбирают, кого посылать! Не могут Господу служить такие уродцы!

– Господь любит всех своих детей! – с обидой выкрикнул Павел. – И красивых, и хилых; умных и глупых; и богатых, и бедных! Все имеют право на любовь его. А больное чадо больше жалеет отец.

– Он говорит: Бог любит ничтожных! – засмеялись евреи.

Слово за слово, и Павел разозлился страшно на собратьев, кричал, плакал, брызгал слюной, хватался за двери синагоги, откуда его с позором вытолкали. Дали еще пинка напоследок так, что он ткнулся лицом в пыль.

И он сидел, плакал, развозя слезы по щекам, как ребенок.

– Ты не умеешь разговаривать с евреями, брат мой, – сказал голос над его головой. – Помнишь, еще Исайя говорил: «Целый день я простирал руки мои к народу непокорному и прекословящему».

– Они даже не выслушали меня! – выкрикнул Павел. – А я умею говорить, я много выступал в самом Иерусалиме, не в этом вашем Дамаске...

– Ты сразу взял неверный тон, брат мой, – ответили ему. Сильные руки помогли подняться.

Павел оказался перед человеком прелестной наружности: белозубым, улыбочивым. С аккуратной черной бородкой, с живыми приветливыми глазами.

– Меня зовут Варнава, – сказал человек. – Я крещен, как и ты. Мир тебе, Павел.

– Мир тебе, Варнава, – пробормотал Павел.

Варнава взял незадачливого проповедника под руку, повел по улице.

– Так, значит, ты говорил с Иисусом? – спросил он.

– Да.

– Я верю тебе. – Варнава кивнул, довольный. – Ты слышишь мертвых, это хорошо.

– Я познал языки человеческие и ангельские, – с достоинством подтвердил Павел.

– А любви не имеешь, – усмехнулся Варнава.

– Иисус любит меня, – напустился Павел.

Варнава дружелюбно посмотрел на него, низенького, побитого, грязного и заплаканного.

– А кого любишь ты, Павел?

Павел промолчал. Он не знал ответа.

Он шел со своим новым спугником по пыльным, крикливым улицам Дамаска, пестрого, многоцветного, грязного. Павлу стало очень жаль того потерянного города, в который он вошел несколько дней назад. Павел закрыл глаза, тело сразу наполнилось легкостью, впустило в себя посвежившие звуки, в желудок ударил запах кипящей похлебки. Он спросил:

– Куда ты ведешь меня?

– Братья собираются на трапезу, – ответил невидимый Варнава. – Они знают о тебе и хотят услышать тебя.

– Это наши братья варят курятину? – спросил голодный Павел.

– Нет, бетончики! – засмеялся Варнава. – В Дамаске празднуют неделю холостых петушков.

– Поклоняются цыплятам? – удивился Павел и открыл глаза.

– Что ты, ничего подобного. Тут, как и везде, поклоняются умершим предкам.

– При чем тут предки? – Павел начал думать, что над ним смеются. – Языческие боги...

– Языческие боги, – подхватил Варнава, – обожествленные предки. Кого ни спроси, ведет свой род или от Геракла, или от Аполлона, или от самого Зевса. Многие мертвые стали богами так давно, что весь народ у них в потомках. Народ чтит бога как отца, а тот – прошедший рубеж смерти, рубеж более высокого, чем земное, знания, – хранит своих детей. Прибавь сюда древнюю способность договариваться с духами растений, животных, скал и прочего – вот тебе и языческие верования.

– Язычники поклоняются истуканам, это всем известно.

– Путаешь. – Варнава мотнул головой. – Язычникам нравится лепить, резать из камня, рисовать тех, кого они любят. Они любят богов, красивых женщин и мальчиков, воинов, героев – они их и лепят, богов, женщин, героев. Все божественно в мире, они радуются всему и стремятся запечатлеть свою радость – разве это плохо?

Павлу стало грустно. Ему понравился было этот встреченный Варнава, а он оказался провокатором и предателем. Одобрять идолов? Считать все божественным? Особенно женщину – мерзость и пакость? Пусть Варнава не думает, что его, Павла, можно поймать, как мальчишку. Это здесь, в Дамаске, евреи забывают святые заветы, а он-то прибыл из Иерусалима, его не проведешь.

– Бог должен быть один, – печально произнес Павел. – И это – невидимый, непознаваемый, вездесущий Бог иудеев.

– Бог должен быть один! – обрадовался Варнава. – И царь должен быть один. И народ должен быть один. Сейчас много народов, у каждого – свой царь и бог, отсюда – войны. Много народов – у каждого свой язык, отсюда – непонимание. Но конец этих времен близок. Народы объединяются великим Римом, уже один император правит на громадной территории, один язык понятен почти везде. Дальше будет лучше. Теперь дело за единой верой. Империя сплотит тело народов, единая вера – их дух. Не будет войн, будут время и силы на созидание и радость.

«Не провокатор – безумец», – понял Павел. Безумец, путаник, трепло. И, конечно, порченный еврей. Горе, горе великому Израилю, если дети его сами отворачиваются от него. Дружат, едят с язычниками, смешивают семя – так приходит конец народу. Славит Рим! Симпатичный белозубый улыбчивый человек, а вот ведь – опасный мечтатель, и долг Павла убить этого слепца.

Павел задумался, как поступить с Варнавой. Или тот все-таки просто доносчик, смущающий людей разговорами, а потом отдающий собеседника властям? Вряд ли. Если доносчик, то не римлян. Синедриона? Те

говорят по-другому. На патриота совсем не похож. Доложить о нем в Иерусалим?

– Сначала было Слово, – продолжал между тем Варнава, внимательно ступая по мощеной улице. – Что человек назовет, то и выделяет для себя из хаоса, то и существует для него. Вера создает для человека мир, в котором ему удобно жить. К примеру, греки верят во многие небеса, что вращаются вокруг Земли и двигают планеты. Верят в небо неподвижных звезд и богов, живущих на земле, на горе. Это их мир.

– Дяденька, – притворно запищал невесть откуда выскочивший мальчишка, – дяденька, дай монетку! – Мальчишка схватил Варнаву за край одежды, задерживая. Попрошайка видел, что тот сейчас во власти великих идей. А под шумок великих идей всегда хорошо клянчить по мелочи.

Павел хотел было дать нахапенку по шее, но Варнава удержал его.

– Скажи мне, кто гасит звезды? – спросил он мальчика.

Сорванец насупился: что, этот чудак не знает таких простых вещей? Издевается?

– Понятное дело, птицы, – неохотно проворчал он.

– Что, птицы, по-твоему, могут долетать до звезд? – не удержался от насмешки Павел.

«Вот деревня!» – еще более насмешливо подумал мальчик, но свой сарказм оставил при себе. – Приезжий. Неудивительно, что битый. Может, и вправду не знает, кто гасит звезды».

– Долететь, конечно, не могут, – снисходительно пояснил ребенок. – Но им и не надо. Ведь что такое звезды? – Посмотрел на Павла. «И этого не знает. Точно – деревня!». – Звезды – это души цветов, улетающие в небо, пока цветы спят. Утром, когда цветам пора просыпаться, птицы зовут звезды обратно. Те слышат и возвращаются.

– Молодец! – Варнава дал мальчику монетку. Повернулся к Павлу: – Птицы действительно очень громко кричат по утрам, и звезды действительно после этого гаснут. Попробуй докажи, что ребенок не прав. Он знал это с младенчества, его родители, и деды, и прадеды знали это – откуда ты знаешь, что это не так? – Павел молчал. Шел за Варнавой, думал. – В мире всему можно дать объяснение, с любой точки зрения. И любая точка зрения будет истинной.

Поблизости громко закукарекали мужские дурашливые голоса – бетонщики праздновали. Ели, выпивали, смеялись. Отдыхали.

– Кстати, – вспомнил Павел, – ты мне так и не рассказал, что это за праздник холостых петушков.

– Очень целесообразный, как большинство религиозных праздников. Сейчас – самая пора резать молодых петушков. Цыплята подросли: курочки скоро будут нестись, а петушков оставляют только на развод. Остальных – под нож. И в это же время поспевают многие овощи. Много овощей, много забитых петушат, вот и варят огромные котлы похлебки, отъедаются люди, пируют, отдыхают. Посвящают цыплят своим богам-покровителям, каждая ремесленная община – своему.

Бетонщики зашумели вдруг возмущенно, вскочили с разложенных у котлов подстилок, бросились к своим песчаным кучам. За одной из куч, там, где стояли деревянные лотки с готовой смесью, орудовал чужак. Да еще какой! Громадный негр, почти голый, торопливо нес к ограде какой-то залепленный серой массой предмет. У ограды его поджидал большущий кувшин. Поднялась крышка, маленькие ручки высунулись на миг из кувшина, подхватили залепленный предмет, спрятались. Великан, закрыв кувшин, подхватил его на руки и побежал прочь. Тут же, как из-под земли, появились два страшных воина чудного вида и бросились в погоню за негром.

Бетонщики удивились, но, решив не портить себе праздник, вернулись к трапезе. Оно славно бы побегать, помахать кулаками, да только вид голого негра с кувшином и вид двух его преследователей не располагали к честной драке.

Павел с Варнавой, видевшие все это, пошли дальше.

– Так вот, к вопросу о вере... – вернулся к разговору Варнава, и Павел вспомнил, что болтуна нужно убить.

Глава третья

– Почему мы так далеко ушли от своих? – спросил некстати Павел. Еврейский квартал кончился давным-давно, и вокруг бренчал повозками, цокал копытами, свистел бичами и горланил в сотни глоток совсем чужой Дамаск.

Роскошный, неряшливый, суетливый Дамаск. Воздух противно гудит вездесущими мухами. Визг, толкотня, ругань. Даже ослики здесь не трогательно-степенные, как в Иерусалиме, а крикливые, злобные, так и норовят укусить. Их хозяева вопят друг на друга громче своего скота, хватают друг друга за пестрые тряпки, плюются в длинные бороды – никто не хочет уступать дорогу. Улочки узкие, чтобы не втиснулось солнце, тенистые, но душные от запаха многих тел, от запаха фруктовых, овощных и рыбных куч, сваленных вдоль домов прямо на грязные камни.

– Здесь, в Дамаске, мы не живем с евреями, – пояснил Варнава.

– Как же так? – удивился Павел.

Его спутник рассмеялся.

– Или они не живут с нами.

– Что, вы не еврей? – Павел расстроился. – Все одного семени и одного Бога?

– Все мы Адамова семени, разных народов чада – братья между собой, – возразил Варнава. – Сын Божий вырос и живет своим домом, почему бы и нет?

Крики вокруг стали громче; сначала – возмущенные, потом – льстивые. По улице промчались несколько всадников, хлопая плетками, сердитыми приказами расчищая дорогу. Брызнули из-под копыт фрукты, хлынули, прижимаясь к стенам, торговцы.

Вся эта суета поднялась из-за двух человек, степенно возвращающихся к себе домой верхом на своих лошадях. Эти двое были довольно молоды. Один – очень нарядный, ухоженный, с множеством драгоценных украшений везде, где только можно их нацепить. Он ехал на толстой белой кобыле, красивой, такой же разряженной, как ее хозяин. Расшитый золотом плащ закутывал фигуру щеголя, скрывая даже кисти рук. Так носили плащи греческие ученые мужи, чтобы показать, что они не занимаются физическим трудом. Человек этот был светловолос и с гладко выбритым лицом, по римской моде.

Второй – тоже без усов и бороды, но волосатый чрезвычайно. Смуглый, чернявый, темноглазый, одетый только в простую ослепительно белую тунику. Из украшений – лишь тонкий золотой обруч на голове, почти не заметный в густых лоснящихся кудрях. И лошадь под ним – скаковая.

Юношей сопровождали вооруженные воины.

Варнава отступил с дороги, а Павел не успел.

– Что разявился, олух? – Стражник, толкнув его конем, проскакал мимо, даже не озабочаясь проверить, отошел зевака или нет.

Павла с утра уже достаточно толкали и унижали. И сейчас таким ничтожеством он был в глазах этих всадников, что оставалось одно – опять упасть в пыль и расплакаться.

– Не видишь, едет божественный Арета, величайший из великих! – наехал на него другой воин.

Упасть в пыль и расплакаться. Но Павел, выпрямившись во весь свой небольшой рост, крикнул злобно:

– Кто такой этот ваш Арета?

Стало очень тихо, только мухи продолжали гудеть.

– Я царь, – пояснил юноша в белой тунике, останавливая лошадь.

Его спутники остановились тоже.

– Ну и что? – спросил Павел.

– Ты должен уступить мне дорогу, – спокойно ответил Арета.

– С какой это стати? – усмехнулся рассерженный Павел. – Все мы Адамова семени. Чем ты лучше меня?

– Хотя бы тем, – царь и бровью не повел, – что у меня – деньги и власть, а ты нищ и бесправен.

– Над чем твоя власть? – неестественно взвизгнул Павел. – Над любовью, над рождением, над смертью? Как бы не так! А деньги!.. Деньги оказывают тебе плохую услугу. – Павел хихикнул. – Они создают тебе иллюзию всемогущества, а ты также гол и беспомощен перед ликом Господним, как я.

Арета недоуменно пожал плечами.

– Любовь? Рождение? Смерть? Любую женщину я могу заставить любить себя. Да и так красивейшие женщины – мои. Они рожают мне малышей. – Он улыбнулся. – А у тебя есть женщина и малыш?

Павел промолчал.

– Что тогда ты понимаешь в рождении и любви? – Царь удивленно поднял черные толстые брови. – А что касается смерти... Я могу велеть убить тебя, а ты меня – нет.

Арета чуть шевельнул пальцем, и тут же два воина, спрыгнув с коней, жестко схватили Павла за локти.

– Все равно в смерти я сильнее тебя! – крикнул Павел. – Я бессмертен, а тебя съедят черви!

– Безумец, – усмехнулся Арета. – Всех съедят черви. Когда мы будем трупами, между нами не будет разницы, но я богаче тебя на жизнь, болтун! Убейте его.

«Господи Иисусе! – взмолился несчастный Павел. – Господи, спаси и помоги. Не оставь меня в беде, Иисус, галилеянин! Не для того же ты заговорил со мной, чтобы позволить смерти забрать меня сейчас. Сейчас, когда я еще ничего не успел сделать...»

Царь с усмешкой заглянул в настойчивые глаза наглого оборвыша, осмелившегося спорить с ним. Никто не верит, что смерть случится именно с ним. Всегда кажется: «Уж я-то останусь жить». Навсегда.

«...Господи Иисусе!»

И уж подавно никто не верит, что смерть случится прямо сейчас, что время высыпает последние свои секунды.

Разряженный красавчик на белой кобыле весело рассмеялся.

– Нет, я его помилую, – сказал царь.

«Спасибо, Иисусе!»

– Но опасно поощрять дерзких, – добавил Арета. И кивнул воинам: – Выколите ему глаза!

Павел метнулся в ужасе, стражники крепче стиснули его локти. Он продолжал метаться, биться в живых железных тисках. Стражники держали. Красавчик смеялся.

Арета удивленно спросил:

– Чего же ты боишься, умник? Ты же бессмертен. Глаза по сравнению с бессмертием – такая мелочь, пустяк, два комочка слизи – не больше.

«Господи, не оставь меня!»

Один воин, продолжая держать Павла, достал кинжал и нацелился пленнику в левый глаз.

Павел отчаянно замотал головой.

Второй воин толкнул Павла, вывернул руку за спину, запрокинул ему голову, цепко схватив за волосы.

«Господи, Иисусе!»

– Стойте! – приказал Арета. – Не здесь. Ведите его во дворец. Этот случай надо использовать в назидание кое-кому из тех, кто тоже любит разевать рот и трепаться о равенстве.

– Прости, что вмешиваюсь, о, повелитель, – обратился к царю начальник охраны. – Но этот человек – иудей. Если приговор немедленно не привести в исполнение, набегит толпа занудных старцев, будет пыть, канючить, просить за своего соплеменника...

– Принесут золото! – подхватил со смехом разряженный красавчик.

– Именно, – кивнул царь. – Пусть приносят, пусть канючат. Мы поторгуемся, у нас есть что взять взамен.

– Ты опять наделал долгов, противный? – кокетливо улыбнулся Арете юноша на белой кобыле.

– Да, – скривился царь. – Ты мне недешево обходишься. Ведите преступника, – сказал он охране.

Павел брезгливо сплюнул, когда брэнчащая золотом кобыла пронесла мимо него своего разряженного седока. Держащие Павла воины сделали вид, что не заметили этого плевка. Тот, что постарше, перехватил поудобнее Павлов локоть, второй подвел поближе своего коня.

Как только божественный Арета, величайший из великих, вместе со своим эскортом скрылся за поворотом, простые смертные подняли страшный гвалт.

– «Красивейшие женщины...» – передразнивает рыбник. – «Красивейшие женщины мои», а сам-то... С этим...

– Во-во! Только красоток на него переводить!

Маленький старичок чуть не плачет, горячится:

– Как он сказал о детях! Как сказал о детях! Тепло, будто человек... А кто велел Лидии вытравить плод? А? Кто, скажите, граждане? Не Арета? Голубке, беляночке Лидии! И продал ее потом римскому центуриону, как яловую ослицу продал, граждане...

– Да! – встрял визгливый голос. – А у Долмации отнял младенца и бросил псам!

– Не псам, а свиньям, – возразили ему.

– А я говорю – псам!

– Свиньям!

– Ты ничего не знаешь, так не разевай свою вониючую пасть!

– Ах, у меня вониючая пасть?! Да ты...

Воины, арестовавшие Павла, с отъездом хозяина тоже утратили профессиональную безмолвность. Расслабились, с удовольствием долго молчавших людей принялись перемывать косточки и Арете, и его свите.

Тот, что помоложе, перехватил Павла, подвел к коню. Поскользнувшись на перезрелом апельсине, выругался грубо.

Павел дернулся изо всех сил, неожиданно для себя вырвался вдруг, побежал отчаянно, спиной ожидая удара и неминуемой боли.

Бежал, боялся, долго, ничего не видя вокруг, не слыша ничего, кроме своего захлебывающегося дыхания. Потом остановился, упал на спину, не видя ничего над собой, катался в пыли, царапая рвущуюся изнутри грудь, выл беззвучно сквозь зубы, растягивая горькие от пота губы.

Потом встал и побрел медленно. Шел, шатаясь, стискивая пальцами вздрагивающие виски.

Подня петлял Павел по душным кривым дамасским улочкам, искал переулочек Прямой. Спрашивал, замирал, заслышав бряцанье оружия и четкий шаг римских легионеров. Те проходили по городу человек по во семь, спокойно, не подозревая о существовании Павла, не подозревая о его страхе.

Наконец, обессиленный и голодный Павел добрался до дома Иуды.

– Мир тебе, – прошептал обрадовано. – Мир тебе, добрый Иуда!

– Мир тебе, – поцеловал Павла хозяин.

Отвел глаза, начал теревить пальцы:

– Мир тебе, Павел, тарсянин. Доброго вечера. Только... – Иуда затосковал. – Прости, но старейшины велели, как придешь, связать тебя и

выдать Арете. Ты, мол, смутьян отчаянный, дерзишь, можешь навлечь на общину гнев властей. Закон и справедливость требуют твоей выдачи.

– Закон и справедливость? – горько переспросил Павел.

– Ну в большей-то степени старейшина синагоги, – доверительно прошептал добряк Иуда. – С ним никто не спорит. Ему уже сто восемь лет, он потерял способность слушать. Короче... – Он решительно схватил Павла за руку.

Тот умоляюще накрыл его руку своей.

– Иуда! – сказал жалобно.

– У меня дети. И жена на сносях. Они не отвечают за твой глупый язык, – проворчал Иуда, бледнея. – Это – твоя беда.

– Нет! – вскрикнул Павел. – Нет чужой беды! Мы – одно тело. Ударишь одного, больно всему миру. Спрячь меня, брат Иуда!

Дверь распахнулась от резкого удара снаружи. В дом вошли два воина дамаской стражи.

– Этот? – кивнули на Павла.

Тот отпрянул так испуганно, что толкнул Иуду. Испугался еще больше и заметался по комнате.

Плоское, тупое лицо одного стражника заиграло весельем, он захотел нарочито громко и бросился ловить Павла. Он гонял свою жертву из угла в угол, подгоняя тычками, улюлюканьем, опрокидывал стулья и сметал со стола посуду. Останавливался на секунду, захлебываясь самозабвенным смехом идиота, подпрыгивал, вскрикивал, пугая; по широкому покрасневшему лицу потекли мутные слезы.

Иуда тоже плакал, бормотал что-то, забившись в угол.

Второй стражник спокойно стоял в дверях: другого выхода из комнаты не было. Стоял, смотрел бесстрастно, как резвится его товарищ, молчал.

Первый не уставал смеяться, но вспотел, стал нетерпеливее и злее. Уже не в шутку дупил Павла древком копья, если бедолага не успевал вернуться. Наконец, враз посерьезнев, прыгнул неожиданно ловко и почти схватил преступника. Цыкнул, развернулся, прыгнул снова.

Загнанный Павел, зажмурившись, ринулся в дверной проем, готовый погибнуть немедленно, только бы его не коснулись омерзительно потные ладони зловещего весельчака.

Второй стражник спокойно стоял в дверях. Повернулся неспешно, когда Павел пробежал мимо. Стоял, смотрел бесстрастно, как его товарищ с воплями погнался за беглецом по улице. Потом, пожав плечами, лениво зашагал следом.

Евреи затаились в своих домах, смотрели настороженно, как убегает из их спокойного квартала безумный тарсянин, агент синедриона, фарисей, обратившийся вдруг в христианство.

Они уже не увидели, как невеста откуда взявшийся негр, поставив на мостовую кувшин, который нес на плече, сграбастал прыткого стражника, стукнул головой о стену. Отбросил брезгливо и зашагал прочь со своим кувшином, ведя за руку вконец ошалевшего Павла.

Второй стражник нашел своего товарища, взвалил на спину и поволок в казармы.

Негр вел Павла по уже знакомым тому местам. «Здесь, в Дамаске, мы не живем с евреями», – сказал когда-то приятный с виду человек по имени Варнава. Тогда Павел так и не дошел до назорейской общины. Как хорошо, что она далеко от еврейского квартала!

Павел невольно всхлипнул. Надо скорее убираться из Дамаска: евреи, раз уж решили, обязательно выдадут его властям.

– Теперь тебе надо скорее убираться из Дамаска, – пробасил негр. – Евреи обязательно выдадут тебя властям. Да и у нас с карликом пятки горят, за нами тоже погоня. Только вот какое дело: тебе придется на время спрятать нашу чашу, у тебя ее искать никто не будет.

– Куда спрятать? – растерянно спросил Павел.

– Это уж как тебе удобнее. – Негр поставил на землю свой кувшин, постучал согнутым пальцем в крышку.

– Чего тебе? – проворчал из кувшина тоненький голосок.

– Чашу давай.

Павел принял чашу, бессмысленно разглядывая надпись на стене, нацарапанную по-гречески: «Это – Митра».

– Брехня, – усмехнулся негр и осколком кирпича подписал снизу: «Сам ты – Митра».

Так чаша осталась у Павла с единственным условием: не оставлять ее на одном месте более недели.

Не было ни благочестивых бесед, ни степенной трапезы. Наспех зажеванный кусок хлеба с водой – и дрожащий от усталости Павел почти в полной темноте бредет за Варнавой, который говорит что-то о родственнике Анании, служащем в когорте сирийских лучников. И сам Анания, короткошей, коренастый, пытит рядом, вздрагивая от малейшего шороха.

Темень, факелы, доброжелательный голос объясняет:

– Нет, братцы, ворота мы вам, конечно, не откроем. Но тут недалеко строящийся участок стены, переберетесь.

Темень, бесконечная шаткая лестница, узкая, деревянная. Усердный Варнава подталкивает снизу, подбадривает. Толстый Анания молча ползет следом. Тот же доброжелательный голос, уже сверху, торопит:

– Давайте, давайте, пока не подошли клуши.

– Клушами сирийские лучники называют дамасских стражников, – успевает пояснить неунывающий Варнава, запыхавшийся от долгого подъема. – Те украшают доспехи золочеными крыльями и носят перья в шлемах, не по уставу.

– Клушами мы называем тех, кого топчут римские орлы! – гаркнул кто-то рядом.

– Эй, потише там насчет римских орлов! – крикнул в ответ родственник Анании.

– Хотите разговаривать потише, подходите поближе! – рассмеялись в ответ.

Белые перья покачивались в нескольких локтях от встревоженных спутников Павла: отряд дамасской стражи проходил по внешней стене.

Родственник Анании и двое его товарищей по оружию с глумливым кудахтаньем прыгнули на стену.

Никто не верит в собственную смерть, она всегда случается с кем-то рядом.

.....

Глава четвертая

Это хуже смерти. Небытие. Огромные кровавые волны замерли под белым небом.

Под неподвижным небом ничтожные песчинки толкаются в недвижных песчаных волнах, отчего над пустыней неспешной песней тянется стои.

Небытие. Павел не был еще этим каленым кровавым песком. Не был он и шакалом, подпевающим пустыне за дюной. Но и правоверным иудеем он уже тоже, конечно, не был. Закон остался далеко за песками. Там, где время делилось на дни, где люди могли праздновать субботу, ликовать на Пасху. Здесь же, в проклятом месте, нет времени, нет законов – ни человеческих, ни Божьих. Только поющий красный песок и безмолвное белое небо.

Только кочевники-верблюжатники живут тут – где Павлу хуже смерти. Он не кочевник. Для них он – раб, скребущий верблюжью шкуру. Но

Павел знал про себя, что он и не раб. Он – никто, потому что его Бог отвернулся от него. Он уже не человек, а животным быть не рожден.

Обида на Господа, возведшего было в пастухи и даровавшего паству, а потом сразу кинувшего в отупление рабства, обида – это небольшое, что осталось в Павле от человека. И еще – один сон, один-единственный.

...Плавно качаются носилки. Римский сановник с удовольствием смотрит на Павла. Приятно найти умного, образованного собеседника, который делает дорогу нескудной. Плавно качается беседа – от одного к другому.

Павел пустился в дорогу на неудобной спине тряского мула в окружении простых солдат. Песчаные холмы вокруг, злое солнце в глазах, пыль в горле и жара повсюду – так скверно начинался путь. Но не прошло и часа, как повеселевший мул бежал уже без седока, а маленький настороженный иудей плавно качался в носилках римского легата – избранный Богом всегда избираем и прочими.

Удобные носилки, сделанные на совесть из отличного дерева и практичных тканей, – квадратик великой империи на песчаном пейзаже. Кусочек цивилизации в этом диком крае. За ним – строгие улицы каменных домов, широкие площади и прекрасные храмы. Прямые мощные дороги, извилины водопроводов, комфортабельные лактрины и бани.

– Сортир, он и есть сортир, – осмелев, разговорился Павел. – Если Господь повелел людям справлять нужду, так и будет. А происходит сие в кустах у дороги, за дощатой загородкой или в роскошной каменной комнате – нет в том никакой разницы. Все эти полы с подогревом, смывание водой – лишь суета, человека не достойная.

– Не соглашусь с вами, любезный, – отвечал легат. – Все удобства, все инженерные чудеса, созданные человеком, возвышают его достоинство. Освобождают время для полезных измышлений и новых изобретений.

– Человек наполняет свою жизнь заботой о своем теле, забывая о Боге, заключенном в нем. Жизнь кажется полной чашей, и человек пьет ее день за днем, не чувствуя жажды. Но на самом деле не человек пьет жизнь, а жизнь пьет человека. И, когда выпивает до конца, о теле уже заботятся черви. Суетой заглушаем жажду, но она остается в нас и сжигает душу, рожденную для бессмертия.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Но приятный сон всегда заканчивается одинаково – свист огромных крыльев и страшный удар клювом в голову, в плечи. Павел успевает заметить круглый безучастный орлиный глаз, после чего всегда просыпается. Лицом на вонючей верблюжьей шкуре или прямо на песке. И надо успеть подняться, пока арабдрессировщик не стукнул его палкой снова.

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой сейчас. Ему, сыну палаточника, ремесло отца казалось трудным – с детских лет руки не знали ничего тяжелее палочки для письма. И вот он усердно скребет грубую шкуру плоско сколотым камнем, как дикарь. Нет, дикари брезгуют этой работой, как и всякой прочей, – для работы есть рабы и верблюды. Он, римский гражданин, ползает тут на коленях, а где же его прекрасная империя? Прохладные мраморные виллы, широкие площади и прекрасные храмы – просто мираж среди проклятых красных песков.

Да и была ли она, империя? Нет, это просто сон, просто рассказ стареющего римского легата.

– Империя – это величайшее изобретение человечества, – говорил он. – Идеальная среда обитания. Империя впитывает в себя все лучшее от своих народов и распространяет на всех. Она – как единый организм. Заболит один орган, силы всего организма направлены на выздоровление. А могут ли жить отдельно печень или легкие? Нет. И счастливейшая эра человечества наступит тогда, когда все народы объединятся в один. Прекратятся войны, закончатся разногласия. Все будут слаженно трудиться на общее процветание.

– Люди могут быть едины и счастливы только в едином Боге, – не соглашается Павел. – Не может быть одного народа при разнузданном римском многобожии. И потом, вы, римляне, так кичитесь перед прочими...

Они не спорили – два мудреца, старый и молодой. Оба были обучены разговору, потому через равные промежутки времени просто давали друг другу высказать умную мысль.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Качаются носилки.

Снаружи – песчаные холмы, злое солнце, жара и пыль на штандарте с имперской птицей.

Легат заговорил о своем поместье, о какой-то дивной инженерной работе.

Павел хочет уточнить, но ему мешает огромный орел. Круглый безучастный глаз совсем близко. Можно попытаться спрятаться, упав лицом в песок, но твердый клюв уже разбивает голову. Араб-дрессировщик не дает дремать...

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой. Но он скребет сухую верблюжью шкуру и смотрит на живого верблюда, который со звериной серьезностью валит кучу чуть не под нос Павлу.

Человек может смеяться, животное – нет. Единственное ли это отличие? Отличие ли это вообще? Гиена смеется тоже. Чем человек отличается от животного, думает Павел, глядя на верблюда. И тот и другой едят, и тот и другой совершают обратный процесс, и заботятся о продолжении рода. Но человек закапывает свой помёт, а верблюд – нет. Но верблюжий помёт полезен – им поддерживают огонь, а человеческий непригоден в дело. И кошки, любимицы египтян, закапывают помёт, как люди. Нет, это не показатель...

Павел не успел вроде ни слова сказать легату, а орел уже тут как тут – и боль в голове такая, что не слышно собственного крика.

Араб – дрессировщик верблюдов тоже думает: чем человек отличается от животного? И быстро находит ответ: верблюд понимает палку, а человек – нет. Верблюд умен и прекрасен, а ему, Лухкаду, приходится возиться с этим полудохлым рабом. Его бьешь, он орет, падает в песок, катается, скребет себя руками, но делает по-своему. Делает плохо и засыпает, сколько его не бей.

Его не нужно было везти в пустыню. Но командир боевого отряда решил, что этот плюгавец – важная персона, выгодный пленник. Его обнаружили уже после стычки, когда все римские солдаты были перебиты и добыча свалена в кучу. Перевернули носилки, и коротышка вывалился из них сомлевшей жабой. Ничтожная мразь! Хуже любого животного и не человек. Для такого даже жалко палки.

Палка – отличный учитель. Она выучила Лухкада главному, чем он в себе гордился, – справедливости. Каждый должен получать по заслугам – это закон, на который опирается жизнь. И главный закон смерти.

Обида на Господа не давала Павлу совсем умереть. Его, отмеченного учением и разумностью, его, говорящего языками человеческими и ангельскими, – в скотский, бессмысленный труд? В подчинение бездумному дикарю?

Бездумному дикарю противно и палку пачкать об этого кишечного червя. Ему, сыну гордого народа, валандаться с нечистым? Нечистый все равно сдохнет. Все они подышают тут – где живут только избранные. Велик человек-земля, много паразитов ползают по нему, но только гордый народ Бани Адам может жить в горле человека-земли. Горло – священное место, тут рождается Слово, тут рождается песня.

Лухкад не всегда жил среди этих красных холмов. Но он – сын племени Бани Адам. Сколько он себя помнит, его тянуло сюда, ведь в нем звучит песня. Такая же неспешная и тоскливая, как песнь этих неподвижных песков. В нем клокочет такой же неистовый ветер, как тот, что бушует в горле Адама-земли, когда Адам-земля говорит. И какой счастливый страх сотрясает Лухкада, когда человеку-земле приходится кашлянуть и страшные вихри сметают все живое и неживое. Конечно, он – сын гордого племени, люди которого поклоняются только звездам и о помощи просят только предков. Остальных заставляют работать на себя палкой и плетью.

Странный араб. Павел не мог думать о нем, не мог видеть своего мучителя за спиной, но Павел знал – араб странный. В его серо-голубых глазах ветер все время гоняет тучи. Как непонятны эти тучи под чистым белым небом!

Белое небо чуть качнулось в такт носилкам, безучастный круглый орлиный глаз, крепкий клюв – совсем близко! Араб только замахнулся, а Павел уже успел открыть глаза. Дрессировщик опустил палку – неужели червяк не безнадежен?

Но, очнувшись на пару скребков по шкуре, пленник повалился в беспомощности. Он все равно сдохнет, на него не стоит тратить еду и воду. И то, и другое – ценность.

«Раб – тоже ценность, – сказал старейшина. – Если выживет, пусть служит Богу».

Так бывший иудей Павел начал служить Богу.

Люди племени Бани Адам поклонялись только звездам и о помощи просили только предков, но и с богами ссориться не желали. Многие боги были страшны и могли причинить вред, но особенно опасен и злобен Хембешай – похититель младенцев. Чем задобрить такого бога? Что предложить ему вместо младенцев, ему – не признающему иной пищи? В незапамятные времена мудрецы племени Бани Адам нашли выход. Трудно ублажить Ужасного и Незримого, а его человеческое воплощение – вполне по силам. Для воплощения выбирался прекраснейший из юношей – чтобы Великому Хембешаю было не обидно и приятно в человеческом теле. Избранный в течение года ни в чем не знал отказа. А через год полюбившееся тело отдавали Хембешаю насовсем, чтобы тот все-таки мог напиться крови. Ведь боги тоже любят кровь, почти как люди. Правда, людям достаточно сделать надрез на ноге верблюда, чтобы кровью наполнить чашу. И человек напьется, и верблюду на пользу. А богу не хватит малости, он выпивает жертву до дна. Павла...

.....

Павел отслужил богу, так подумали люди племени Бани Адам, – проклятая лихорадка совсем свалила его, и он, обессиленный, повалился лицом в песок.

Лухкад хотел поднять его.

– Оставь раба, лекарь, – сказали соплеменники. – Оставь, его оплачат и похоронят добрые шакалы.

Глава пятая

Но добрые шакалы не приходили. Павел остался совсем один.

Люди, животные – все оставили его вслед за Богом.

И жизнь оставила его. А смерть никак не приходила – Павел остался совсем один.

Он был счастлив. Потому, что жизнь оставила его вместе с болью, а есть ли на свете большее счастье, чем отступление боли?

Павел был счастлив, в нем не осталось ни боли, ни голода, ни страха. Он просто лежал и смотрел вверх.

Сначала вверху ничего не было. Даже луны. Потом появилась одна звезда. Потом высыпало сразу очень много звезд, и это было красиво.

Когда небо наполнилось кровью, звезды смыло красным. Потом кровь впиталась в высь, ослепительно белую, и это тоже было красиво.

Все происходило безо всякого участия Павла: почь сменяла день, и день сменял ночь, начала расти луна, а Павел просто лежал на песке. И был счастлив. Потому что, когда ушли боль, голод и страх, стало свободно любви. Она не теснилась больше на дне сердца, она жила в Павле, и, значит, Господь не оставил его. Господь был занят сменой дня и ночи, но помнил о Павле и любил его.

Потом Павел почувствовал холод. Очень сильным холодом жгло щеку, но Павел не мог увидеть, что это, так как на небе снова была ночь.

На рассвете Павел чуть повернул голову и увидел безучастную бетонную рожу – залепленную чашу. Когда кочевники отправились в путь, они оставили ее умирающему Павлу, думая, что это – его бог.

Когда Павел увидел чашу, покой оставил его. Он вспомнил Лухкада и свою жалость к нему. Добрый Лухкад: он не боится ни голода, ни боли. Но тот, кто суров к себе, не знает жалости к другим. В нем нет страха, но любви в нем нет тоже, потому что он справедлив. Справедливость не терпит милосердия и любви, а без любви нет Бога.

Дивный народ Лухкада: спокойные, несчетные люди, непрехотливые в пище и одежде. Они довольны обыденным и соблюдают порядок в своей жизни. Добрые люди, называющие и себя, и животных – детьми человеческими. Мудрые люди, понимающие свое место в мире и соблюдающие общий порядок. Они не хотят лишнего, но их рабы заботой о насущном заполняют все время между утренней зарей и вечерней, а сами они лишь переходят из небытия ночи к небытию дня. Потому, что нет в их жизни любви, а без любви нет Бога.

Жалость нестерпимо жгла Павла, лишив его покоя и счастья. Он понял, что не может больше лежать тут, что он должен найти кочевников и помочь им.

Павел попробовал встать хотя бы на четвереньки, и это ему удалось. Ему было странно чувствовать свои руки и ноги, ощущать песок под ладонями, но он мог ползти и пополз. Тяжелую чашу он толкал перед собой, и она отвлекала его от смены дня и ночи.

Он полз на четвереньках, потом понял, что идти гораздо легче, встал и пошел. Шел и не думал, откуда взялись силы. Что вело его? Каменная чаша давила на плечо, с каждым шагом становясь все тяжелей.

Покой и счастье вернулись к Павлу, ведь Господь вел его.

Он шел много ночей и дней. Спал на теплом песке, а когда песок остывал под ним, вставал и шел дальше. Он уже забыл, как это – хотеть пить и есть, и от этого тоже был счастлив.

Павел уже не хотел выбросить чашу. Он понимал, что этот предмет непонятным образом поддерживает в нем силы. Прохладная в любой зной, пустая чаша кормила и поила Павла, и он шел все дальше и дальше по невидимым следам племени Бани Адам.

Небо над ним жило своей жизнью, песок под его ногами – своей, а Павел все шел и шел. И не думал ни о чем. Он не думал больше ни о Боге, ни о себе, не заботился о дороге. Дороги и не было – только песчинки, недовольно шуршащие, когда на них наступали. Они то лежали спокойно, то вдруг спохватывались и кучками спешили в другое место. Другое, хотя и ничем не отличимое от первого. Песчинки торопливо затирали следы Павла, стараясь восстановить им одним ведомый порядок. А Павел шел, слушал и удивлялся.

Удивительным образом он стал вдруг понимать языки всех предметов и тварей вокруг себя, отчего пустыня для него сразу наполнилась жизнью. В этих языках не было слов, но была соразмерность. Мысли и слова перестали ограничивать Павла, и он слышал каждую песчинку, каждую чахлую травинку, каждую букашку под камнем. Небо вдруг перестало жить своей жизнью, а песок – своей. Все сущее жило одной жизнью, и Павел шел в ней, спокойный, как младенец. То луна, то солнце бережно сопровождали его, а он улыбался им в ответ.

Потом появился еще один попутчик. В пересохшем оазисе Павел выковырял из песка полудохлую безумную ящерицу и понес вместе с бесформенной чашей. Через сутки они смогли беседовать, и ящерица рассказала ему, как погибал оазис. Иссяк источник, и вместо воды по жилам растений растеся жар. Те животные, что никогда не трогали себе подобных,

наедались горячей травы и мучились меньше, чем те, что поедали их торопливо, стараясь скорее выпить быстро чернеющую кровь. Те, кровожадные, потом еще жили несколько дней, судорожно клацая зубами по пустым вонючим костям и глотая холодный песок в пересохшем русле. Потом успокаивались и они, лежали, растворялись в белом солнце и буром песке. От когда-то размеренного, уютного мира не осталось ничего. И Павлу было грустно слушать о том, что животные ничем не лучше людей, что они тоже бросаются пожирать друг друга, помогая пришедшей Смерти... Он оставил чуть окрепшую ящерицу в одном подходящем месте. Когда уходил, бедняжка потрясенно рассматривала колючие травинки. Ей было странно, что, когда вся ее трава погибла, где-то еще, оказывается, росла совершенно такая же.

А Павел шел все дальше, и вот на его пути вместо песка все чаще стали попадаться камни.

Как-то еще одна ночь накрыла Павла. Он послушно лег на камни, но лежать было неудобно, поэтому он сел и проспал до восхода сидя.

А на восходе пыльные шатры племени Бани Адам встали перед его проснувшимся взором. Из крайнего шатра вышел Лухкад, увидел Павла, сжимавшего в руках чашу, и закричал.

– Мой Бог вывел меня, – спокойно объяснил Павел кричащему от ужаса Лухкаду. Впервые за последние дни он вспомнил про Бога, и ему стало приятно.

– Его Бог привел его, – объяснил Лухкад вышедшим на крик соплеменникам и показал на серую каменную чашу в руках Павла. Восхищенные кочевники тут же поклонились могущественному Богу чужестранца.

– Будь и к нам милостив, о Великий, – попросили они каменную чашу.

– Он ко всем милостив, – радостно сказал Павел. Бог снова возвысил и приблизил его. Снова из рабов в пастухи попал Павел и взирал на свою паству любящим взором.

.....

Он прожил в племени три года.

Глава шестая

После пустыни мир вокруг казался действительно чудом. Павел удивлялся, как это можно было ходить по траве, не восторгаясь ее нежной лаской. Он встал на колени и принялся гладить жестковатые травинки. Чудо: каждая травинка остра – порезаться можно, а в пучке – мягкость, доверие. Казалось бы, трава, она и есть трава, сейчас теплая, податливая под рукой, а склонится солнце, выпадет роса – обстегает холодом, так пронзительно, что слезы шевельнутся где-то между бровями! Трава – из-под земли выходящая, солнцем и дождем кормящаяся – чудо?

И пчела, ворчливо собирающая мед, – чудо. И лепесток яблоневый, опадающий медленно, весь еще полный света и сладкого запаха, – чудо. Все деревья и травы, звери и птицы – чудо. И солнце, такое ласковое здесь, среди оливковых рощ и густого пряного неба, – чудо.

Павел заплакал неудержимо, впервые после стольких месяцев жестокой пытки, заплакал счастливо, всхлипывая, как ребенок. Как велик должен быть Господь, создавший все это одной лишь силой творящего слова! Какой чудесной силой выплелись из хаоса и эти тончайшие лепестки, и эти грубые камни, не отесанные еще дождями и ветром?

Что-то сухое и жесткое резко ударило Павла в мокрую щеку, отскочило, оставив чувство саднящего неудобства. Хохот, улюлюканье, свист – камешки, куски земли и помета посыпались со всех сторон. Вся окраина селенья, к которому вышел Павел, давно уже наблюдала за ним. Люди занимались своими делами, но то и дело бросали настороженные взгляды

на больного оборванца, рыдающего, стоя на четвереньках, подобно псу. Косматый изможденный чужак был явно болен, и не будет никакого добра, кроме худа, если он подохнет сейчас на дороге, в виду всей деревни.

Взрослые не давали прямого указания мальчишкам отогнать пришельца, но и не мешали затаевающейся забаве.

Камешки, куски земли и помета не могли причинить Павлу серьезного вреда, но в ход пошли уже палки, булыжники и глиняные черепки. Охотничий азарт подгонял мальчишечью свору, и маленькие мучители досадовали не на шутку, что жертва ведет себя столь безучастно. Лохматое чучело, свалившееся у дороги, могло бы взвыть, закрутившись, как подбитая шавка. Могло бы заскулить, закрыв голову руками. А лучше – бросилось бы бежать, спотыкаясь и подскакивая от очередного меткого камня.

Но Павел просто лег щекой на траву и лежал, молча смаргивая уставшими после слез глазами.

Самый шустрый ребенок выбежал вперед и весело шул оборванца в бок. Резкий крик со стороны деревни предостерег шалуна: мало ли какое зло таилось в этой подыхающей твари!

По образу и подобию своему... По образу и подобию своему создал Ты человека. Таков ли Твой образ: бессмысленные сопливые рожи, изуродованные ишачьим смехом? Реденькие гнилые зубки в воняющих пищевой ртах? Или в тех, у деревни, различимо подобие Твое? Может быть, в той толстомясой бабе, что с тупой важностью мочится за сараем, раскорячившись по коровьи? Жесткая струя выбивает грязные брызги ей на босые ноги, а слепни пристраиваются уже к белому, как незрелый сыр, оголенному заду.

Где ты, Господи? Как без Твоей любви пережить мне это отвращение к подобию Твоему, обгаженному веками? Видно, вправду близок конец времен – ливень, смояющий неудачу Творца. Огонь, что испепелит уродливые тела, не сохранившие искру Божью.

Потемнела природа. Остыл воздух. Теплее стала земля. Людские детеныши разбежались, заскучав.

Беспривязные псы заинтересовано засновали рядом с Павлом, чуя поживу.

Кал песий. Песий кал у дороги – вот что я. Иудейский Бог, Великий Господь отвернулся от меня, нерадивого, запоганенного в пустыне.

.....

Павел пробыл в Иерусалиме пятнадцать дней.

В один из вечеров к нему пришел Петр.

– Мир тебе, Павел, – сказал он слишком дружелюбно. Сел напротив.

– И тебе, – нехотя ответил Павел. Он не хотел сейчас видеть говорливого Кифу. Он вообще никого не хотел видеть.

– Эллинисты узнали, что ты вернулся в Иерусалим, – без предисловий выпалил Петр.

– Ну и что?

– Они договорились убить тебя за то, что ты сделал тут три года назад.

– Пусть убивают, – пожал плечами Павел. – Это все, что ты хотел мне сказать?

– Разве ты не боишься? – удивился Петр.

– Чего?

Петр смутился.

– Ну... Допустим, смерти...

– Нет.

– Боли?

Павел подумал.

– Нет.

– Ты что, обиделся на нас? – Петр с любопытством заглянул Павлу в глаза.

– Нет.

– А все-таки тебе лучше уехать, – решительно сказал Петр. – Сам понимаешь, начнутся беспорядки, волнения. Римляне устроят расследование. А это значит – новые казни. Уезжай пока к себе в Тарс.

В Тарс? Нет, только не туда! Лучше чистить нужники в Иерусалиме, чем вернуться в богом забытый Тарс. Как обрадуется, как позлорадствует родимый городишко! Как будет кричать отец – долго, скучно! О загубленных надеждах, о выброшенных на ветер деньгах... Будет противно и неловко слушать его, смотреть в растерянные сердитые глаза, на трясущуюся потешно бородку. Мать отвернется презрительно, молча... Хотя что это он: мама, конечно, не отвернется. Кто это сказал недавно, что матушка скончалась полгода назад? Бог знает...

Павел удивился сам себе: неужели я испугался? Сплетен, крика, презрения?! Пустого сотрясения воздуха, досужего чесания языков? Бред. Куда же еще податься, как не в Тарс? Там тихо, спокойно, уютно. По большому счету никому ни до кого нет дела. Никто не визжит в синагоге, не спорит до драки из-за одного слова, не меряется бесконечно благочестием и мудростью. Люди беседуют мирно после трудового дня. Там каждый занимается своим делом. И он, Павел, будет неспешно кроить палатки – ремесло полезное, доброе.

– Хорошо, я уеду.

Действительно ли Павла собрались убить или это апостолы выдумали, чтобы прогнать его из Иерусалима – Бог знает... Надо уезжать. Нет смысла больше сидеть здесь. Все суета и мерзость. Люди не хотят слышать о Боге. Они любят говорить о Боге, но никто не хочет слушать о нем. Ведь тогда придется прислушаться к себе. И услышать, что вся жизнь твоя – пустой звон. Суета и мерзость.

Все хотят сладкого, а потом – остренького, а потом – проблеваться и опять – сладкого.

Многие получают сладость от удовольствий, остальные – от чувства, что они лучше других.

Все хотят власти, даже ничтожные; получают ее, над более ничтожными, но хотят больше, потом еще больше, не понимая, что высшая власть – у Бога.

Павел устало закрыл глаза: как хорошо было бы никогда больше не видеть людей, нет ничего в мире более мерзкого, чем люди.

В дверь постучали.

Павел открыл глаза, не отозвался.

В дом зашел Картафил, сапожник.

– Мир тебе, Савл, – сказал он.

Павел промолчал.

– Говорят, ты проповедуешь Иисуса Назарянина распятого...

Павел продолжал молчать.

– Расскажи мне о нем, – попросил сапожник.

– Мне нечего тебе сказать, – ответил Павел. – Иди к назореем, иди, спроси у Симона-Кифы, у Иакова, брата Господня. Они расскажут тебе, они видели его, говорили с ним, они все знают.

Сапожник замялся:

– Они не будут говорить со мной, они гонят меня.

– Почему?

– Ну понимаешь... Три года назад это было, на Пасху. – Картафил заторопился объяснить, пока Павел слушал его. – Человек этот... преступник обычный, шваль, каких полно, убийца или насильник. Его вели на казнь мимо моего дома. Я нарядился ради праздника, вышел... А тут он – вонючий, избитый, весь в крови... Морда страшная, исцарапанная вся – ему колочки на голову нацепили... Волочит он свой позорный крест – и вдруг прямо ко мне...

– Зачем? – спросил Павел.

Сапожник смутился.

– Я не понял. Наверное, он просил пить... или нет... Он говорил слишком тихо, я не понял... Я, конечно, прогнал его. А как иначе? Он ведь бандит, смертник, помои человеческие – его ведь вели казнить, надо думать, за дело... Конечно, я прогнал его! А потом я услышал о нем на базаре... И еще слышал, часто. Говорят, будто он пророк, чудотворец, чуть ли не мессия... А я ведь его даже не ударил, толкнул только... Понимаешь, я его просто оттолкнул, оттолкнул, а не ударил, как говорят эти...

– Кто?

– Ну, назореи. Они зовут меня Бутадеус – «ударивший бога». Они говорят, что этот человек – Бог.

– Ну а ты что думаешь? – спросил Павел.

– Не знаю, – занервничал сапожник. – С виду, конечно, никак не скажешь... Но иногда мне кажется, что он не совсем обычный человек.

– Почему тебе так кажется?

– Тоскую я, – тихо признался Картафил. – С тех самых пор и тоскую, как оттолкнул его. В груди что-то взяло... – Сапожник сгреб пятерней рубаху на груди. – И крутит, и крутит... – Сапожник показал, как у него крутит в груди. – Я тоскую.

Павел ничего не ответил, и сапожник добавил неуверенно:

– Еще... Еще иногда я думаю, что... Это, наверное, глупо... Я сильный, красивый мужчина, хороший мастер, у меня много клиентов, я отдаю хорошую пошлину в храм – Господь щедр ко мне. А тот – нищий преступник, он шел на смерть... Но иногда я думаю, что Господь любит больше его, чем меня.

Павел кивнул.

– Ты понимаешь, что так оно и есть?

– Да, но не понимаю, почему.

Павел не ответил сразу. Помолчав, тихо сказал:

– Нет, он не Бог.

– Да? – обрадовался сапожник.

– Он – бессмертный.

Картафил непонимающе улыбнулся.

– Он казнен, умер, но победил смерть, – объяснил Павел. – Он теперь будет жить вечно. Не веришь, что это возможно? – Сапожник не верил. – Избранные могут так, некоторые. Некоторые бессмертны, веришь? Они не цепляются за жизнь, не жалеют, не собирают, как скряги, каждый день, каждый лишний час жизни. Они умеют жертвовать жизнью, ради других. И за это получают бессмертие. Это высшая награда, высшее благословение для человека – заслужить бессмертие за дела свои. Понимаешь?

Его собеседник недоуменно пожал плечами.

Павел неожиданно встал.

– Хорошо, я крещу тебя, Картафил. – Взял сапожника за руку, приложил его руку к его же груди. – Чувствуешь здесь?

– Да.

– Что?

– Болит.

– Это болит твоя душа, жаждущая бессмертия. Это она привела тебя сюда. Тебе повезло, Картафил, что ты встретил тогда Его. Теперь и ты сможешь победить смерть.

– Зачем? – испугался Картафил. – Я не хочу.

– Уходя от смерти, ты приходишь к любви, – терпеливо объяснил Павел. – Ты же сам тоскуешь, что Господь не любит тебя.

Сапожник кивнул.

– Смотри. – Павел провел рукой на груди Картафила горизонтальную черту. – Это – твоя земная, телесная природа. А теперь, смотри, – он, обмахнув пальцы в чашу с водой, прочертил невидимую линию ото лба сапожника к поясу, – это твоя духовная природа, идущая сверху, от Бога.

Она перечеркивает земную. – Апостол быстро обозначил перечеркнутую земную природу на груди своего крестника. – Понял? Вот знак креста – вертикальная линия зачеркивает горизонтальную. Дух торжествует над плотью. Смерть побеждается любовью. Понял? А вода очищает тебя для новой жизни, смывает грязь, накопленную прежней. Та жизнь кончилась. Теперь у тебя все другое. Ты сам другой. И имя твое отныне не Картафил, а... – Павел запнулся. – Какое ты хочешь имя?

Сапожник задумался. Робко предложил:

– Иосиф?

– Хорошо, встань, Иосиф. Теперь ты умер для смерти и воскрес для любви.

Они помолчали, глядя друг на друга.

– Тебе стало легче? – спросил Павел.

– Пока не знаю.

Иосиф похлопал глазами, прислушиваясь к себе. Вдохнул тяжело, вышел на улицу.

Павел встревоженно двинулся следом.

Сапожник отошел от дома на несколько шагов, остановился. Стоял, грустно глядя на закат.

– Прости, но я все равно тоскую, – признался он через несколько минут. Оглянулся, виновато посмотрел на Павла.

– Почему? Ты не чувствуешь любви? – Павел удивился. Сам он сейчас отчаянно любил этого растерянного человека, искренне желая помочь ему.

– Нет, любовь я чувствую, но... – Вдохнув, Иосиф медленно двинулся к дороге.

– Ты будешь жить вечно! – ободряюще крикнул ему в спину Павел.

Иосиф не обернулся. Проворчал только недовольно:

– Зачем мне жить вечно? Я же не избранный. Я ничего не сделал такого... я только оттолкнул его, всего лишь оттолкнул... Зачем?..

– Вот ведь, – усмехнулся про себя Павел, – вот он еврей – вечно недовольный, вечно ноющий. Вечный и неизменный со времен Авраамовых. Вечный жид – ни себе не дает покоя, ни другим.

Сапожник Иосиф, бывший Картафил, человек, ударивший Бога, брел по дороге прочь от заходящего солнца.

А палаточник Савл, он же Павел, человек, увидевший воскресшего Бога, ушел пешком в Тарс. И оставался там четырнадцать лет, шил палатки и беседовал с людьми. Люди приходили к нему, когда им было плохо или тревожно, и он помогал разговором, часто ссылаясь на слова Иешуа-бен-Пандеры, Христа, распятого в Иерусалиме, которого Павел встретил потом по дороге в Дамаск.

Он любил людей и лечил их словом любви. А когда они, желая польстить, восхваляли его ученость, он отвечал обычно так:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».

Люди не понимали смысла этих слов, но им было приятно, и они улыбались.



Точка слуха

* * *

Добился своего, ополоумел,
Разбился, недослушал филемел.
За что же вы меня? Я чист и смел
Да и не сразу умер.
Я долго жил, владел живою речью,
Я обожал чужих, я бил своих,
А нынче ночь, и голос мой затих,
И никого не встречу.

Допойте, рощи! В солнечном июле
Любая тварь не на вторых ролях.
Еще мелькают в золотых полях
Летучие косули.
Я недопонял их, недотревожил,
Внушил любовь, да не достало сил,
Упал в пути, расшибся, поспешил
И до себя не дожил.

Теперь в краях, где несколько растений
Еще не позабыли запах мой,
Я прохожу с поникшей головой,
Как подобает тени.
Не мучайтесь, я только точка слуха.
Допойте, рощи! Будьте, соловьи!
Я – прошлое, я – факт твоей любви.
Бродячая разруха.

* * *

Полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.

Борис Рыжий

В тот день, когда я улетаю,
Ты в воздухе повис
И совершенно легким стал,
Глаза уставя вниз.

Не знаю, в чем моя вина,
Но из чужих лесов она
Отчетливо видна.

Мы совершили перелет
Совместно – кто куда.
Тугой желудок пережжет
Немецкая еда.

С любовью из Свердловска в ад
Перемахнул плетень,
И не торопится назад,
На мой отброшенная сад,
Мальчишеская тень.

* * *

Дудка не поет, исчезла водка,
Остается черная работа.
Каждая Мария смотрит кротко
Белым камнем из-за поворота.
Каждый крест – распахнутое пламя
На горе, повернутой к былому.
И трепещут бабочки крылами
Вдоль дороги к городу Колону.

И, покамест бочками в Колоне
Хлещут историческую стужу,
Здесь по пояс из каменоломни
Вышел раб гармонии наружу.
Смотрят из пещер лесные звери
Взором, по-девически невинным,
Ибо человеческие дщери
Набухают семенем звериным.

Скоро всех одно покроет Имя,
На него две тыщи лет клеветуют.
И крылами красно-золотыми,
Не летая, бабочки трепещут.
Это маки, дорогая, это маки
На ветру не нашей ностальгии.
И мерцают, светлые во мраке,
Придорожные Марии.

* * *

O du, des Himmels Botin, wie lausch ich dir!
Dir, Diotima! Liebe!...

Friedrich Holderlin

Исчезнет молчанье, прорвется плотина,
За майскую сказку наступит расплата.
Откуда же эта печаль, Диотима,
В ночах Лангенбройха, в ночах Куфферата?
Мы жили как жили, нам не было мало

*О ты, небесная гостья, как я слушал тебя!
Ты, Диотима! Дорогая!..

Фридрих Гёльдерлин

Огромного мира. Не предполагая
Нескромного дара, во тьме небывалой
Грохочет за лесом дорога до Гая.
Летят мотоциклы, безумные шлемы,
В паху пассажирки – грядущее мира,
Доспехи Афины, успехи Елены –
Зола Илиона, Гомерова лира,
Паденье Берлина, железные шарфы
На шеях повешенных, ласка железа,
Фанфары Победы, рыдание арфы,
Рогатого Вотана рев из-за леса.
Но ты успокойся – ни пушки, ни танка
Не видно за лесом, моя дорогая.
Моя деревушка, ночная стоянка.
А дальше? А дальше – дорога до Гая.

* * *

Мы еще немало растревожим
Муравьев в их башнях вавилонских,
Птиц небесных, стад людских и конских.
В общем, экологии поможем.
Может, постодействуем растениям,
Может, облакам – какие тени!
В результате разных потрясений
Руки нечисты – куда их денем?
А туда, куда деваться надо, –
В разную погоду-непогоду,
В непереводимую природу,
В ночь, где сердце разорваться радо.



Борис ВАСИЛЬЕВ

Оглянись на середине

КОММЕНТАРИИ К ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ

С какого-то времени – старею – жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег внуков. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего. Дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, незнакомый берег, где нас никто не ждет, и начинаем спускаться к нему. И есть какая-то черта, какая-то грань на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. И надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там могут спросить. ТАМ. На том берегу, где мы – только гости. Порою досадные, порою терпимые, чаще всего засидевшиеся и всегда – незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте. В противном случае она получает право лишь на снисхождение, в какой бы упаковке оно не предлагалось. Как бы там ни было, а спрашивают без пощады и скидок, а это означает, что всегда следует быть готовым к рассказу без занудства. А рассказ зануды – это длинное изложение того, что было на самом деле. В нем всегда следствие плетется за причиной, и слушатели уже знают наперед все фразы, которые еще только-только намеревается произнести рассказчик.

Однажды я ездил в шефскую поездку по городам и всям с писателем... скажем, одним писателем. Мы выступали по пять раз на дню в самых разных аудиториях – на заводах и в колхозах, в институтах и школах, в селах и городах, – и по пять раз на дню он рассказывал одну и ту же историю. К вечеру мне страстно захотелось треснуть его пыльным мешком из-за угла, чтобы он хотя бы перепутал слова в своем честнейшем, правдивейшем, всамделишном рассказе.

Писатель не имеет права быть скучным, как женщина – неопрятной. Поэтому его собственная биография нужна ему всего лишь как канва для вышивания причудливых цветов, диковинных зверей и детски наивных орнаментов. Между ложью и сочинительством такая же разница, какая существует между убийством с заранее обдуманым намерением и праздничным маскарадом. И да здравствует праздник! Пусть все ходят оглушенными не бомбами, а петардами, с перепачканными физиономиями и чистыми сердцами. И пусть все смеются, утирая слезы от хохота, а не от горя. Момент смеха – момент проявления человека в человекоподобном. Люди добрые, пожалуйста, будьте веселыми!

И давайте перестанем цепляться за голые факты, похожие на сакс-ул. Давайте собирать букеты цветущей фантазии, бутоны намсков, лепестки смешинок, припудренные легкой росой элгической грусти по вре-

Первая часть книги «Мир необычный», которая выйдет в этом году в издательстве «Вагриус».

менам, навеки оставшимся на том берегу. К черту правдивое человекоподобие – да здравствует сказочная человечность!

При одном непрременном условии; ПРАВДА ЭПОХИ ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА В ДЕВСТВЕННОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. Только так.

Когда-то мне часто снился один и тот же сон... Старый, запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За границей сада тучи вплотную примыкают к земле, скрывая линию горизонта, но в саду светло, тепло и тихо. Мы с отцом бродим по нему, по колена утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника скрыты под нею, как под одеялом, но я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с колючих веток. Огромные, перезрелые, необыкновенно, сказочно вкусные ягоды.

А еще листва прячет яблоки. Они лежат в слоях опавшей листвы, не касаясь земли. Крепкие холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Всё – низкие тучи и тепло земли, прохлада яблок и сладость крыжовника – переполнено чувствами. Какими?.. Я не понимаю их и не пытаюсь понять. Я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец. Молчаливый, среднего роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет – от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания и лишь изредка протягивая мне крепкие холодные яблоки.

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец. Протяни яблоко.

И успокой перед вечным свиданием...

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.

Это так. Но – для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцом. Мать дарует нас силой и здоровьем для этой отцовской цели, если мы – плод любви, а не насилия, яростной страсти, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

И не так уж важно, кто твой отец. Важно, чтобы цель, поставленная, внушенная, вложенная им, была выше тебя самого. Чтобы ты тянулся к ней, а не изгибался перед нею: взгляд вверх формирует гордость духа, тогда как поклоны рождают лакеев. Цель должна возвышать, делать тебя уверенным в себе, в своих возможностях и своем достоинстве. И если все это у тебя есть, а отец твой был горбат, крив, хром и немощен – всегда рассказывай о нем одну святую правду: он был могуч и прекрасен, – и этим ты исполнишь долг свой. Мы обязаны говорить об умерших лучше, чем они были на самом деле. Это нравственно, и это учит нравственности, какучит высокой нравственности история родной страны, состоящая из огромного количества жизней и еще большего количества смертей.

В китайской философии есть понятие Инь и Янь. ИНЬ – женское начало, ЯНЬ – мужское. Инь – природа: начало темное и непредсказуемое. Янь – начало мужское. Светлое и творческое.

Так считали древние китайцы, пытаясь с помощью этой философии выбраться из естественного плена женского начала. Мне не представляется это Законом. Скорее наоборот: это – спекулятивная философия. То есть философия, подразумевающая конкретные выводы, нужные ради данного времени.

Я часто думаю о том, чем занималась Ева, когда Адам бегал по лесам с дубиной в руках. Подумаем вместе, припомним, что человеческий детеныш – единственный из детенышей млекопитающих, который в первые пять-семь лет после рождения беспомощен и нежизнеспособен. Он явно НЕ РАССЧИТАН на земные условия существования. Зачем же понадобилась Природе такая обуза? Откуда и когда появились это исключение из общих правил самой Природы? Где, как и по какой причине род человеческий был заведомо поставлен в НЕРАВНЫЕ условия со всем прочим животным миром? С какой целью и ради чего?

И – еще одна загадка. Темечко человеческого детеныша зарастает существенно позже рождения ребенка. Почему черепная броня столь долгое время имеет дыру в самое главное хранилище человеческой жизни? С какой целью многомудрая природа оставила этот – единственный! – пролом в человеческой крепости? Какую информацию мы получаем через свое незарастающее темечко? Может быть, самую главную: сколько нам отпущено жизни каждому?..

А суммировав все это, я преклоняюсь пред Евой, потому что ей досталось не просто кормить детенышей своих, но и защищать их – с дыркой на темечке! – растить их и воспитывать, пока отец бегал в поисках хлеба насущного.

Все матери-животные воспитывают своих детей. Однако мы, люди, понимаем под воспитанием отнюдь не только способы добывания корма и защиты собственной жизни. Человек – животное стадное, он может выжить только в стаде, под его опекой и защитой. А это означает, что навыки жизни в стаде, где существуют строгая иерархия и строгий порядок (то есть зачатки общественного поведения, истоки морали нашей), обязана была вложить в него мать. И – вкладывала.

Но это была даже не половина необходимых для ребенка условий стадного существования. Он по-прежнему оставался лишенным средств защиты, а человек – животное отнюдь не травоядное. Он с удовольствием съест и тот кусок мяса, который пока еще копошится в пещере под его ногами. Мать должна была любыми средствами добиться, чтобы голодный мужчина собственной, условно говоря, пещеры не слопал бы ее малыша, когда вернется с недельной неудачной охоты.

Сама она не смогла бы защитить своего ребенка и потому, что была слабее, и потому, что не в силах была уследить. Ни за детенышем, ни за его возможным папашей, дядей или дедом. Никакой запрет в виде закона, общего для всех членов первичного сообщества, здесь помочь не мог, потому что некому было приглядывать за его исполнением. Здесь мог помочь только запрет без объяснений, запрет как таковой. ТАБУ, исполнение которого было бы возложено на высшие силы, способные угледеть нарушение запрета и вовремя предотвратить его. И здесь могла помочь только первичная религия. Только вера в чудодейственную силу богов.

Но ведь мораль – свод правил поведения личности в обществе. Чтобы никого не раздражать, соблюдать определенный ритуал, чтить старших и т.п. Этот ритуал, этот Свод Правил стадных животных и есть основа человеческой культуры. Свод Правил поведения при соблюдении твоих личных прав. Основа любой культуры и есть комплекс прав и обязанностей человека и общества, а совсем не образование и уж тем паче не искусство. И этому издревле, с седых времен, учила Женщина. Она же хранила и мир в семье, танцуя и распевая колыбельные, утешая обиженных, примиря непримиримых. Иными словами, она же и породила искусство как явление чисто человеческое.

КУЛЬТУРА – в ее абсолютном понимании, то есть понимании законов существования в обществе, – женского рода. Ее породила ЖЕНЩИНА.

А чем занимался мужчина, вернувшись с охоты? А он старательно усовершенствовал орудия этой охоты, поскольку именно от совершенства орудия напрямую зависело добывание пищи. Он, условно говоря, бесконечно полировал свою дубину. Именно это занятие и породило второе направление прогресса человечества – цивилизацию. ЦИВИЛИЗАЦИЯ – явление мужского рода.

Это разделение прогресса продолжается и поныне. И сегодня – естественно, в изменившемся виде – мужчины развивают прежде всего цивилизацию, тогда как высшим судьей в культуре по-прежнему остается женщина. В этом и заключается принцип разделения труда меж мужчиной и женщиной, который обеспечил невероятный прогресс человечества.

Все эти рассуждения не мешают, однако, существовать предпосылке древнего китайского учения о мужском и женском началах в каждом человеке. Проще всего попытаться это рассмотреть на примере собственной и довольно длинной жизни, что я себе и позволю. Излагать свои соображения последовательно – и скучно, и не очень верно, поэтому прошу прощения, но я буду рассказывать о них вперемешку, а чтобы никто не запутался, стану предвирать такие куски названиями «Янь» и «Инь».

Глубокомысленный вопрос «С чего начинается Родина?» подразумевает простейший ответ: с уважения к истории своего народа вообще и к своим родителям в частности. Нет людей более древнего и менее древнего рода: наши пращурь одновременно прыгнули с деревьев, но разница в том, что подавляющее большинство не только не знает, но и не желает знать, кто были их деды и прадеды, как они жили и за что умерли. Вероятно, такое стойкое нежелание знать свое происхождение свойственно амебам: мама разделилась пополам – и все в порядке. Но если амебам просто ни к чему нравственность, то амебоподобным она становится непонятной. А то, что непонятно, начинают упрощать, и на свет рождается лошадиная модель, в которой все достоинства вынесены в экстерьер, дабы сразу бросались в глаза, а понятие Духа осмысливается, как запас дыхания в гонке за лидером. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – говорил Пушкин, и если бы не стояло за ним семивековое, эстафетой передаваемое «уважение к минувшему», имя первого русского гения было бы другим. Дикость не способна отдавать: ее удел – потребление. Вот почему я остановился на вопросе «КТО?». И хотя я склоняю голову перед всеми матерями на свете, я все же начну с отца. И потому, что такова традиция, и потому, что я – отцовский сын (бывают и материнские сыновья, это – игра случая, генетический пасьянс), и потому наконец, что его нравственное начало оказалось более благотворным. Во всяком случае – для меня.

Итак –

Янь

Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое-что меня посвящали, и я – запомнил.

Я знал, что мой отец – офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и – уже на фронте – дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена

лена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного Историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.

Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь, кроме войн, были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля дура, да расстрел молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила в дни мира, а первой – в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключения последнего каскада – Великой Отечественной войны – отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».

То, что отец уцелел от немыслимого количества обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что, начав самостоятельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу... Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным.

В 1969 году – через год после его смерти – мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик – крохотный, в 18 квадратных метров – был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь – чудопечь, нагревавшая дом считанными поленьями! – сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.

– Молодцы мы с тобой, – сказала сестра, в очередной раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. – Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.

– Так то отец, – вздохнул я.

Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом – скрипеть, неожиданно перекосялся стол во дворе и сам собою обрушился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.

У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к первой мировой и гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелело две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денишик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата, уклончиво оставив его для памяти в цивиль-

пом костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.

На этой фотографии («Собственное дело Горбачева Н. М. Смоленск, Кадетская №17») батюшка на фоне расплывчатых руин застенчиво попирает локтем утес из папье-маше. Синые добрые глаза его смотрят с неслыханным молодым напряжением, а роскошные, любовно ухоженные усы просто обязаны заверить нас в его неотразимой мужественности. Разглядывая этот снимок, я пытаюсь отвлечься от осознания, что на нем запечатлен мой отец. Я пытаюсь увидеть молодого человека времен заката царской России, не крестьянина и не торговца, не социалиста и не монархиста, не слишком образованного, не слишком терзаемого совестью, не слишком размышляющего над судьбами Отечества. То есть абсолютно нормального здорового двадцатилетнего молодого человека из провинции. Он кое-как и кое-что болтает по-французски, играет для дам на гитаре, а для себя – на мандолине, поет цыганско-гусарский репертуар, развлекает декламацией модных стихов, а развлекается за карточным столом. «Общество» для него – арбитр элантиерум, мода – символ веры, вечера, балы, пикники и карнавалы – апофеоз существования. Дыра в башмаке равносильна катастрофе и уж, безусловно, страшнее дыр в семейном бюджете. А там их в избытке, и провинциальный юнкер, не подозревающий, что кончит он свое земное существование коммунистом, вертится волчком, чтобы удержаться на скользком паркете губернского города Смоленска.

Таково содержание первой фотографии. На второй отец изображен на фоне тех же руин, но рядом стоит очень изящная молодая дама. Это – моя будущая матушка, а посему разглядывание второго семейного снимка отложим до соответствующего места. Все хорошо в свое время, а особенно – фантазии на семейные темы.

Я люблю рассматривать старинные фотографии. Люблю толстый картон, который не сворачивается в трубочку подобно пересохшему сыру. Люблю неторопливую, обладающую глубоким смыслом ретушь. Люблю серьезность – серьезность мастера, который никуда не спешит, наводя на фокус, и серьезность объектов его мастерства, которые встали перед объективом не потому, что случайно проходили мимо. Люблю детскую наивность рисованных замков, утесов и пальм. Люблю, наконец, полную весность серебра, до сей поры хранящего изображения. Серебро – не просто благородный, а единственно благородный металл, ибо только оно обладает человеколюбием, убивая болезнетворных микробов и увековечивая людей. Цвет серебра изящен и аристократичен: недаром мы сравниваем с ним седину, достойную почитания. Серебро воспитанно и художаво в отличие от крикливого и жирного золота, залившего весь мир кровью и ничего так и не давшего человечеству взамен. Золото оскорбительно своей демонстративностью: лишенное скромности и внутреннегo такта, оно способно лишь вопить о кошельке владельца. Рот, набитый золотом, с детства воспринимается мною пастью скоробогатя. Да, да, того самого буржуя, презрение к которому было привилегией нашего голодного, разутого и раздетого Отечества, единственной, но до чего же гордой привилегией!

Серебро исчезает: тот, кто работает на человека, всегда сжигает себя. А вот количество золота в мире неуклонно растет, но люди не становятся богаче оттого, что оно растет. Когда человечество уразумет наконец эту простую истину, оно шагнет вперед сразу на два порядка. Однажды мы пыгались доказать это миру, но то ли мир не понял нас, то ли мы мир не поняли, то ли доказательства были не слишком доходчивыми, а только набитые золотом пасти по-прежнему зевают мне в лицо из-за каждого прилавка. И я горжусь тем, что на старой фотографии отца нет никакого золота. Есть только благородное серебро, сохранившее для меня его дорогой облик.

Я видел, как этот сохраненный серебром облик сгорал в пламени печурки в старом доме на Покровке. Моем первом доме земного бытия. Доме, где я учился узнавать своих родных, ползать и говорить первые слова. Это был лучший Дом на земле, поверьте, я уже старше собственного отца и успел сменить множество домов. Там жила не только сама Гармония, но и ручная белая крыса без хвоста, аккуратность которой за столом – мы с ней вместе завтракали, обедали и ужинали – мама всегда ставила мне в пример.

Так вот, в этом замечательном доме было то ли холодно, то ли я простудился и меня знобило, а только ночью я проспнулся и увидел, как в раскаленном жерле печурки сгорают толстые дореволюционные паспарту, унося вместе с дымом облики запечатленных на их серебре людей. И я не удивился, я, как мне кажется сегодня, понял, что есть времена сжигания своего прошлого.

Через год после посещения «Собственного дела Горбачева» облик батюшки резко изменился: он надел военную форму, которую не снимал до своей кончины. Она словно приросла к нему, стала второй кожей, частью его существа и смыслом его существования. Судьба чуть было не напутала: отец родился солдатом, а не его старший брат Павел. Подчеркиваю: РОДИЛСЯ, ибо до тех пор, пока человечеству свойственно нападать и обороняться, оно будет поставлять солдат для самого себя, не полагаясь на волю случая, а программируя это традициями, обычаями, престижностью и девичьими вздохами о душах военных. Мы застали еще – правда, уже на излете – те времена, когда служба Отечеству была столь же естественна, как забота о собственном достоинстве, и шпага считалась естественным продолжением руки. Однако и при этом случались казусы, и шпага оказывалась при младшем сыне, а не при старшем, как того требовал обычай. Так произошло с моим отцом, но история исправила ошибку: за десять лет до моего рождения некий пехотный прапорщик отправился в окопы первой мировой, успев, к счастью, жениться между выпускным парадом и погрузкой в эшелон.

Я убежден, что каждой человеческой душе нужна своя, единственная, ей присущая форма проявления, если рассматривать душу не как мистический символ, а как философское понятие, как ДУХ. Борения этого духа и есть поиски своей формы существования, но большинство так и не находит ее, и, следовательно, жизнь их не просто дисгармонична, не только судорожно перенапряжена, но и может считаться несостоявшейся, ибо их дух не нашел возможности выразить себя. Талант – я имею в виду его проявление, действие, а не термин – и есть соответствие формы и содержания, а Ойстрах он при этом, заботливая мать или безымянный таксист, получающий наслаждение не от суммы чаевых, а от собственной реакции, ловкости и расчета, это уже не существенно. Мой отец, к примеру, воспринял военную форму как форму своего духа, и был прав, и был счастлив, ибо не знал ни зависти, ни неудовлетворенных желаний. Я особо подчеркиваю важность соответствия духа и формы его выражения, так как дух просыпается незаметно и воспитатели детских душ должны быть чрезвычайно внимательны, добры и бдительны. Тенденция силой запикивать душу ребенка в приятную, доступную, понятную или просто престижную форму приводит к внутренней трагедии во всех случаях без исключения. Проявление этих трагедий может быть различным – дерзость, грубость, открытая конфронтация со всем и со всеми, тартюфовское смирение или уголовное деяние, – но причина одна: покушение на детскую душу.

К великому моему счастью, батюшка мой обрел единство формы и содержания быстро, без особых терзаний и задолго – за десять лет! – до моего рождения. Таким образом, одно из слагаемых было заведомо гармоничным, но человек есть сумма двух слагаемых и разность двух векторов.

Инь

Моя матушка Елена Николаевна, урожденная Алексеева, родилась в том же, 1892-м году, что и отец, но па четыре месяца позже – в июле. История юности ее отца и многочисленных дядюшек и тетушек рассказана в романе «БЫЛИ И НЕБЫЛИ», где ее батюшка (мой, стало быть, дед) выведен под именем Ивана Ивановича Олексина. Я изменил фамилию реальных людей на созвучный псевдоним литературных героев только ради свободы романного маневра, поскольку мои предки по материнской линии оказались связанными с Пушкиным, Толстым и общественным движением девятнадцатого века, что могло вызвать множество уточняющих вопросов историков. Правда, все мои консультанты легко и просто в этом разбирались, лишь порою сердито спрашивая, откуда мне известна биография братьев Алексеевых. Но, выяснив, откуда, переставали задавать вопросы.

Алексеевы принадлежали к старинному дворянскому роду, известному в землях псковских. Я рассказал об их следе в Золотом веке пашей литературы, написав, условно говоря, «Сагу об Алексеевых».

Но вернемся в день вчерашний.

История далекого предка не сохранилась в семейных преданиях, уйдя, по всей вероятности, в другие линии алексеевского рода. А вот историю своего дяди Василия Ивановича Алексеева – его американский эксперимент и дружбу со Львом Николаевичем Толстым – матушка все же мне рассказала, так как очень этим гордилась. По ее словам, ее отец Иван Иванович Алексеев активно участвовал вместе с братом Василием в кружке чайковцев, строил коммуну в американском штате Канзас по методу Фурье и был близко знаком с Л. Н. Толстым. В романе «Были и небыли» я сделал его младше, передав многое брату Федору. Василий Иванович, как известно, не только стал первым толстовцем, истово уверовав в учение своего гениального друга, но и спас от забвения и уничтожения его «Евангелие», переписав рукопись Льва Николаевича за одну ночь перед ее отправкой в Синод.

А вот его брат Иван – отец мамы – устоял перед авторитетом, но не устоял перед юбкой: подобные парадоксы часто случаются с мужчинами. Когда я читаю набоковскую «Лолиту», я вспоминаю деда. Как знать, может быть, Набоков что-то слышал о его трагедии?

Когда это стряслось, дед был уже взрослым, а главное, многое пережившим человеком. Отсидел в Крестах за участие в студенческих демонстрациях, проходил по процессу 83-х, был сослан на родину под надзор полиции, сбежал вместе с братом Василием в Америку, где братья и решили строить счастливую жизнь по рецепту Фурье, организовав трудовую коммуну. Из этого дела ровно ничего не вышло, и, когда кончились деньги, братья подались на родину.

Да, поиски нравственного идеала в России конца прошлого века многих уводили за океан и очень многих – в места, не столь отдаленные. Деду повезло уцелеть и вернуться, а когда его брат Василий вдруг увлекся религиозными построениями Толстого, он – в знак протеста – приехал в Петербург, где и продолжил учиться, но уже не в Университете, а в Технологическом институте. «Техноложке» – как и сейчас его называют. Снял комнату у вдовы чиновника, бородатый студент учился легко и увлеченно, что не помешало ему, впрочем, вскоре жениться на своей квартирной хозяйке. Брак не вызвал особых пересудов: супруги были одного круга, Дарья Кирилловна сохранила и красоту, и обаяние несмотря на то, что родила дочь в очень юном возрасте. Покойный супруг ее – отец девочки – был грек, и дочь-полукровка возвела в квадрат красоту, живость и обаяние русской матери и греческого папы. Это было на редкость грациозное существо с идеальной фигуркой, черными косами ниже пояса и густо-синими глазами – сочетание, которое не может спокойно вынести ни один

нормальный мужчина. И дед не был исключением: через год после свадьбы пятнадцатилетняя падчерица родила ему первого ребенка – мою старшую тетю Олю.

На этой клубничной сенсации давайте остановимся. Я рассказываю о своем дедке и о своей бабке, и мне совсем не хочется, чтобы их трагедия выглядела этаким сексопереттой. Может быть, она и была бы таковой, если бы мой дед всю жизнь до безумия не любил эту женщину и если бы эта женщина не была такова, какова она была. И, к сожалению, выражение «до безумия» – в данном случае не метафора. Дед и впрямь тронулся рассудком от этой несчастной любви, которая превратилась в ненависть, оставшись великой любовью и породив в реальной жизни поэтическое единство диалектических антиподов. Но все должно знать свое место, а в особенности – рассказ о бабушке, ибо она-то и стала моим главным наставником, учителем и воспитателем.

Когда несовершеннолетняя девочка оказывается мамой, это естественно, но не совсем привычно, что ли, а потому способно создать лавину слухов и сплетен. Когда же эта родившая девочка – ваша падчерица и вы не только не отрещиваетесь от всего на все стороны – нет, вы безмерно счастливы! – это уже гран-скандал. И, учтя неизбежность этого гран-скандала, дед при первых намеках падчерицы на взаимность честно рассказал все ее матери, то есть своей законной жене. Не повинился, а объявил, что любит он не ее, а ее дочь и женился только для того, чтобы быть рядом с девочкой всю жизнь и всю жизнь любить ее. И что девочка ответила взаимностью со всем пылом греко-славянского происхождения. Не знаю, любила ли Дарья Кирилловна моего деда, но все их объяснения кончились тем, что оскорбленная супруга уехала в Высокое, отошедшес к тому времени в собственность Ивана Ивановича, заявив, что не желает более видеть ни мужа, ни дочери.

Так у двух горячо и искренне любящих людей родился первый незаконный ребенок. Незаконный потому, что Дарья Кирилловна о разводе не желала ничего слышать, и в глазах церкви и общества получалось, что юная грешница прижила ребенка на стороне. В соответствии с этим ребенок получил отчество не по родному отцу, а по крестному, а поскольку крестным был брат Ивана Ивановича Георгий, то моя старшая тетушка и писалась всю жизнь Ольгой Георгиевной во всех бумагах и документах. Матушка моя оказалась второй незаконной дочерью, крестным отцом ее был другой брат, Николай, и звалась она соответственно Еленой Николаевной. И только Владимир и Татьяна, родившиеся после смерти Дарьи Кирилловны и впоследствии венчания собственных родителей, получили право на отцовское имя: Владимир Иванович и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, моя тетя Таня, пережила всех и вся: революцию и гражданскую войну, смерть первого мужа и расстрел второго, коллективизацию и опричнину, Великую Отечественную войну и угон в Германию.

Когда это случилось, она с маленьким сыном Вадимом и дочерью Ольгой, у которой уже был ребенок, жила в Жиздре – маленьком городке тогда Смоленской области, выбранном заботливым НКВД для ее ссылки без права изменения места жительства. К тому времени Оля уже закончила педагогический техникум и преподавала немецкий язык, что в какой-то степени помогло им выжить. Когда наши войска освободили Жиздру, мама писала множество запросов во все инстанции, но получала один ответ, что о «судьбе ваших родственников известий не имеется». И только в 45-м, вскоре после Победы, из Смоленска пришло письмо от самой тети Тани. Мы с мамой тут же выехали в Смоленск.

И я увидел разрушенный почти до основания город моего первого вздоха. Разбитые и взорванные дома, исчезнувшие улицы, руины кварталов, в которых мне до сей поры чудился запах трупов и взрывчатки. И над всем этим возвышался не тронутый ни единой бомбой Успенский собор,

в котором шли службы. Я не мистик и тем не менее не мог не признать, что здесь не обошлось без какого-то чуда. В центре города уцелело самое высокое здание, отличный ориентир для бомбежек как германских, так и наших самолетов, и – ни одной бомбы не попало в него, хотя рядом было решительно все сметено с лица земли.

Тетя Таня нас встречала. Она жила на Покровке в каком-то огромном подвале, где на узлах, на досках, на охапках соломы ютилось множество беженцев и перемещенных лиц. Вместе с нею были Оля и Вадим: Олин ребенок умер еще во время оккупации. Я оставил их в этом подвале и помчался в центр Смоленска, где провел свое детство. Здесь тоже было много разрушенных домов, но сам центр пострадал все же меньше, чем иные районы города. Целым оказался ансамбль, окружающий Блонье, Лопатинский сад и, как ни странно, все памятники Отечественной войны 1812 года: немцы увезли в Германию только памятник генералу Энгельгардту. Я пометался по знакомым местам, выяснил, что наш дом во дворе по улице Декабристов, 2/61 тоже разрушен бомбой, и уже под вечер вернулся в подвал на Покровку. На следующий день мне предстояло помочь тете получить хоть какой-то «вид на жительство» и место этого жительства.

Признаться, я не умею продираться куда бы то ни было, расталкивая всех локтями. Не умею просить, не умею жаловаться: родители постарались избавить меня от этих холопских качеств, не очень полагаясь на гены (тогда это не было столь модным, каким стало впоследствии). Поэтому я провел трудную ночь, ни на что не решился, но когда пришел вместе с тетей Таней и своими племянниками на какой-то контрольный пункт и увидел огромную очередь на улице, то что-то со мной случилось. Я уже был офицером (я получил звание младшего техника-лейтенанта еще в апреле 45-го), а потому решительно пошел мимо всех обреченно стоявших и угнетенно молчавших. В приемной тоже яблоку некуда было упасть, хотя сюда вызывали людей порциями. У входа в кабинет стоял какой-то сержант, но я отодвинул его и без стука распахнул дверь. Пишу об этом столь подробно потому лишь, что и до сей поры этого не забыл и до сей поры удивляюсь самому себе.

За столом в кабинете сидел немолодой майор, если судить по званиям армейским, напротив него – тихо плачущая женщина. Тогда многие плакали, но всегда – тихо, всегда собирая в платочек собственное горе, точно стесняясь его.

– Проездом, – объявил я, козырнув майору. – Дело у меня, а времени – в обрез.

– Обождите в приемной, – сказал майор женщине.

Несчастливая женщина еще не успела выйти, как я, развалившись на освободившемся стуле, уже начал что-то говорить. Помнится, одна здравая мысль тогда сидела в моей голове: не дать майору перехватить инициативу. И я не дал. Я рассказывал майору о Параде Победы, участником которого был и в самом деле; об академии, в которой учился, о преимуществе наших танков... Ну и, конечно же, о тете и ее семье, угнанных немцами в Германию. Развязностью, которой стыжусь до сей поры, я прикрывал свое полное неумение разговаривать с незнакомым человеком: черта, свойственная мне от природы. Я умею и люблю говорить с аудиторией, она меня не пугает, и я всегда нахожу верный тон. Однако разговор тет-а-тет был и остался моим слабым местом: я – скорее массовик-затейник, нежели собеседник.

Сдается мне, что майор прекрасно понял меня тогда. Понял мою полную беспомощность и наивность, но понял и то, что я изо всех сил, глупо и неумело пытаюсь исполнить долг: помочь родным, попавшим в тяжелое положение. Конечно, он мог бы сказать уже ставшее знаменитым «разберемся», тем более что я намередвался в тот же день уехать в Москву, но сказал другое:

– Все сделаем. Учись спокойно.

Я ушел. А майор, закончив с плачущей женщиной, вызвал к себе тетю Таню и Олю. Не знаю, о чем они говорили, но документы им были выданы, а местом проживания определена Ельня по их просьбе. Все же ближе к родному гнезду...

Вечером того же дня мы выехали в Москву, взяв с собою Вадима. Он никогда не учился в школе, а болтал куда чаще по-немецки, основательно путаясь в русском языке. Предстояло подготовить его для пятого класса, что нам и удалось. А затем Вадим кончил техникум, следом – заочный институт, всю жизнь проработал в ГАИ Ярославля и вышел в отставку полковником милиции.

Тетя Таня умерла счастливой при всей своей сказочно несчастливой жизни, и в этом смысле она несколько выбивается из легиона большевистских жертв. А причина в редкостной жизнелюбии, улыбочивом оптимизме и поразительном для такой горькой судьбы чувстве юмора. Ее сестра, моя матушка, была полной ее противоположностью, хотя тетя Таня уверяла меня, что в молодости мама была совершенно иной. И дело совсем, совсем не в возрасте...

Янь

Отец мало и неохотно рассказывал о себе. Он чудом пережил три армейских чистки, бывшие больше всего по офицерам царской армии, которые сразу или не сразу, а подумав и помучившись, добровольно или по призыву приходили в Красную Армию. В конечном итоге их оказалось больше именно в Красной Армии, нежели в Белой: по данным на 20-й год их числилось в ней около 170 тысяч. Именно они и создали Красную Армию из разрозненных рабочих и крестьянских отрядов гибкого трехчленного состава (три роты – батальон, три батальона – полк и так далее), тогда как царская армия упорно сохраняла четырехчленный состав, что резко упростило управление. Им принадлежит честь создания основной ударной силы Красной Армии – ее стремительных конных армий – и принципиально иной, куда более современной тактики ее частей и соединений. И именно их изгоняли из Красной Армии в первую очередь.

В этом сказывалось не только недоверие к вчерашним золотопогонникам и даже не только застарелая, с молоком матери впитанная ненависть к дворянству. Они были профессионально требовательны к подчиненным, добиваясь беспрекословного исполнения приказов и неукоснительно строгой дисциплины, то есть именно того, чем всегда славилась русская армия. Это было в традициях русского офицерства, точно так же как и забота о солдатах. Дедовщина в нашей армии возникла тогда, когда эти традиции были окончательно забыты. Просто офицеры-дворяне попали под тяжкий каток выравнивания социальной поверхности русского общества одними из первых. План уничтожения русской интеллигенции был запущен Сталиным сразу же по окончании гражданской войны и действовал вплоть до его смерти.

В 48-м я сдал госэкзамены и сделал диплом в начале августа. Получил все требуемые отзывы от консультантов и заверения, что защищаться мне предстоит в начале сентября, и наша компания решила сходить в поход на Истринское водохранилище. Нас было пятеро – трое девиц и двое парней. Мы сошли на станции Березки и пошли к водохранилищу. Пишу об этом потому лишь, что при пересечении деревень за нами бежали все местные ребятишки с воплями «Девки в штанах!», а деревенские дамы неодобрительно плевались вслед. Все относительно в мире сем, и мы к этому тоже относились спокойно.

Дней пять мы жили на берегу Истринского водохранилища в полном одиночестве. Грибов было много, мы ели их во всех видах, а потом двину-

лись к дому, потому что 31 августа был Зорин день рождения. 29-го вечером мы с Зорей пришли в свою квартиру на Хорошевском шоссе и обнаружили записку: «Борис, твоя защита – в 10.00 30 августа». На следующий день я помчался на защиту, получил четверку и полуторамесячный отпуск и 2 сентября уехал к отцу на 43-й км Ярославской дороги. Вот ради этого отпуска я и позволил себе совершенно ненужные отступления.

Отец решил пристроить террасу к домику, и я ему помогал по мере возможности. А попутно варил похлебку из мясных консервов на два дня и спускал ее в колодец, откуда мы ее и извлекали для очередного обеда, потому что жили вдвоем и я не хотел, чтобы отец разрывался между работой и необходимостью меня кормить. Собирал грибы прямо на участке, который все еще оставался лесом, и варил их на закуску. Ходил в Зеленоградскую за хлебом и большой ржавой сеledкой, которую отец почему-то предпочитал всем иным (помнится, она называлась каспийской). Раз в три дня нам приносили молоко из Горелой Роши, но это – для завтрака, потому что еще были куры. Штук семь, что ли, во главе с задиристым петушком. Перед обедом мы с отцом непременно выпивали по две рюмочки, и нам вполне хватало бутылки на два дня. После обеда отец, как правило, заваливался на часок поспать, а я бродил по соседним перелескам, прихватывая что-либо полезное для нашего хозяйства. Сухой ствол, к примеру, или какую-нибудь смешную корягу.

Мы мало разговаривали с отцом: на работе не поговоришь, да он и не был особо разговорчивым человеком, хотя в детстве мы всегда гуляли с разговорами. Но то было еще до разгрома Сталиным офицерского корпуса Красной Армии, в которой отец уцелел истинным чудом. Накануне мая 37-го года его послали с инспекцией в Якутию и на Дальний Восток, там он оказался посторонним, а когда вернулся, аресты командного состава резко пошли на убыль, и отца перевели в Воронеж, куда мы и переехали. ДО – и это ДО весьма на него повлияло: он вдруг стал неразговорчивым. Вечерами мы оба читали – отец еще только начал собирать собственный телевизор и в конце концов сделал его. А тогда много читали при свете керосиновой лампы, пока нам наконец-таки не провели электричество. Но один вопрос меня мучил давно, и как-то я задал этот мучивший меня вопрос. За обедом, после рюмки.

- Объясни мне, пожалуйста, как это ты, командир роты, поручик, золотопогонник, перешел вдруг на сторону большевиков?

Я тогда, помнится, налил ему картофельной похлебки, поставил перед ним тарелку, но он – закурил, хотя по негласной договоренности мы курили после первого, а не до него. И сказал:

- Видишь ли, Борис, в России офицеры присягали не народу, не Родине, а – Государю. И, когда Николай отрекся от престола, а его брат Михаил отказался от короны, русские офицеры оказались свободными от присяги. И каждый поступал согласно своим представлениям о будущем России.

- И многие решили стать большевиками?

- Дело не в большевиках, дело в семьях. Фронт был огромным, три тысячи верст, а царский офицерский корпус – из центральных губерний, как правило. Московская, Смоленская, Рязанская – старые дворянские гнезда. А там – Советская власть. Вот русское офицерство, в основном, и подалось к семьям своим. Многие просто отсидеться надеялись, а тут – призыв офицеров в армию. Вот так и пошли. По мобилизации.

- И ты – тоже?

- Я? Нет. Я на фронт прибыл субалтерн-офицером, взводным фендриком. В бою на Болимовском выступе – это под Варшавой – германцы применили хлор. Я нахлебался, сознание потерял, солдаты вытащили. У фронта – свои законы. Я рукоприкладством не занимался, с общего котла ел, как все, они меня за своего и принимали. Письма неграмотным писал, портянки теплые для солдат пробивал где только можно. Солдат все ви-

дит, его не обманешь. И когда в семнадцатом рота постановила, что будет за большевиков, я им сказал: «Я – с вами». Все куда проще, чем об этом потом стали писать. Война – это не пальба да атаки, сам знаешь. Война – это быт. Ненормальный, но – быт. По нему и судят об офицере.

– Это тебе помогло?

Отец пожал плечами:

– Жив остался.

Я написал это и взял в руки старую, выпущенную еще в начале века безопасную бритву «Жиллет»: когда-то мама подарила ее отцу, который уезжал на свою первую войну. Я бреюсь ею и сегодня, и это – мое единственное наследство, не считая, разумеется, подаренной мне жизни. Отец пронес бритву по всем своим военным тропам, дважды терял, но солдаты находили, и она опять оказывалась в его полевой сумке. Когда-то она была в фиолетовом бархатном футляре, но футляр где-то затерялся, а бритва жива и поныне. Когда я бреюсь, я испытываю странное чувство причастности к жизни собственных родителей. Юная мама дарит уезжающему на фронт столь же юному мужу, в сущности, бесполезную вещь: на фронтах не продают безопасных лезвий. И отец таскает этот бесполезный подарок по всем фронтам в своей полевой сумке...

Странные люди жили в начале века. Люди; умеющие любить и прощать. И завещали это нам, но мы растеряли этот дар в суете наших бессмысленных и бесконечных строительствах, обид, невзгод и невероятного накопления чисто обывательской безадресной злобы. Злобы против всех.

Инь

Да, опять – о маме. О том, почему она однажды разучилась улыбаться и не улыбалась уже никогда. И никогда не плакала, даже на похоронах отца не проронила ни слезинки.

К моменту рождения первого ребенка ее грешный отец уже где-то служил, но в преддверии скандала сразу же перевелся подальше. Не знаю точно, где родилась тетя Оля, но мама увидела свет в Варшаве. Эта неосторожность родителей лишь чудом не испортила жизнь дочери: в 1939 году во время злосчастной финской войны матушка оказалась в числе зачинательниц движения командирских жен по оказанию помощи раненым воинам. Для нее это было обычным занятием, поскольку подобной деятельностью занимались когда-то ее бабки, прабабки, кузины, тетки и вообще «дамы общества», но командование было потрясено порывом патриотизма, список жен-благотворительниц должен куда следовало, и ТАМ соизволили лично поглядеть на подвижниц. А поскольку грамотность уже овладела массами, то ни одно доброе дело не мыслилось без бумажек, и началось писание анкет и заполнение автобиографий (я сознательно написал абракадабру, достойную этого занятия). Матушка и там, и там, и там и... в общем, во всех видах жандармских бумажек честно указала, что родилась в Варшаве, и была, естественно, немедленно изъята из всех списков. Так она и не пообщалась с тов. Сталиным, но зато, правда, не познакомилась и с его малютами скуратовыми на местах, что следует рассматривать как сказочный подарок судьбы.

Она познакомилась с ними раньше, но об этом знакомстве – в свое время.

Я мало интересовался детством матушки, о чем очень сожалею сейчас. Знаю, что совсем еще маленькой девочкой она оказалась в Брест-Литовске во время страшного пожара, когда сгорел весь город: мама помнила, как бабушка несла ее на руках сквозь горящие улицы, а кошка вырвалась из кошелки и бросилась в пламя. Сама же бабушка этой истории никогда не касалась, может быть, потому, что огненное крещение повлияло на нее совершенно непостижимым образом, и вскоре после

пожара восемнадцатилетняя мать двоих незаконнорожденных дочерей сбежала от них, семьи и безмерно любящего ее мужа с каким-то усатым прохиндеем при шпорах и сабле.

Для того чтобы представить себе, что было с дедом, надо учесть, что дед был материалистом – фанатиком, если вообще возможен подобный симбиоз. А фанатические материалисты переносят удары судьбы особенно тяжело по той простой причине, что исходно не верят в эту самую предначертанную судьбу. И там, где идеалист утешается велением рока, мистик – вмешательством потусторонних сил, а циник – уверенностью, что худшее – всегда впереди, материалист оказывается безутешным. Самая рациональная философия бессильна в сфере людских отношений, а в особенности – в отношениях между мужчиной и женщиной, и бездушно жестока к своим вернымяслящим: закон конечной справедливости действует с непреложной беспощадностью. Выигрывая в знаниях, ты проигрываешь в вере, а поставив на материальное, лишаешься иллюзий, столь необходимых человеку, чтобы нормально прожить отпущенную жизнь: убежденные материалисты куда чаще заболевают психическими расстройствами, нежели идеалисты, – эту истину вам откроет любой серьезный психиатр. А дед был убежденным трижды: убежденным материалистом, убежденным атеистом и убежденным влюбленным, – и в соответствии с такой надстройкой падал с третьего этажа возведенного им замка. Поначалу он попытался пить, но это был еще не запой, а попытка компенсации. Девочки плакали и звали мамочку, и это отрезвляло. Дед устоял на ногах, упаковал детей и звачно отвез их в Высокое к своей собственной жене Дарье Кирилловне.

Здесь начинается путаница, в которой я не в силах разобраться. Поскольку Дарья Кирилловна была законной супругой Ивана Ивановича, то она приходилась мачехой его дочерям. Но поскольку она же была матерью их сбежавшей матери, то она одновременно приходилась осиротевшим девочкам заодно и бабушкой, а ее законный супруг был одновременно и отцом, и дедом. Тут было от чего свихнуться, и мама считала, что все несчастья материнского рода начались с этой неразрешимой задачки.

Итак, дед привез Олю и Элю в Высокое, честно рассказал о бегстве жены неизвестно куда и неизвестно с кем (она же – его падчерица, его фактическая жена, мать его девочек и родная дочь его законной жены) и попросил приютить малюток. Судя по маминим весьма скупым рассказам, он не стремился получить личное прощение и, заручившись помощью расстроганной бабки (!), тут же укатил в Брест-Литовск к месту государственной службы.

Неизвестно, как бы сложилась судьба и моей матери, и моего отца, да и меня самого, если бы Иван Иванович Алексеев служил не в городе Брест-Литовске, а, скажем, в Нижнем Новгороде. Почти наверняка я бы не родился, поскольку причинный ряд моих родителей был бы нарушен и они попросту не смогли бы встретиться, а уж тем паче полюбить друг друга. А если бы все же и родился, то у меня были бы иные родители, иная судьба, а следовательно, это был бы не я. Здесь заключена некоторая мистическая предопределенность, что является одним из родников искусства, пытающегося предложить свои варианты бесконечных человеческих «если бы». Это не игра в слова, а вполне трезвое размышление, позволяющее сделать вывод о господстве случая в личной судьбе каждого человека. Закономерности верны лишь для масс, для общего потока, для всех оптом. Судьба каждой овцы и каждого барана общего человеческого стада есть реализация чистой случайности, и никакие законы тут не действуют и действовать не могут. Ради постижения этого парадокса человек и призвал на помощь искусство с его весьма относительными законами любви, верности, долга и прочего орнамента случайностей самого зарождения человеческой жизни.

Дедушка Иван Иванович служил в городе Брест-Литовске, через который, как известно, пролегал путь не только в Польское генерал-губернаторство. И спустя семь-восемь месяцев после бегства юной полукровки из Европы возвращался родной брат Ивана Ивановича и крестный отец моей матушки Николай Иванович Алексеев. А так как в те времена люди считали спешку ниже собственного достоинства, то Николай Иванович сделал трехдневную остановку, дабы не просто повидаться, но и потолковать с братом. А поскольку ехал он из Парижа, то и поведал младшему брату, что шпоры с усами и саблей оставили беглянку на произвол судьбы и что беглянка уже полгода зарабатывает на жизнь, распевая в ночных кабаке. Короче говоря, легкий жанр.

Дед проводил брата, испросил отпуск и укатил в Париж. Там он разыскал беспутную бабку, заплатил все ее долги, молча выслушал задыхающийся от слез и раскаяния лепет и взял два билета до дома. А вернувшись в Россию, сам съездил в Высокое и забрал девочек, ничего не объяснив законной жене. Дарья Кирилловна кое-как перенесла и этот удар, догадавшись, что дочь вернулась, но уповая на свое, материнское знание этой дочери. И, действительно, через год с небольшим подростки Оля и Эля вновь были доставлены в Высокое, поскольку их родная маменька во второй раз сбежала от мужа. На сей случай с проезжим итальянским тенором и ненадолго: через три месяца она добровольно вернулась в слезах вместо бриллиантов.

Все эти истории мне рассказывала тетя Таня. Она никогда не осуждала свою грешную мать, поскольку была убеждена, что матушка просто не понимала той боли, которую приносила близким, которых, как ни странно, очень любила, но – как-то по-своему, что ли. А отца, то бишь моего деда, полагала просто святым человеком, умеющим любить и умеющим прощать. Последнее, правда, до известного предела, как потом выяснилось.

Однако тогда дед и впрямь был святым, ибо простил своей любви и этот, повторный, грех. Но в семейную жизнь он, вероятно, уже не верил, потому что категорически запретил забирать детей из Высокого. Бабка согласилась с невероятным смирением, но без детей ей было скучно (по-своему она их очень любила), и... И постепенно, день за днем, ласка за лаской...

Надо хоть чуточку представить себе эту грешную мою бабку. Я помню ее, естественно, в возрасте, но, вспоминая ее сейчас, ясно понимаю, какой вулкан обаяния, женственности, кокетства и лукавства сохранился в ней и тогда, когда она сама и вправду стала бабушкой, а потому могу вообразить, какая дьявольская сила была заключена в ней в ее феерические восемнадцать лет. И понимаю, что с такой женской мощью дед совладать не мог. Да и никто не мог, я в этом сейчас убежден: бабку не бросали – от нее убегали, только и всего. Убегали в страхе, ибо такая женщина могла потребовать королевство за завтраком, и пришлось бы идти его завоевывать.

При всей наружной мягкости внутри Ивана Ивановича сидел кремешок. Дед предъявил его позже, а тогда показал только одну грань, категорически заявив, что если бабка не может без детей, то пусть сама за ними и едет.

И бабка поехала. Поехала к собственной матери, у которой увела мужа, забирать собственных детей, к которым одинокая Дарья Кирилловна успела привязаться со всем неистовством брошенной женщины. Ни бабушка, ни тем более мама никогда не рассказывали мне об этом свидании: я знаю лишь сам факт. Но это такой факт, что я завидую тому писателю, который наполнит его плотью и кровью. Воистину эта сцена – сцена свидания матери и дочери – достойна самого талантливого пера. Особенно

если учесть, что там не могло быть и не было современной крикливой суеты и спешки: женские судьбы и судьбы детей решались за чашечкой чая сдержанно и вдумчиво, но сколько страсти клокотало под этой трехдневной сдержанностью!

Молодая мать забрала детей, а несчастная Дарья Кирилловна так и не оправилась от последнего трехдневного разговора с единственной дочерью и вскоре умерла. Смерть ее глубоко и искренне потрясла мою бабушку; она остепенилась, возилась с детьми, вела дом, была ласкова с мужем и через отмеченный приличиями срок обвенчалась с ним в церкви села Уварово. Родившийся после свадьбы мальчик был уже вполне законным, равно как и последняя дочь Татьяна. Бабка рожала, была сказочно приветлива и нежна с мужем, держала дом, прислугу, выезд, принимала у себя и наносила визиты, и эти три или пять лет были, по всей вероятности, самыми счастливыми годами жизни Ивана Ивановича Алексева. А счастье всегда недолго, ибо часы его сочтены, почему их и не наблюдают, и вскоре после рождения последней дочери бабка сбежала в третий раз.

Если быть точным, то не сбежала, а ушла, оставив записку, в которой писала, что жить не может без сцены. Что понимает, насколько она мерзка и отвратительна. Понимает, что она – падшая женщина, что порочная и порченная и что ее необходимо проклясть и забыть. Дед проклинал, но не забыл и начал пить. И пил, уже не переставая, пропив службу, детей, гражданскую войну и в конце концов свой собственный очень ясный и острый ум. А бабка металась по провинциальным подмошкам, мелькая черными чулками в кладбищенском свете свечей вчерашнего дня. И по окончании гражданской войны объявилась у своей второй дочери и как ни в чем не бывало взялась за мое воспитание.

Дети, лишённые матери и практически отца, росли в семьях теток и дядей. Как бы там ни было, а они чему-то выучились, тем паче что новое время требовало и новых знаний. Все они – три сестры и брат – встречали эти новшества уже в собственных семьях, и все – в Смоленске. А дед проживал в своем доме невылазно. В родовом поместье Высокое, двадцать две версты от Смоленска. Учитывая то, что он потерпел за свои убеждения от царизма, ему выдали какую-то охранную грамоту, а крестьяне не тронули не только его дом, но и огромный сад, может быть, потому, что он отдал свои земли общине без всякого выкупа, исходя из собственных представлений о справедливости. У него была новая гражданская супруга – его прежняя домоправительница, воспринявшая революцию как право залезть к барину в постель. По странному стечению обстоятельств звали ее Дарьей: думаю, у деда был определенный комплекс вины, связанный с этим именем. Эта Дарья Матвеевна была очень гостеприимна и домовита, чудовищно гордилась своей новой родней и всегда приглашала в Высокое. Дед пил ежедень, а когда не пил – молчал, но при всех вариантах не стремился навстречу взрослым детям и подрастающим внукам. Скорее он избегал их, делая исключение только для моей мамы. С нею он разговаривал, если был в начале запоя, или молча разглядывал ее, если находился в кратком периоде трезвости. Он перенес внимание к ней и на ее детей – на Галю и на меня; я жил у него года три, что ли, когда у моего отца был период частых переводов по службе. Дед научил меня читать и слушать, молчать и спрашивать, а это – великие науки детства. Лет в шесть, когда отец прочно осел в Смоленске и даже получил квартиру от штаба Белорусского военного округа, меня у деда забрали, а вскоре Иван Иванович умер. Я был маленьким, но почему-то помню его. По крайней мере ясно помню три или четыре эпизода.

У деда была белая лошадь Светлана (тогда это имя еще не стало в России женским), на которой он ездил по утрам в седле, если стояла хорошая погода. В дождь ему закладывали пролетку, но в тот день, который мне помнится, дождя не было, потому что дед взял меня на руки, уже

сидя в седле. И Светланка куда-то зарысила, а я запомнил это утро, потому что не боялся. Даже когда дед пересадил меня вперед и только придерживал рукой. И я помню чувство своей небоязни, потому что очень верил деду.

Как-то деревенские ребятишки, дружбу с которыми дед всегда приветствовал, попросили меня надергать волос для лесок из белого хвоста Светланки. И я пошел дергать, а у Светланки был в то время маленький жеребенок. И, увидев, что я оказался от него в опасной близости, Светланка отбросила меня копытом. Именно отбросила, а не ударила: кобылка была сообразительная. Но я испугался и заорал, и дед сразу же кинулся ко мне. Вероятно, помнится потому, что от деда исходил густой запах табака. Отец мой тоже курил всю жизнь, однако запах его был иным, почему, вероятно, я и запомнил.

Дом в Высоком был кирпичным, с четырьмя колоннами у парадного входа. От него шли два деревянных крыла, куда вели два лестничных марша, между которыми стоял белый концертный рояль. Дед купил его для того, чтобы бабка музицировала и распевала свои песни, но, почему он стоял тогда в маленьком холле при входе, я не знаю. Может быть, дед сослал его из гостиной после последнего бабкиного побега, что при его характере, думаю, допустимо. Как бы там ни было, а располагался он там, и на его крышке осенью всегда стояла большая ваза с самыми красивыми яблоками. В огромном саду было множество плодовых деревьев, яблоки и груши никогда полностью не собирали, почему мне, очевидно, и снился когда-то заваленный лиственной осенний сад.

И мне вдруг захотелось во что бы то ни стало достать самое красивое яблоко. А взрослых не было, да они мне и не были нужны для моей почти преступной цели. Я подволок к роялю нечто весьма шаткое, кое-как взгромоздился, потянулся за вазой, ухватил ее за край, и туг сооружение подо мною рухнуло. Я свалился на пол, не отпустив вовремя вазы, она упала, осколки и яблоки посыпались на пол, а в дверях возник дед. На сей раз он не торопился меня поднимать, а сказал весьма укоризненно (странно, порою я слышу эти спокойные укоризненные интонации и теперь):

– Видишь, Боря, что происходит, когда берут без спросу.

И еще я помню библиотеку. Она представлялась мне огромной, но, вероятно, потому, что сам я был маленьким. Смутно помню читающего в кресле деда и себя самого, разглядывающего картинки в книжках у его ног. Эти книжки – полная, роскошно изданная серия для юношества – дед распорядился передать мне, и однажды в Смоленск приехала подвода с тремя ящиками дедовского завещания. К сожалению, книги сгорели в Воронеже, но я помню их. Даже картинки в них помню.

А библиотека досталась дяде Володе, маминому брату. Он решил стать букинистом и торговал в павильоне на Блоньи. Правда, недолго и, к счастью, без последствий, потому что уже кончался нэп.

Да, только Эля и ее дети имели право на внимание деда и даже на его ласку, потому что мама была очень похожа на свою мать. Полугречанку, полушансонетку, полудурную и полухорошую стихийную язычницу. Похожа, правда, не более чем копия на оригинал: только внешне, не унаследовав от своей матери поразительного таланта всю жизнь прожить полу-женщиной-полурбенком с характером удивительно легкомысленным и удивительно чистым.

17 января 1993 года я трясся в уазике, который вел глава администрации Ельнинского района Смоленской области Тимофей Васильевич. А вокруг были заметенные поля да бесконечные березняки, деревни попадались редко, и новые избы в этих деревнях особенно бросались в глаза, потому что был этот край опустошен и заброшен, беден и неуютен, как и вся наша Великороссия, центр кристаллизации русского народа,

безумным и безнравственным решением сверху превращенный в пустынную, обезлюдившую часть суши, названную Нечерноземьем. Здесь много лет укрупняли и разукрупняли, начисто сводили обжитые места и перепаживали кладбища, что-то начинали и не заканчивали, забывая о людях, как забыли Фирса в вишневом саду. И эти всеми забытые фирсы обоих полов тихо и покорно доживали свой век, и дети здесь были редки, как великодушные в наши дни. И если в Ельнинском уезде сто лет назад проживало 142 250 душ обоего пола, то теперь доживает 19 тысяч.

– В селе Высоком церкви нет и никогда не было, – сказал мне по дороге Тимофей Васильевич. – Ближайшая церковь – в селе Уварово, и ваш дед мог быть похоронен только там. Однако церковь была закрыта в начале восьмидесятых годов, начала действовать недавно, архивы неизвестно где, но будем искать.

Уваровская церковь оказалась маленькой, приземистой и старой – конца XVIII – начала XIX столетий. Кладбище за нею существовало, но ни крестов, ни могил не просматривалось под сплошным снегом: на нем давно не хоронили, и никто не навещал своих близких. Мы попали к концу службы, что шла в наспех отремонтированном правом приделе, прихожан оказалось на редкость мало и, в основном, старушки. Пожилой священник приехал недавно и ничего не знал. Я стал толковать что-то о народнике Алексееве, но Тимофей Васильевич перебил меня:

– Ну а тут-то кем был ваш дед?

– Помещиком, – со всей вложенной в меня советской застенчивостью признался я.

– Это проще. Про народников мои старушки и слыхом не слыхивали, а помещика, поди, не забыли.

Не забыли. И с помощью некоего Алексея Васильевича, на которого указали старушки, мы быстро установили, что Иван Иванович Алексеев, помещик села Высокое, действительно похоронен здесь, при уваровской церкви, но крест с могилы пропал, а место ее Алексей Васильевич готов показать, когда растает снег.

– А дом ваш я помню, – вдруг сказал он мне. – Белый, в два этажа.

На окраине села Высокое меня ожидала большая куча битого кирпича: все, что осталось от дома, где я когда-то учился ходить. Но еще сохранились остатки двух аллей. Не помню, но говорили, что я, забыв о всех, начал вдруг метаться по снегу среди этих остатков...

На обратном пути я молчал, и сопровождающие ко мне не обращались, понимая, что происходит в душе моей. А я переживал огромное потрясение: я нашел свой корень. Нашел не рассудочно, не умом, не в архивах – я ощутил его всем своим существом, чувствами, подкоркой. Генетическая нить вдруг обрела физическую реальность, которой я, офицерский сын, обитатель военных городков и гарнизонов, был лишен, казалось, навсегда. Я – горожанин, мне в полной мере свойственны как достоинства, так и недостатки городского жителя, но тогда, подпрыгивая на ухабах в уазике, я с горечью думал, насколько же город беспощаден к родовым корням своих собственных сограждан. Я вспомнил отцовский гроб, уплывший от меня на лифте Донского крематория, и гроб матери, через десять лет повторивший тот же последний... нет, не путь – спуск в никуда, в ничто. Я не бросил горсти земли на их гробы, их прах не растворился в почве, у них – захоронения урн, а не могилы. И у меня осталась память, только – память, а не реально существующие места их последнего упокоения. Это были даже не мысли, а скорее – чувства. Предмыслие.

Я прожил достаточно длинную жизнь, чтобы ощутить, а не просто логически осмыслить все три этапа, три поколения русской интеллигенции от ее зарождения до гибели через ступени конфронтации, унижения, физического уничтожения, мучительного конформизма уцелевших до возрождения веры в гражданские права и горького понимания, что ин-

теллигенция так и осталась не востребовавшей. Ведь необходимость и сила русской интеллигенции были в ее понимании своего гражданского долга перед родиной, а не просто в исполнении тех служебных функций, которые столь характерны для западных интеллектуалов и которые силой насаждала Советская власть. Ее вызвал к жизни отнюдь не зарождающийся рынок России, а общественная потребность, жажда внести свой вклад прежде всего в гражданское становление общества.

Толстой яростно спорил с официальной церковью вовсе не потому, что его обуяла гордыня. Феодальное построение церкви, феодальное мышление ее пастырей, наконец феодальная зависимость церковных структур уже не отвечали изменившимся потребностям общества, начинали сковывать как личную свободу, так и личную инициативу русской буржуазии. Личность не только способна обходиться без посредников между Богом и своею душой, но и обязана: это главное условие ее дальнейшего развития – вот основной мотив толстовского религиозного учения. Совершенствование личности без полуграмотных попов, без живых иерархов, без средневековой мишуры богослужения – в этом он видел завтрашний день православного христианства, без которого, по его глубокому убеждению, русский народ никак не может обойтись.

А русская адвокатура, столь богатая яркими талантами? Впервые за все время существования нашего народа она открыто выступила в защиту личности против государства, взывая прежде всего к гражданскому чувству присяжных, как то случилось в знаменитом «Деле Бейлиса».

А русская журналистика, представленная такими именами, как Короленко, Гиляровский, Дорошевич? Полистайте журналы того времени: великосветские сплетни и даже государственный официоз отходят на второй план, потесненные статьями и очерками о быте простых людей, о которых авторы всегда рассказывают через личность, утверждая ее как основную ценность нашего народа.

А русское купечество, из среды которого вдруг вышла целая когорта меценатов и – ни одного «спонсора»? Миллионы, еще вчера преподносившиеся церкви для спасения многогрешной души, вдруг переадресуются русскому искусству для спасения души народа без тени самоутверждения, не ради тщеславия или, Боже упаси, прибыли. И здесь – борьба за личность, за ее просвещение, развитие и конечное торжество.

Русская интеллигенция была востребована историей для святой цели: выявить личность в каждом человеке, восславить ее, укрепить нравственно, вооружить не раболепием православия, а мужеством индивидуальности. А ныне то тут, то там начинают мелькать статейки об историческом преступлении русской интеллигенции: их пишут холопы, так и не ставшие интеллигентами. Бог им судья, хотя невежество оскорбительно не для почивших, а для живущих. Русская интеллигенция породила не только Чернышевского с топором и Ленина с его невероятной харизмой и искривленными немецкими идеями, но и Герцена, утверждавшего, что для торжества демократии необходимо сначала вырастить демократов. Я мог бы привести массу примеров, но стоит ли? Интеллигентом нельзя стать, даже получив дюжину дипломов с отличием: для России это – нравственная категория, а не мера образовательного ценза.

И эта высочайшая нравственность русской интеллигенции, ее чувство сопричастности судьбе народа были отринуты левыми экстремистами, захватившими власть. Для них все было ясно, все – объяснимо, а потому они не просто не нуждались в личности – они считали своей задачей ее разрушение. Послушный специалист для них всегда был предпочтительнее думающего, сомневающегося и страдающего интеллигента, а потому второе поколение русской интеллигенции – поколение моих отцов – было поставлено перед дилеммой: либо конформистское служение властям, либо – уничтожение. А под уничтожением Советская власть всегда понимала не только самого строптивого, но и его семью, что прово-

дилось в жизнь с железной непреложностью. Судите людей по внутренним обстоятельствам того времени, в котором довелось им жить и страдать.

Русский народ не может существовать без собственной интеллигенции в исторически сложившемся ее понимании не в силу некоей богоизбранности, а потому лишь, что без нее он утрачивает смысл собственного существования, вследствие чего никак не в силах повзреть. Нам свойственны детская непосредственность, детское бескорыстие, детская доверчивость и детская жестокость: любой русский всегда моложе своего сверстника за рубежом, будь то немец или японец, француз или американец. А детству нужен пример для подражания – вот основа нашей страсти как создавать себе кумиров, так и оплевывать их. Пушкин называл наш народ народом младенческим, вовсе не имея в виду его возраст: немцы, итальянцы, греки, не говоря уж об американцах, стали нациями куда позже, нежели мы. Наш народ вернулся русским народом с поля Куликова, то есть более шести веков назад. И за шесть веков мы так и не повзрели, ибо постоянно, поколение за поколением опекались батюшками: батюшкой был Государь, барин, священник. Мы росли под патронажем этих «батюшек», работали на них, воевали за них и умирали, забытые ими. И мы привыкли к постоянной опеке, привыкли перекладывать свои заботы на их ответственность, привыкли просить их поддержки, помощи или хотя бы совета, и спасти нас от этого иждивенчества может только собственная интеллигенция. Она возродит в каждом из нас дремлющую личность, объяснит нам ее величайшую ценность и уникальность, причит смело опираться на собственные способности и силы, а не ожидать советов, одобрения или поддержки очередного «батюшки». И она придет, эта новая интеллигенция, она возьмет на себя тяжкий крест нравственного возрождения народа, избавив его от далеко небескорыстного патронажа «батюшек властных структур». Я твердо верю в это.

Надо знать корни свои, особенно если они хоть в какой-то степени сопричастны истории твоего государства. Однако история в России всегда была наукой дворянской, а ее скверное изложение в школах более отпугивало детей, нежели привлекало, и в конце концов мы получили народ, в массе своей не обладающий исторической памятью. Мы черпаем исторические знания чаще всего из кинематографа, куда реже – из посредственных исторических романов, не понимая ни закономерности собственной истории, ни тем паче ее логики.

Но вернемся к деду, чтобы перейти к истории моей матушки. Единственного человека, которого он любил.

Дед пил, не теряя здравого ума, много лет, а начал заговариваться во вполне трезвом виде. Дело в том, что по возвращении из нетей – это почему-то совпало с окончанием гражданской войны – бабка с самыми благими намерениями решила нанести визит мужу, с которым, правда, была разведена уже новой властью. И нанесла: Дарья Матвеевна рассказывала, что влетела она со щебетом и сияющей улыбкой, а дед встал, простер руку и выкинул свой кремень:

– Вон!..

Бабка ушла, а дед стал малость заговариваться. Но все проходило, когда он видел мою маму, потому что она была похожа на бабушку.

Повторюсь: к сожалению, только внешне. Бестолковое, по сути, сиротское детство – а детство всегда при всей его хрупкости остается фундаментом характера – не могло пройти даром. Матушка выросла истеричной, подозрительной, скорее мрачной, чем веселой. Все это с лихвой компенсировалось ее самоотверженной любовью к детям. Мама прожила свою жизнь только ради нас, во имя нас и для нас, исполнив до конца свой материнский долг. Поэтому мы с сестрой почти не ощущали ее тяжелого, надрывного характера – матушка обрушивала его на отца. И – стран-

ное дело! – отец тоже оказался святым. В иной, разумеется, форме. Ему не приходилось прощать, а только терпеть, но у святости разные жанры.

– Из колокольчика вырвали язычок, – со вздохом сказала мне тетя Тая, когда гостила у нас на даче, а отца уже не было в живых.

В восемнадцатом году маму арестовали как заложницу. Смоленскому ЧК было известно, что ее муж – царский офицер, но почему-то совершенно неизвестно, что он еще в семнадцатом перешел вместе с ротой в Красную Армию. А тут вскрыли какой-то очередной заговор и стали брать всех по спискам с общим ультиматумом: «Не сознаетесь – расстрел». Сознаваться было не в чем, и маму ночью повели расстреливать куда-то за башню Веселуха. Однако почему-то не расстреляли, а привезли назад, в тюрьму. На следующий день пришло сообщение об отце, маму отпустили, но еще в камере она подцепила бушевавшую в Смоленске оспу и угодила в больницу. Умирать второй раз.

Это было уже слишком, и мама сломалась. Стала мрачной, неразговорчивой, углубленной в собственные думы и совершенно разучилась улыбаться, а уж смеяться – тем более: кажется, я ни разу не слышал, чтобы мама смеялась в голос, от души. А в двадцатом у нее бурно стала развиваться чахотка (так тогда именовали особенно тяжелую и быстротечную форму туберкулеза). Форма была открытой, мама кашляла кровью, и дни ее были сочтены.

Маму и меня спас тихий совет участкового врача доктора Янсена:

– Рожайте, Эля. Роды – великое чудо.

Терять маме было уже нечего, и она – рискнула. И это действительно оказалось чудом: туберкулез начал рубцеваться, и, когда мне было лет двенадцать, меня и маму сняли с учета в тубдиспансере. Мама прожила 86 лет, напрочь забыв, что когда-то была смертельно больна, а я был лишен материнского молока с колыбели. Однако даже мое рождение не вернуло маме улыбку и не смягчило ее постоянно напряженный взгляд.

Я столь подробно рассказываю истории отца и матери по двум причинам. Одна ясна: дети – всегда зеркало своих родителей. Если родители не поленились и умело и тщательно отполировали это зеркало – они увидят в нем свой улучшенный вариант. Если же зеркало осталось кривым, мутным, покрытым вздутыми пузырями, оно отразит лишь пороки своих родителей в заведомо уродливой форме. Вопрос «Чей ты родом?» имеет прямое отношение к качеству человеческого материала. И это является второй причиной столь пространного пролога собственной жизни.

Я написал «пролог» и подумал, что история родителей – всегда ПРОЛОГ твоей жизни, а твоя жизнь – ЭПИЛОГ жизни твоих родителей. То, что заключено меж прологом и эпилогом, и есть собственная твоя жизнь, жанр которой чаще всего ты определяешь сам, опираясь на фундамент семейного воспитания. Она может оказаться драмой или трагедией, фарсом или опереттой, комедией или героической песней, эпическим сказанием или... Словом, ты и только ты – за редким исключением! – пишешь сам свою собственную жизнь ровно один раз и всегда – набело, а потому постарайся не ошибиться с жанром. Можно натворить массу ошибок; если жанр выбран правильно, ты извлечешь уроки из этих ошибок и более их не повторишь. Если же ты ошибся в жанре, все житейские ошибки начинают суммироваться, расти, как снежный ком, и в конце концов задушат тебя. Подобные ошибки жизнь никогда не прощает человеку.

Но вернемся к причинам, побудившим меня писать столь пространный пролог собственной жизни. Первая не требовала разъяснений, и я лишь напомнил о ней; вторая мне кажется гораздо серьезнее. Оговорюсь сразу: я никоим образом не претендую на научную форму своих суждений. Нет, я – писатель, и, что бы я ни утверждал, я утверждаю только как писатель. То есть от «Я», а не от «МЫ», не собираясь выдавать свои собственные соображения за абсолютную истину.

Моя юность прошла под зловещей тенью лысенковско-мичуринского учения о приоритете влияния внешней среды над всеми остальными влияниями. Генетика официально именовалась «буржуазной лженаукой», «менделизм» был ругательством, и с теми, кто публично не отрекался от генетики и ее пророков, поступали как с еретиками в средние века. Отвержение, с которым лысенковцы боролись против сторонников иных учений, поразительно по своей жестокости, массивности и последовательности: вероятно, в цивилизованные времена ни с одним научным течением не расправлялись столь беспощадно. Долгое время я не понимал причин этого ожесточения и, естественно, пытался как-то себе его объяснить, поскольку элементарная грызня за место под солнцем – то бишь Сталиным – меня устроить не могла: еще живы были если не русские интеллигенты, то их дети. И пришел к следующему выводу.

Учение Лысенко обречено было возникнуть. Оно закономерно, ибо его породила социальная революция, уничтожившая все сословия, а в особых условиях России (всего-то полвека назад крепостничество было законно, традиционно, привычно, а потому и нравственно) идея равенства не могла не породить попытки теоретического обоснования, что равенство это не просто юридически-экономическое, но и абсолютное. Сын крепостного холопа и сын столбового дворянина просто обязаны были быть хотя бы равными. А что утверждала генетика? А эта вредная наука как раз-то и утверждала, что генетической отбор заведомо делает людей неравными. Она предполагала лишь равенство почвы под посев, но ведь сама-то почва заведомо различна, и при одинаковом севе на черноземе вырастет иное, нежели на подзоле или на солончаках. Генетика научно узаконивала неравенство рождения, отдавая предпочтение родовым признакам, объективно утверждая, что дворянскому сыну легче стать ученым или политическим деятелем, чем сыну крестьянина. А лысенковская теория не просто уравнивала этих сыновей, но особо подчеркивала значение внешней среды, то есть теоретически отдавала предпочтение сыну трудового рода. Вот в этой внезапно прорвавшейся примитивно понятой классовости и был заключен смертный приговор не только науке, но и ее адептам. Генетика объявлялась ложным учением, а исповедующие ее – еретиками. Победивший класс не желал признавать за побежденными никаких положительных качеств даже в чисто теоретическом плане.

И – напрасно. Я говорю не столько о принесенных в жертву людях, сколько о нереализованных возможностях. Равенство конституционное не есть равенство возможностей, а есть равенство реализации этих возможностей. Каждое общество взращивает свои элитные группы, и не надо кричать по этому поводу. Надо просто как можно скорее выращивать свою элиту, поскольку элиты в конечном итоге и определяют культурный потенциал государства: количество населения никогда еще не переходило в качество этого населения.

Как-то старший сын Льва Николаевича Толстого Сергей Львович – в данном случае я опираюсь не на семейные воспоминания, а на записки самого Сергея Львовича – спросил своего батюшку, чем определяется культурный уровень («культурность», как тогда говорили) народа. Может быть, грамотностью населения? И Толстой твердо и недвусмысленно сказал, что нет, не грамотностью, а лишь образованностью и нравственным богатством высшего слоя населения. Культурная мощь нации – в ее Гималаях, а не в средне-статистическом абстрактном гражданине при всех его значках, дипломах и ученых званиях.

Революция и воследовавшая за нею гражданская война, а в особенности сталинские репрессии практически уничтожили культурную мощь России. Цивилизованные страны перестали воспринимать нас как свою составную культурную часть: такова, увы, данность сегодняшнего дня. Телевидение обнажило сущность этого явления: наша элита, как пра-

вило, с трудом выражает свои мысли, исключения лишь подтверждают правило. К сожалению, это с особой резкостью заметно, когда генералы пытаются объяснить свои действия. Их солдатское косноязычие пугающе безграмотно, запас слов минимален, почему они и прибегают чаще всего к уставным понятиям и терминам.

Резкое снижение культурного уровня офицерского корпуса России явилось результатом Великой Отечественной войны: даже жесточайшая сталинская чистка армии 1938 – 1939 годов заложила лишь основы этого падения. Огромные потери офицерского корпуса убитыми, ранеными и плененными в сорок первом году создали острейшую проблему нехватки офицерских кадров среднего звена. Ее вынужденно решили снижением образовательного ценза при поступлении в училища, куда стали принимать молодежь с семью классами образования при минимальных сроках обучения (четыре месяца в пехотных училищах, а на курсах младших лейтенантов – даже три). Из этих скороспелых лейтенантов вышло немало отважных и умелых командиров взводов и рот, но, увы, командиров малограмотных. Именно они победоносно закончили войну, однако к роли военных руководителей мирного времени оказались абсолютно неподготовленными.

Здесь следует учесть, что в своем подавляющем большинстве они оказались представителями иной культуры – не той, которая обычно представляла офицеров как для царской, так и для Красной армий. Сам курс обучения, во многом скопированный с юнкерских училищ, был рассчитан на более высокий образовательный ценз и совершенно иное воспитание. В войну некогда было смотреть ни на образование, ни на воспитание, но, когда она закончилась, выявились все, доселе скрытые пороки.

Наспех обученные офицеры военного времени признавали только приоритет физической силы, с откровенной неприязнью относились к интеллигенции и ругались, как уголовники, искренне полагая это проявлением сильного мужского характера. Кровью и отвагой заработав собственные ордена, они откровенно манкировали строевой службой, переставшая доверять сержантскому составу, то есть людям таким же, как и они, но лишенным даже зачатков какого бы то ни было образования, солдат в казармах и нехотя занимаясь ими только на плацу или на стрельбищах. Именно это и привело к возникновению «дедовщины» – явления, которое было абсолютно неизвестно ни в царской, ни в Красной армиях. Эта «дедовщина» проявляется и сегодня, поскольку приток как в офицерский, так и в сержантский составы по-прежнему идет из провинции.

А вот город устранился от военных училищ, хотя до войны лишь единицы из моих школьных товарищей не мечтали стать командирами Красной Армии. Это произошло не без помощи девичьих глаз, условно говоря. Именно девушки, их предпочтительный выбор определяют для юношей престижность тех или иных профессий. До войны в массе своей девушки бредили молодыми людьми в военной форме, однако после войны их отношение резко изменилось. Появилось увлечение геологами и журналистами, физиками и лириками, и армейские офицеры выпали из мечтаний девушек практически до наших дней.

К великому своему счастью я родился в те времена, когда русская интеллигенция ставила воспитание личности на первое место, полагая все остальное лишь обучением, чем-то вторичным, поскольку воспитание есть основа, некая шпулька, на которую можно наматывать нити образования и знаний. А коли нет этой шпульки, коли поленились родители или попросту не смогли ее вложить в ребенка, то и не будет многоцветия знаний, они станут рассыпаться и пугаться, мешая друг другу. Однако Советская власть весьма основательно разрушала семьи как в городе, так и на селе, не уставая при этом утверждать, что воспитание подрастающего

поколения в прочных руках государства. Боже, кого только нам не предлагали в роли воспитателей! Школу и пионерскую организацию, комсомол и великие стройки коммунизма, армию и рабочий коллектив... И так далее, список этот бесконечен, потому что он придуман в кабинетах. Воспитывает только семья и более никто, даже церковь не может претендовать на роль воспитателя. По той простой причине, что воспитание личности заканчивается в возрасте пяти-шести лет, после чего следует обучение. Иного пути воспитания просто не существует.

Я родился в год смерти Ленина, и меня воспитывали еще по старинке, как то было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я, безусловно, человек конца XIX столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неумению врать. Сочинять – святое дело, потому что в сочинительстве нет корысти, но лгать... В детстве мама объяснила, что у меня на лбу все написано, и я чуть ли не до седых волос испытывал непреодолимое желание прикрыть ладонью лоб, если мне случалось говорить неправду.

Советская власть претендовала не только на безраздельное правление страной и народами, ее населяющими, но и на исторический процесс складывания нации. Теоретически это было подготовлено работой Сталина «Марксизм и национальный вопрос». То, что история творила тысячелетиями, большевики, опираясь на предложенный рецепт, отважно решили создать в ближайшем будущем. И надо признаться, что во многом им это удалось, потому что строили они отнюдь не на пустом месте. И дело не в том, что они пустили в ход старый материал, – дело в том, что они беспощадно, до грунта расчистили площадку под будущее строительство. Как выяснилось, не столь уж важно, что свет пронзает тьму: куда важнее, что тьма поглощает свет. Расчет строился именно на этом свойстве вечной борьбы света и тьмы.

Одним из первых известных зарубежных писателей большевистскую Россию посетил знаменитый фантаст Герберт Уэллс. Свои впечатления он выразил в записках, названных им весьма многозначительно: «Россия во мгле». В СССР эта работа впервые была издана в 1958 году, через сорок лет после того, как была написана, из чего напрашивается вывод, что Уэллс зорко подметил российскую будущность, хотя вернее было бы назвать эту книгу «Россия во тьме».

Собирая материал для романа «Были и небыли», я несколько раз бывал в Болгарии. Меня интересовала не только военная кампания, но и само турецкое иго, и в особенности его приметы, годные для иных стран, переживших нечто аналогичное. Греция, Армения, Россия, если иметь в виду расхожее представление о татаро-монгольском нашествии. Болгары вняли моей просьбе, созвав что-то вроде семинара историков. И на этом семинаре выяснилось нечто, доселе мне неизвестное.

Историки единодушно сошлись во мнении об основных общих признаках любого ига. Вот его основные приметы:

геноцид против коренного населения;

поголовное уничтожение дворянства как касты военных вождей;

унижение основной религии, церквей, монастырей и священников.

В самом деле, ни Болгария, ни Греция, ни Армения не имеют сегодня родового дворянства. Христианские храмы в этих странах – естественно, те, которые строились во времена чужеземного ига, – заведомо ниже, нежели не только минареты, но даже мечети. Во всех трех странах вам приведут сотни примеров уничтоженных монастырей, церквей и священнослужителей. Но самое любопытное заключалось в том, что татаро-монгольское иго на Руси под эту классификацию никак не подпадает. Русских дворян татары не уничтожали, церкви и монастыри не трогали (исключение – стремительный набег Бату-хана, что произошло еще до установления «ига»). И мало того, что не трогали, а вообще не собирали с них

никаких налогов, что и позволило русской церкви наконец-таки избавиться от двоеверия. Из этого болгарские историки сделали вывод, что никакого ига на Руси не существовало, а была лишь вассальная зависимость от Золотой Орды. Русь платила дань, а за это татарские войска охраняли ее границы, что и дало возможность Российскому государству не воевать более ста лет.

Однако эти же самые признаки ига полностью сошлись на временах господства большевиков. Дворянство было практически уничтожено, храмы повсеместно закрывались, а то и попросту взрывались, священнослужителей отправляли в концлагеря, с религией всех конфессий (а в особенности с православием) власть боролась жестоко и неустанно. Из песни слова не выбросишь: что было, то было. А было самое что ни на есть натуральное иго со всеми его приметами. Единственный в истории пример покорения собственного народа.

Вот на политической и экономической базе абсолютного властвования партия большевиков и начала создавать нового человека под новые условия существования. С этой целью заодно с дворянством была уничтожена и русская интеллигенция недворянского происхождения. Для власти это решение было мудрым: своеобразие народа, его менталитет и нравственная общность определяются позицией интеллигенции. Уберите ее, и вы получите специалистов узкого профиля, скорее исполняющих роль интеллигенции, нежели являющих ее. Они полностью зависят от властей всех уровней и калибров, не только получая зарплату, квартиры и тому подобное, но и обеспеченное место работы: лаборатории и институты для ученых, школы для учителей, различные союзы для творческих работников. При этом все издательства, выставочные залы, организация концертной деятельности, заказы на архитектурные проекты и скульптурные композиции разного назначения – все, решительно все принадлежит государству. Естественно, что в этих условиях все работники интеллектуальной сферы становятся служащими самого государства, не имея никаких возможностей на самоорганизацию помимо чисто профессиональных союзов и обществ, взять которые под жесткий большевистский контроль не составляет труда. Что и было сделано в Советском Союзе.

Одновременно с этим большевики развернули многолетнюю последовательную атаку на старую русскую интеллигенцию. В каких грехах ее только не обвиняли! В фильмах моего детства и юности носителем двоедушия, трусости и потенциальной готовности к предательству неизменно самым образом оказывался жалкий интеллигент в очках. То же самое происходило в романах, повестях, пьесах, не говоря уже о многочисленных статьях, брошюрах и прочих видах псевдоисторических работ. Оголтая борьба с космополитизмом преследовала те же цели, а не только внедрение государственного антисемитизма в сознание народа: посмотрите списки деятелей культуры, подвергнутых остракизму в те времена. Большевики и после войны последовательно уничтожали уцелевшие ростки старой интеллигенции, добиваясь абсолютной замены ее последних представителей на послушных советских работников умственного труда, для чего и была спланирована и жестко проведена борьба с вейсманизмом-морганизмом, направленная уже на подрастающее поколение детей старой русской интеллигенции.

О том, насколько это удалось, судите сами по современным статьям, в которых по-прежнему обливается грязью интеллигенция, по выступлениям по телевидению, по воинствующей агрессивности Думы, в которой, к величайшему сожалению, интеллигентов можно перечесать по пальцам. Антиинтеллигентская истерия правит бал и сегодня, особенно – во втором поколении советских интеллигентов, которые не стесняются декларировать чисто советский лозунг о приоритете пользы перед нравственностью.

Янь

Отец умер 11 мая 1968 года в возрасте 76 лет. Я уже писал об этом, но не писал о том, что менее чем за год до своей кончины батюшка совершил традиционное путешествие в гости к старому другу. Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему за четыреста верст на личном транспорте – велосипеде с моторчиком. Большого он осилить не мог – да и не стремился, – хотя очень любил технику и имел водительские права еще с гражданской войны. И не просто имел, но и водил автомашины, и обучал «автоделу», как это тогда называлось, в те времена, когда Горьковский автомобильный завод существовал еще в проектах.

А вот личной машины у него не было. Никогда. Он довольствовался велосипедом, получал от этого невероятное удовлетворение, и в этом тоже сказывался его неординарный – и неоднозначный – характер.

Шестидесятые годы. В полном разгаре потрясавшая своими масштабами лакейская, потная, натужная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для тепла, а чтобы было «как у людей». Уже на владельца «Запорожца» смотрят с ироническим прищуром, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком. Уже пудами скупают книги отнюдь не для удовлетворения духовной потребности, а – «для стенки». Уже... Сами можете подставить свои примеры выхода сытого мещанина в дубленке и при личной машине на авансцену жизни, оттеснив усталых интеллигентов. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть», «купить», «продать», а если суммировать – «чтоб как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом – в книгах, которых никто никогда не раскрывает. Насколько же отец со своим велосипедом был свободнее этого мещанского стада, оставшись добровольным патрицием в среде добровольных рабов! И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому – «как все!».

Я рос на улицах Смоленска куда быстрее и интенсивнее, чем дома. Как только мы переехали с Покровской горы в центр, на Декабристов, дом 2 дробь 61, так покой дворов, садов, сараев и ничейных оврагов, в которых мирно паслись козы, сменился мощным двором, с трех сторон замкнутым трехэтажным зданием, а с четвертой – единой системой бесконечных сараев. А шелест листвы, кудахтанье кур и нервные вопли коз – грохотом ошинованных колес, стуком копыт, скрипом, криками, ржанием, отдаленными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом гористого Смоленска были в ту пору ломовики. Так именовались грузовые извозчики. Летом – на огромных платформах с обязательным ручным тормозом, зимой – на тех же платформах, поставленных на полозья, где роль тормоза выполнял железный лом, которым придерживали сани на спусках. Лошади, лошади, лошади – сквозь все мое детство прошли лошадиные морды и крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Тысячи лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: воробьев подкармливали лошади, щедро рассыпая овес из торб, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошастью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».

В те давно прошедшие времена любая домашняя животи́на была необходима человеку как помощник в нелегкой жизни. Животное, содер-

жавшееся для развлечения, умиления, а тем паче – престижа, было редчайшим исключением и оценивалось, в общем, неодобрительно. К людям с подобными причудами относились иронически, и по завышенным меркам тогдашней нравственности отношение это было справедливым. В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добрым, но и требовательным, как к себе самому. И не было того массового умиленного восторга перед, скажем, собакой, судьба которой резко ухудшилась несмотря на все внешние признаки благополучия. Ухудшилась потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

А машины были чрезвычайно редки. Мы знали их наперечет, тем более что на бортах они имели точные адреса: «Завод имени Калинина» или «Льнокомбинат». С началом шпиономании, беспрестанно подогреваемой властями, надписи на бортах исчезли, но мы все равно знали, что, скажем, к «Язу» Льнокомбината прицепиться можно (шофер остановит, если заорешь), а к «Форду» горперевозок лучше не подходить, потому что увезет черт-те куда невзирая на все твои крики.

Любопытно, что городские власти города Смоленска получили светофоры куда раньше, чем автомашины, и немедленно установили их на всех перекрестках. Светофоры были двух типов: с четырьмя циферблатами, причем каждый из двух секторов – красного и зеленого, разделенных желтыми просветами. По этим циферблатам безостановочно ползла стрелка, и движение регулировалось цветом сектора, в котором стрелка в данный момент находилась. Вторым типом был обычный трехцветный с ручным переключением, но их было куда меньше. Почти повсеместно висели стрелочные светофоры, и было очень солидно, когда стрелка бродила по красному сектору, а лошади терпеливо ждали, когда она переберется на зеленый, хотя на поперечной улице никого решительно не было. В этом желании во что бы то ни стало регулировать то, чего пока еще нет, уже заключалось нечто в высшей степени символическое.

А потом произошло событие невероятное. Где-то в начале тридцатых штаб Белорусского военного округа, который размещался в Смоленске (в нем тогда служил отец), начал получать машины отечественного производства: легковые ГАЗ-А и грузовые ГАЗ-АА. Штабное начальство тут же решило списать в утиль все автостарье. Однако, узнав об этом, отец предложил им не выбрасывать эти развалюхи, а отремонтировать и на их базе создать клуб любителей автодела. Отца кто-то поддержал и... и передал в его распоряжение три списанных машины и даже бывший каретный сарай для их хранения. Он находился напротив стадиона с памятником часовой в честь погибших во время Отечественной войны 1812 года и уцелел до сей поры.

Три машины: грузовой «Уайт», столь же древний «Бенц» (еще без Даймлера) и знаменитая русская легковая машина «Руссобалт» – все дореволюционных времен. Каждая машина отличалась не только маркой, формой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу, чем мог.

Правда, отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес. Он выпросил в штабе совершеннейший металллом, который красноармейцы на руках перекатили в каретный сарай, ставший отцовским гаражом. И можно представить, сколько сил, терпения и времени затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бро-

сал начатого дела, упорно веря, что все решается желанием да трудом. И ему всегда доставало труда и желания.

В нашем гараже не было ни окон, ни электричества – только настезь распахнутые двустворчатые ворота. Пол был цементным, слева от входа находился верстак, прямо – все три машины, а справа – ящик с песком и бочка с бензином. Автоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду на весь месяц, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели на воздух.

Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «Летучая мышь», отец лежал под машиной на войлочной кошке и регулировал сцепление капризного «Бенца». Это была тонкая работа, поэтому рядом на полу стояла керосиновая лампа. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая отцу требуемые инструменты. И тут погас фонарь.

– Спички на верстаке, – сказал отец. – Сможешь сам зажечь?

– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу.

Раздался хруст и звон, по кошке побежали огненные ручейки, а я почему-то заорал от восторга. И сквозь крик расслышал напряженный, но вполне спокойный отцовский голос:

– Открой ворота и беги. Открой ворота и беги.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, но зацепился гимнастеркой за рычаг. Пока я в дрожащем свете начинающегося пожара открывал тяжелые створки ворот, а отец, разодрав до горла гимнастерку, выкатился из-под машины, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант. Бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это еще не руки горели – горел бензин на руках, – но я и сейчас вижу бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец, он повалил бочку на бок, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и торопливо покатил бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за секунду до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя многие окна не досчитались стекол.

– Шляпа! – сказал отец, вернувшись в гараж и загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: все определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться...

В начале лета мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни. Но срабатывала привычка: пока был жив дед, ездили в Высокое, потом снимали дом где-либо за городом. И в начале мая отец отправлялся искать подходящее место для лета. Было три машины в его личном и бесконтрольном владении. А мы поехали в Вонлярово на велосипеде. И помню разговор накануне.

– Я не могу, Эля, не имею права. Это машины штаба, и использовать их без особой надобности я не хочу. До Вонлярова мы и на велосипеде доберемся.

– Я не пушу с тобой Бориса!

– А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на велосипеде. А сколько отцов не выдерживало – не выдерживает и еще будет не выдерживать искусства – и возили отпрысков на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на этот взгляд. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся – так уж распорядилась сама Природа. И еще раз поклон тебе, отец, за то прекрасное путешествие на велосипеде из Смоленска в Вонлярово при трех машинах в личном пользовании!..

И тогда мы тоже ехали на велосипеде вопреки такой естественной, такой логичной возможности, как личная машина. Вопреки бессмертному, как сам обыватель, представлению о престижности, лишь поколебленному революцией и вновь поднимавшему голову. Вопреки маминой боязни за меня. Наконец, вопреки элементарному удобству: отцу пришлось вертеть педали полсотни верст, да еще я сидел на раме.

В Воилярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не из стремления к оригинальности – он вообще был лишен его начисто. А вот стремление к расширению моего кругозора у него было всегда.

Кто не видел тропинок, бегущих по обе стороны железнодорожного полотна в полосе отчуждения! Они резво взбегают на откосы, спускаются в низины, перескакивают через ручьи, петляют, иногда исчезая, но непременно появляясь вновь. И, доведя вас до города, растворяются в нем, чтобы потом, когда вы снова тронетесь в путь, весело бежать рядом. Я и сейчас люблю на них смотреть и, изъездив много стран и километров, знаю, что они – русские: за рубежами их нет как неперемного атрибута железной дороги. Этакой крепенькой босоножки, что бежит рядом с городским могучим франтом, ловко отстукивая его такт смуглыми ножками...

И в Воилярово мы поехали по такой тропинке. Она была утоптана до бетонной твердости, но сохранила теплоту и стремительность топтавших ее ног. Я сидел на раме меж отцовских рук и держался за руль, а отец неспешно вертел педалями, и мы катили. По ровному и под гору, а вот в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают с детьми во всем мире, а со взрослыми – только в России. Но дело не в разговорах – в конце концов разговоры одинаковы для детства, – дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не по спидометру автомашины – измерив его собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под гору ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых у речки, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне сейчас кажется, что все те объяснения – что машина не его, что бензин не его, что... – были затеяны отцом с единственной целью: показать мне, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой.

Техническая элита Смоленска именовала отцовский автопарк «гробами». В подтверждение правильности этого определения приведу один из множества случаев.

История, которую выкинул с нами старина «Уайт», случилась солнечным январским днем. Отцу поручили перевезти какие-то ящики из штаба округа в казармы на Покровской горе. Груза было много, почему и пришлось взять «Уайт», чтобы обойтись одной ездкой. И мама меня отпустила, и машина завелась быстро, и мы покатали к штабу. Там красноармейцы загрузили кузов ящиками, и справа от отца – я сидел слева – сел сопровождающий, весьма располневший коротышка-командир. И мы тронулись, пробираясь к Большой Советской по обледенелым горбатым улочкам. Выбрались вполне благополучно и спокойно покатались вниз, к Днепру. Помню, что двигатель ревел немилосердно, и теперь понимаю, что отец им тормозил наш спуск, поскольку хорошо знал о грузоподъемности, гладких, как хромовое голенище.

И тут я почувствовал, как начала разгоняться машина, увидел, как судорожно вцепился в «баранку» отец, а мы все быстрее и быстрее неслись вниз на громоздкой, тяжело груженной машине. Тормоза работали, но, как только отец прикасался к ним, наш «англичанин» начинал вальсировать, и отец тотчас же давал ему полную свободу. На счастье, был выход-

ной, ломовики не работали, и по Большой Советской не тянулись бесконечные обозы.

Напротив Соборной горы, где кишмя кишел народ, начинался тихий переулоч, ведущий к Резницкой улице. На подлете к нему отец крикнул, чтобы мы крепче держались, и круто заложил руль налево, надеясь ворваться в пустынный переулоч. Так бы оно и вышло, если бы из переулоча навстречу нам не выкатились вдруг детские санки. Отец судорожно завертел рулем, нас занесло, закружило, санки скользнули мимо, а длинный кузов машины со всего маху врезался в деревянную лестницу, пристроенную к дому и ведущую на второй этаж. Раздался грохот, кузов стал быстро наполняться рухнувшими столбами и досками, меня треснуло по спине чем-то увесистым, а слетевшее с верхней площадки мусорное ведро, перевернувшись в воздухе, ловко село на голову нашего сопровождающего, по плечи накрыв его вкупе с буденновкой. Ревел мотор, с грохотом рушилась лестница, орали лишившиеся ее жильцы второго этажа, а перепуганный сопровождающий вертел во все стороны ведром, продолжая двумя руками изо всех сил держаться за рамку ветрового стекла...

С того дня прошло более шести десятков лет, а я и до сего дня отчетливо вижу эту чаплинскую сцену. А когда смотрю фильм «Александр Невский», не могу удержаться от смеха при виде его псов-рыцарей. Уж очень они напоминают мне спуск на нашем «англичанине», удар в лестницу и ведро на голове у добродушного сопровождающего...

Хочется рассказать и еще одну историю. Не столько об авариях, сколько о людях тех тяжелейших времен России. Времен страха, мора, глада и отчаянной борьбы за жизнь.

В суровую зиму начала двадцатых, когда я еще не родился, но уже существовал, отца во главе летучего отряда бросили на уничтожение крупной банды, терроризировавшей Рославльский уезд. Он гонялся за бандитами по немерянным, заснеженным, окончательно одичавшим за девять лет непрерывной войны смоленским лесам, а мама мерзла в насквозь продуваемом домишке, потому что сожгла все заборы и вообще все, что могло согреть. Однако ни мама, ни бабушка никому об этом не говорили не только потому, что жаловаться неприлично, но и потому, что все вокруг терпели те же беды. И терпеливо ждали отцовского возвращения, когда в один прекрасный день два заиндевелых битюга подвезли двое саней, ломившихся от мерзлых бревен. И два ломовика, два закадычных друга Кузьма Мойшес и Тойво Лахонен по собственной инициативе и совершенно бесплатно согрели нас всех. Маму, бабушку, Галию, отсутствующего отца и меня, еще не родившегося, на всю жизнь разом.

Мама рассказала об этом подарке отцу, как только он переступил порог. Отец, не сняв шинели, взял две пачки чая – единственный подарок, который он привез семье из всех своих перестрелок и атак, – и пошел к тете Двойре, матери веселого и отчаянного забуддыги Кузьки. С той поры, встречаясь с отцом, Кузьма улыбался и подмигивал:

– Как чай, дрова, Лева. Как чай!

Сейчас эта фраза вряд ли понятна, но во времена, когда к стоимости вещей добавляется теплота дружеского участия, дрова могут оказаться, как чай, а чай – как дрова. Как же это далеко от холодного торгашеского расчета с прищуром: ты – мне, я – тебе! Будто все происходило на другой планете...

А может быть, и впрямь – на другой?.. Уже канувшей в Лету...

– Как чай, дрова.

Через десять лет отец получил возможность сделать то же. Не расплатиться, не вернуть долг, даже не повториться – обрадовать. Он хотел обрадовать, но на дворе мела метель, и мама никак не желала меня отпускать. Если бы мы везли обыкновенные дрова, отец бы и сам не взял меня, но мы везли РАДОСТЬ, и он настоял на своем. И мы уже в сумерках выехали на кургузом «Бенце», который благополучно спустил нас по Боль-

шой Советской, пересек Днепр, протарахтел мимо вокзалов и, кряхтя, стал подниматься на Покровскую гору.

Чуть-чуть топографии. Дом, где жили Мойшесы, стоял тылом к нашему прежнему дому. Для того, чтобы въехать к ним во двор, надо было взобраться на крутую, кривую и обледенелую Покровку, свернуть направо и по совсем уж лихо закрученному переулку спуститься до их ворот. Мы вползли на гору, завернули направо и стали осторожно спускаться, когда наш грузовичок вдруг вздрогнул и покатился сам собой. Как коляска, то есть свободно, легко и все быстрее и быстрее.

Тут уж никаких возможностей остановить самоуправство машины просто не существовало. Лопнула цепная передача, а так как тормоза стояли на карданном валу, то колеса вертелись, как хотели. Проезд был кривым, крутым, темным и заснеженным, пытаться попасть во двор тети Двойры нечего было и мечтать. Оставалось одно: вывернуть на ровное место, остановиться, надеть цепь и только тогда продолжать путь. Поэтому отец повернул в первый же переулок. Мы влетели в чей-то двор, с разбега выломали ворота и оказались на Покровской горе. А сверху как на грех спускался обоз, и отец круто заложил вниз.

– Крути, Борис!

Крутить надлежало сирену, и я крутил. Улица была узкой, навстречу ползли обозы, мы кого-то обгоняли, чудом объезжая перепуганных людей и лошадей. Выла сирена, меня мотало на сиденье, и отец то и дело ловил меня за воротник. Не понимаю, как мы ни в кого не врезались, никого не зацепили и никого не задавили: отец обладал завидным мастерством и завидным самообладанием. Мы пролетели всю Покровку, выкатились на площадь перед железнодорожным переездом, а... А переезд оказался закрытым: шел поезд. И отец круто заложил руль на полной скорости.

И я ощутил, что лечу. С сиреной в руках, которую я успел крутануть и во время полета, пока не уткнулся головой в сугроб.

Я перечитал этот кусок и понял, что надо ставить точку. Ведь я писал его не затем, чтобы рассказать, каким счастливым мальчишкой я рос, имея возможность кататься аж на трех автомашинах. Я писал его для того лишь, чтобы вы увидели сухонького старика в белой полотняной фуражке, который едет в гости к фронтovому другу за четыреста верст на велосипеде. Это – мой отец, который выбрал однажды узкую тропинку от точки отсчета до цели. Вот ею я и стараюсь идти всю свою жизнь, а поезда и автомобили пусть себе катят по своим дорогам...

Кроме родителей, у любого человека есть МЕСТО рождения. Та точка на Земле, где он впервые набрал в грудь воздуха и закричал. И в честь этого первого крика во всем мире интересуются, где именно он прозвучал. И об этом невозможно не вспомнить. Непозволительно не вспомнить. А потому –

Где?

Мне сказочно повезло: я издал свой первый вопль и увидел свой первый свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, и древнее его. Повезло потому, что Смоленск моего детства к моменту моего первого крика еще оставался городом-ПЛОТОМ, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот, плывущий по течению времени, история с географией. Географически город Смоленск («Мелениски» византийцев) – в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей – расположен на Днепре. То есть на вечной границе между Ру-

сию и Литвой, между Московским Великим княжеством и Ржечьё Посполитой, между Востоком и Западом, между Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла когда-то пресловутая «черта оседлости», о существовании которой вряд ли помнят наши внуки. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены и стойкость его защитников, а брызги оседали в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнообразное и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой для всех формуле ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние хозяева превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь оседали искатели истины, так и не сумевшие преодолеть черту оседлости, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное Детство.

А ведь Детство человеческое не имеет национальности, никогда не задумывались над этим? Эта категория самосознания появилась тогда, когда человек стал взрослым, навсегда утратив детскую чистоту и детскую непосредственность. И я завидую Детству. Самому естественному и самому независимому из всех человеческих возрастов.

И здесь очень важно, где именно ты увидел свет и вдохнул первый глоток воздуха. И можно только себе представить, каким бы стал я, если бы родился не в древнейшем городе России, а где-либо, скажем... в Магнитогорске. Городе без прошлого. Без истории, без крепости, без традиций, без Лопатинского сада, без бронзовых пушек на стадионе, без трех отцовских автомобилей, без спасенных и спасающихся. В городе, который никак не смог бы стать ПЛОТОМ, на котором плывут сквозь время России ее души. На котором спасаются от мора, голода и пожара, не думая о том, чьи деяния принесли это вселенское горе, не испытывая ни злобы, ни ненависти, а испытывая ужас пред завтрашним днем.

Смоленск спасал всегда. До сей поры помню табличку на остатках крепости в Лопатинском саду: я непременно читал ее всякий раз, когда бывал в нем, и всякий раз испытывал невероятный прилив гордости:

«СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД».

С той поры она выдержала уже семь. Семь, потому что не сдалась гитлеровцам в сорок первом и сумела выстоять растянутую на десятилетия осаду большевиков. То, что сегодня их последователи правят бал в моем родном городе, – явление временное, поскольку само их время уже давно прошло...

Я вырос рядом с крепостью: до нее было всего-то два квартала. Я поползал и излазил ее всю, вдоль и поперек, я знаю о ней то, чего не знают даже дотошные краеведы, потому что ребенок куда глазастее и зорче любого взрослого специалиста. Ему практически неведом страх, он гибок и ловок и может пролезть в любую дыру, порою даже не зная, а куда, собственно, она ведет. Для него не существует искусственных запретов взрослых, его не остановишь ни надписью «Вход воспрещен», ни забором с колючей проволокой. Его ведет безгрешная любознательность – та страстная внутренняя потребность узнать мир, которая и привела человечество к вершинам знаний.

В надвратной башне Никольских ворот, над которыми со времен Отечественной войны 1812 года лежало французское пушечное ядро,

хранились какие-то документы, сваленные в кучу, насыпом. Вход в башню был забит досками и опутан колючей проволокой, но нас это не смущало. Мы выломали доску, отогнули колючку и получили доступ к этому архиву, обреченному на истление. Я взял с собою какую-то тощую папку и показал отцу.

– Документы Городской управы, – сказал он, просмотрев. – Где ты их взял?

Я рассказал о Никольской башне. Он велел положить папку на место, опутать вход колючей проволокой и больше туда не залезать. Попутно он объяснил мне самое главное: что такое архивы и почему их надо хранить. И я – понял.

А левее Никольских ворот стояла башня без перекрытий, но мы обнаружили в ее стенах лазы, которые соединяли капониры друг с другом. И пробирались по ним, не боясь застрять. Впрочем, как-то раз меня вытаскивали за ноги, поскольку лаз оказался заваленным, а развернуться в нем я не имел никакой возможности.

Однажды я сорвался с высоченной крепостной стены в Лопатинском саду. Обычно мы поднимались по полуразрушенной внутренней стене, хватаясь за уцелевшие кирпичи и опираясь на них. И я уже добрался до верха, когда подо мною вдруг обрушился опорный кирпич и я, естественно, полетел вниз. К счастью, я упал в ров, в который каждую осень сваливали листья, подметая аллеи сада, а потому только растянул ногу. Друзья помогли мне добраться до дома, а уж там бабушка распарила ступню и наложила тугую повязку.

Я много рассказывал о бабушке в автобиографической повести «Летят мои кони», поэтому опушу (пока!) рассказы о ней. Она была моим главным воспитателем, четко и мягко обозначив границы Добра и Зла и при всей своей весьма легкомысленной натуре никогда мне не потворствовала, если находила, что я приблизился к границе того, что она считала НЕ ДОБРОМ. Не злом – об этом и говорить нечего! – а не добром. Всего лишь НЕ ДОБРОМ.

Это понятие НЕ ДОБРА ныне прочно утрачено, поскольку само государство оказалось недобрым по отношению к собственному народу, и народ вынужден был принять его правила в быту. Не по собственному желанию и уж совсем не по своей воле он перешел этот неуловимый рубеж, вплотную соприкасавшийся со злом, а потому частенько переходил и его, постепенно утрачивая ощущение допустимого. Именно в этом заключалась форма его растления, так как официально государство вроде бы продолжало бороться со злом. Однако бороться во имя государства, а не людей, его населяющих.

Я отвлекаюсь, но ведь я и не стремлюсь излагать собственную биографию. Я вспоминаю о ней в клубке иных мыслей и рассуждений, и в этом нет никакого греха. Я хочу записать собственные размышления по поводу прожитой жизни. Прежде всего – размышления.

К семидесятилетию мой родной город удостоил меня званием Почетного гражданина. Мечтал ли я когда-либо, что стану им? О многом я мечтал, но об этом – нет. И тем выше, тем бесценнее для меня эта неожиданная награда.

Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты – колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор и самого моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не смогла вынести ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. Ты растворился в новых улицах, прямых и безадресных, ибо если Большая Дворянская ведет в прошлое, то Большая Советская оказалась тупиком. Ты расплескался по районам, одинаковым для Пензы и Ангарска, ты погребен под грудой стандартных жилищ, скороспелых, как опята. На месте Молоховских ворот, где в Отечественную войну 1812 года шли ожесточенные бои, теперь стоит парк культуры и отдыха.

сточенные бои, всесильное НКВД выстроило два жилых корпуса для семей своих опричников, больше всего преуспевших в лесах Катюни. И даже твоя знаменитая Варяжская улица – твоя благородная седина, знак твоей древности – усилиями очередного временщика переименована в улицу Краснофлотцев, а в десятке шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли смоляне во главе с воеводой Михаилом Шеиным, построен танцевальный зал. Хорошо, что мертвые не слышат.

А если слышат?!

Переименовать Варяжскую улицу в улицу Краснофлотцев – поступок того же порядка, как сжечь семейную икону, которой твоя бабка благословила твою матушку. Да и переименовать-то только потому, что приказано более не верить. Между атеистом и безбожником та же разница, какая существует между хирургом, отсекающим гангренозную ногу, и хулиганом, сбившим с ног старика. Атеизм ничего не разрушает – разрушает безверие. Безверие – исполнение распоряжения свыше, а не твои личные убеждения. Коли приказано не верить в Бога – взрывают Храм и строят на его месте бассейн: в здоровом теле – здоровый дух. Только откуда же взяться духу, если храмов более нету?..

В Смоленске моего детства был Храм. Двери его были распахнуты во все стороны света, и никто не стремился узнать имя твоего Бога и адрес твоего исповедника. И никто не спрашивал, какой ты национальности и кто твои родители. Имя этого Храма – Добро. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра – детство или Смоленск.

– Эй, ребятишки, отнесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, играющим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть кем угодно – русским или эстонцем, евреем или татаринном, цыганом или греком – а старушка тем более: это было нормой жизни, и я не помню, чтобы кто-либо из заигравшихся детей не выполнил подобного распоряжения. Повторяю: помощь была НОРМОЙ, ибо жизнь была неласкова к людям, и выжить можно было, только ощущая плечо соседа. Конечно, помощь – простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе: четыре комнаты и кухня. А через овраг на холме рос огромный дуб: сегодня такое дерево непременно снабдили бы охранной табличкой, но дуб не дожил до наших дней. Это с него упал Метек Ковальский; это с него меня снимал дядя Сергей Максимович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Мона Мойшес, младший сын тети Двойры, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для всеобщего обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры. Не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци, старый славянский дуб?..

– Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Сергею Максимовичу соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку и попроси у бабушки Ханы стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе. Стараясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама поупутно, походя, без громких слов и пустопорожных цитат прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, а тетя Фатима одаривала нас сушеными грушами; дядя Антал разрешал мне торчать у него в кузнице, где легко ворочали молотами двое цыган: Коля и Саша; тетя Двойра поила меня козьим молоком, дядя Сергей Максимович учил вырезать свистки из ракиты, а еще были... Были, были...

Боже мой, в моем Смоленске обитала вся Россия!..

В семь лет я расстался с дубом: мы переехали с Покровской горы в центр города на бывшую Никольскую, переименованную в улицу Декабристов. А вернулся к нему неожиданно – через год: пришел на экскурсию. Первую экскурсию в свой жизни.

Есть слова и понятия, которые маленький человек воспринимает, как Моисей воспринимал заповеди на Синайской горе. Это связано с Первой учительницей, если ей, этой Первой, удалось раздвинуть горизонт и показать, что там, за его видимой чертой, лежат неведомые земли. В этом и заключается великое открытие детства: увидеть невидимое и непривычное за видимым и обычным.

Мою Первую учительницу звали... К стыду своему я не помню имени, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались свежие воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень, очень старой, из прошлого века. Правда, каким-то образом мы узнали, что на гражданской у нее погиб жених, но мы еще не умели считать года.

В один из солнечных сентябрьских выходных... Не воскресений, а общевыходных, что в те времена было совсем не одно и то же. В стране шла яростная борьба с религией, сильно смахивающая на «охоту за ведьмами». Под флагом этой борьбы с Богом, этого красноезвездного похода против традиционной веры, скрывалась элементарная страсть варваров сокрушать культуру побежденных. Ну к этому мы еще вернемся, а суть в том, что и в календаре усмотрели нечто церковное, а посему вместо привычных недель ввели «пятидневки», и все числа каждого месяца, делимые на пять, считались выходными. Потом сообразили, что выходных многовато, и пятидневки заменили шестидневками, объявив выходными те числа, которые делились на шесть. Однако и эта мера не приумножила выхода конечного продукта, в результате чего все вернулось на круги своя и выходным опять оказалось воскресенье. Отступление это дает картину полного сумбура, царившего в правительственных головах.

Так вот, в один из общевыходных учительница велела нам собраться у школы. Не всем, а тем лишь, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел и явился одним из первых. Учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским «часам», под которыми назначалось большинство свиданий и откуда шло измерение на всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый, чрезвычайно звонкий смоленский трамвай, цена за проезд в котором была несуразно дорога: 25 копеек из конца в конец – от Молоховских ворот до вокзалов. И мы покатали вниз, к Днепру, по Большой Советской. Грохочущий трамвай миновал Соборную гору, где шла ожесточенная борьба с верой, церковью и прихожанами купно и в розницу, выбрался через Пролом из старого Смоленска, пересек мост и остановился у вокзалов, где мы и сошли. И под предводительством Первой учительницы переулками, задами, садами и дворами вышли к... дубу.

– Это самый древний житель нашего города, – сказала она.

Может быть, она сказала не теми словами, но суть я запомнил навсегда. А суть заключалась в том, что этот дуб – остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездове, неподалеку от Смоленска, где и до сей поры сохранились их гигантские могильные курганы. И что вполне возможно, что Смоленска в те времена еще не было, что появился он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной дубраве иплыли дальше, «из варяг в греки». И постепенно вырос город, в названии которого сохранился как труд его древних жителей, так и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-Богу, я и до сего дня помню грубую теплоту его многовековой брони: теплоту пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тот

да я впервые прикоснулся к Прошлому, ощутил это Прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с горечью думаю, что было бы со мной, если бы я не встретился со своей Первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать из них граждан Отечества своего. Низко кланяюсь светлой памяти вашей, учительница Первая моя!

История разлита во времени и пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно, и не обладая ими. Есть счастливые города и страны, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие историю. Камни Смоленской крепости, кривые Варяжские улочки древнего города, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и сам воздух Смоленска питали меня Историей, и я чувствовал ее и любил ее, еще не зная, что это – наука, а не только богиня.

В Лопатинском саду сохранились остатки темницы, где томился Кочубей со своим верным Искрой. Я касался решеток, за которые держался он, ожидая решения своей судьбы.

Любимый смолянами сквер, ныне прозаически названный именем Глинки, в моем детстве хранил древнее название: Блонье. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы осаждающих и где прятались дети и женщины во время осад.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар зарезал муромско-го князя Глеба, брата Бориса. Оба они стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.

Огромная смоленская крепость, в моем детстве почти замыкавшая старый город, была постоянным местом игр и источником легенд. О кладах, о подземных ходах, о прикованных скелётах. Само место располагало к сочинительству, но ведь детское сочинительство – первая ступенька взрослого творчества.

Безликость современного города, удобного лишь для спешащих на работу взрослых, для транспорта, ремонта да надзора, тяжело ударила по неповторимости детства: все стали «родом из Черемушек». Что будут вспоминать выросшие в казарменно распланированных микро- и макрорайонах дети? Какая разница между 8-й улицей Строителей и 5-й улицей Созидателей? Стандартизация детства неминуемо приводит к стандартизации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала быть русской национальной болезнью?

Место рождения играет совершенно особую роль во всей последующей жизни человека. Чаще всего она не осознается, эта уже сыгранная роль, но маленький человек должен получить свою пещеру и свою Бекки Тэчер, свой клад и своего индейца Джо, иначе детство его будет заведомо ограбленным. Образы детства всю жизнь живут в человеке, и – кто знает? – не они ли последними заглядывают в его тускнеющие глаза?..

Пойте гимны земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жизни.

Когда?

Время пульсирует в истории, имея свои приливы и отливы. В приливы время само подталкивает человека, и здесь все зависит от того, чем человека снабдили в детстве: воздушными пузырями идеалов или чугунными веригами материальной озабоченности. При отливе человеку суждено преодолевать инерцию времени, и, как ни странно, гири материальных приоритетов здесь способны помочь больше идеалистических

пузырей, так как с ними легче устоять на ногах. Если посмотреть на родную историю с этих позиций, то можно обнаружить, что во времена духовных подъемов (приливов времени) поставленных целей легче добиваются идеалисты, а в периоды духовных провалов (отливов) вперед густо выходят прагматики. Конечно, ребенку неведомо, в какой период он появился на свет, но на то ему и родители, чтобы верно оценить его возможности и воспитать свое чадо либо в любви к воздушным замкам, либо в умении просчитать ходы и сосчитать доходы.

Каждый человек носит в себе три ипостаси времени: прошлое – родители, настоящее – он сам, будущее – его дети. Он существует в трех временных пространствах, как правило, не замечая этого. Осмысленность подобному существованию дает только культура, если не понимать под этим укоренившегося представления, будто культура есть сфера развлечения. Подобное представление характеризует всего лишь уровень потребления культуры, но никак не ее самою. А фундамент культуры – семья. Не театр, не библиотека, не университет – только семья. Каким она его создала, таким он и проживет свою жизнь, наматывая образование, опыт, систему общения, искусство и религию на уже откованный в раннем детстве стерженек. Шпульку, на которую наматываются разноцветные обрывки пряжи, называемой его личной жизнью.

Для того, чтобы уничтожить культуру, проще всего уничтожить семью. Так и поступали всю историю варвары, борясь с культурой стран, которые они завоевывали. К примеру, болгарских мальчиков из дворянских семей турки отправляли в янычары, а девочек – в гаремы. Именно благодаря этой системе турецкое иго и сумело просуществовать в Болгарии свыше трех веков. Разрушение семей высшего слоя культуры данного народа позволяет завоевателям чувствовать себя комфортно, вольготно и спокойно.

Я родился в самом начале этого процесса, когда большевики уже начали опробовать систему долговременной борьбы с более высокой культурой народов, населяющих Россию. Стихийная ярость перевозбужденных масс, наконец-то дорвавшихся до безнаказанного террора и грабежа, стала неспешно, но весьма твердо укладываться в порядок, которым центральная власть могла бы спокойно манипулировать, а уж тем более – контролировать его и направлять. Стихию требовалось загнать в русло, однако естественного русла уже не существовало, и вырыли прямолинейную канаву, столь же полезную обществу, сколь полезным оказался Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Если не принимать в расчет того, для чего роют все канавы, – для канализации отходов. Что понимала под отходами Советская власть, объяснять не требуется.

Конечно, человек бессилен в выборе времени своего появления на свет. Однако обречен находить свое место во времени, которого не выбирал. В этом какая-то высшая несправедливость, но в этой несправедливости есть логика, а потому человек воспринимает ее, не бунтуя. Он никогда, насколько мне известно, не расстраивается по поводу даты своего рождения, зато весьма часто бывает недоволен местом, где ему довелось родиться. Например, Александр Сергеевич записал в сердцах: «Сдогадал меня черт родиться в России с душою и талантом!...».

Захватившие власть большевики, правящая верхушка которых готовила переворот за фронтами воюющей России, интуитивно чувствовали правоту Пушкина. Выезд за границы захваченного ими пространства был категорически воспрещен. Народу? Нет, они отрицали само это понятие, как отрицали его все правоверные марксисты. Населению?.. Точнее было бы сказать «населению географии», поскольку само понятие «население» представляет собой некое единство, некую общность, что ли. И все силы и средства вкладывали в то, чтобы разрушить, уничтожить это внутреннее единство, заменив географию идеологией, имеющей строгие берега, но не обладающей территорией как таковой.

Эта задача облегчалась самим населением, растерявшим ориентиры как общественной морали, так и личной нравственности в безумной и бессмысленной гражданской войне. Цена человеческой жизни была дешевле патрона, а человеческое достоинство и честное слово вообще не котировались на рынке озверелой борьбы за власть в огромной, голодной, раздетой и разнутой стране, продуваемой всеми ветрами со всех сторон. Ружейными ветрами гасили не только свечи в канделябрах, но и лучины в полуразваленных избах, и братские могилы затмили собою кладбища. Людей расстреливали из наганов и винтовок, пулеметов и пушек, травили газами и морили голодом. После расстрела царской семьи Россия надолго заболела гемофилией.

Теперь-то, когда, казалось бы, шоры сняты, кабинетная идеология вполне предсказуемо стала крестьянской, а ничего, кроме идеологии, от самого-то крестьянства не осталось, можно понять, что такое вообще гражданская война.

Гражданская война всегда есть столкновение двух культур. В странах, в которых давно господствует одна культура во всех сферах жизни, никаких гражданских войн не бывало уже триста лет. России не повезло. Освободив крестьян от тысячелетнего рабства в 1861 году, она так и не успела создать единого культурного пространства за считанные 56 лет (всего-то полтора поколения!) собственной свободы. Это и позволило кучке деклассированных фанатиков в 1917-м захватить власть.

Так затонул русский «Титаник», который Русь строила тысячу лет. Нет, он не наткнулся на айсберг – его потопила команда, расстрелявшая капитанских мостик и растерзавшая офицеров. Советская власть из обломков погубленного государственного корабля соорудила некое подобие его по немецким чертежам, но и второй «Титаник» пошел ко дну от перегрева котлов и общего обнищания экипажа. Это произошло без стрельбы, карательных экспедиций, виселиц и даже обычных шемякинских судов. Не потому, что новое поколение пело новые песни, а потому, что оно пело песни иные. А когда пассажиры, уцепившиеся за обломки бывшего «Титаника №2» поют в иных ритмах, нежели бывшие обитатели капитанского мостика, ни о каком строительстве нового плавсредства не может быть и речи. Каждый спасается в одиночку, а это признак времен смутных и непредсказуемых.

Признак для народа, утратившего основу собственной культуры. Такой основой, таким фундаментом, на котором народ веками возводит храмы национальной культуры, является история. Российская империя прекрасно понимала значение собственной истории, не жалея ни средств, ни сил для ее широкого распространения среди образованной части населения. Она преподавалась не только в гимназиях, но и в реальных училищах, в городских школах и на всех факультетах многочисленных университетов. Именно тогда возникали школы виднейших русских историков, не утратившие своего значения и в наши дни.

Узурпировавшие власть большевики в силу усредненной образованности их первого руководящего состава полностью отдавали себе отчет в особом значении истории для России. Для начала они решили вообще ее не преподавать в школах, заменив изучение истории неким расплывчатым обществоведением. Только незадолго до войны появился школьный учебник Панкратовой, одобренный властью. Это был поверхностный пересказ русской истории, основанный на мифологизированной борьбе классов. Если при этом учесть, что подавляющее большинство населения было крестьянским как по трудовому признаку, так и по психологии, то большевики сыграли беспронижительно, получив через поколение молодежь, в большинстве своем и не подозревающую, что у народа, оказывается, есть прошлое – его биография.

А после войны, когда стали исчезать последние представители русской интеллигенции, история превратилась в ряд расхожих мифов, ос-

нованных большей частью на бульварных романах. В качестве примера достаточно привести громоздкий, несуразно большой для центра города памятник актеру Симонову, сыгравшему Петра Первого в фильме В. Петрова, водруженный на испанскую каравеллу. А ведь Москва никогда не ставила Петру никаких памятников, несмотря на то, что он здесь родился, был крещен, венчан и коронован на царство. Девять тысяч московских стрельцов, зарезанных на Красной площади по личному приказу Петра, не позволяли московским властям кощунствовать. Они знали историю своего города.

Если подытожить прожитое мною время, то можно утверждать, что я родился в среде провинциальной интеллигенции, большую часть жизни просуществовал при советской интеллигенции (то есть интеллигенции вне национальности, а стало быть, и вне какой бы то ни было национальной культуры), а помирать мне, видимо, придется при полном торжестве российского обывателя. Тому доказательством тоска, которую я испытываю, слушая речи наших депутатов, доклады наших генералов, комментарии ведущих почти всех телевизионных программ и густой заряд обывательщины в самом простом, старорусском смысле этого слова, который извергается с экранов ТВ ежевечерне.

Время моей жизни, спроецированное на прожитую жизнь, представляет картину весьма странную. По этой картине получается, что время мое шло как бы назад, из общества демократического в общество средневекового абсолюта.

И это составляет основной фон моих размышлений. Комментариев к прожитой жизни, поскольку комментарии возникают только на базе размышлений.

Время как социальная функция на моих глазах откатилось назад.

Время – назад!

Количество времени естественно переходит в качество, и тогда время мы именуем Временами. Времена первобытные, рабовладельческие, феодальные. Я долго не мог понять, как могли наши «вожди» (пользуясь официальной терминологией довоенного времени), биографии которых мы учили в школах и знали, что все они родом из России, как могли они разрушить собственный дом, начав это разрушение с фундамента. Здесь не могла помочь никакая, даже немецкая кабинетная философия. То, что большевики сотворили с одной из богатейших стран Европы, невозможно объяснить, придерживаясь рамок современности.

Я нашел этому объяснение, когда собирал материал о нашествии татаро-монголов. С этой целью я объездил страны, которые на собственном горьком опыте знали, что такое иноземное иго. Я посетил Армению, Грецию и Болгарию. Я увидел много общего в этих странах, но самое главное узнал на симпозиуме, посвященном проблемам турецкого ига, который собрали по моей просьбе. Я уже писал об этом в начале повествования, а посему повторю лишь вывод: **РОССИЕЙ ВОСЕМЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПРАВИЛИ ОККУПАНТЫ.**

В разгар террора я был еще мальчишкой, ночные аресты и выселения моей семьи вплотную не коснулись, нас еще прижигали где-то рядом с сердцем. Дядек и теток, двоюродных братьев и сестер. А детское сердце способно болеть только от своей боли. Это – спасительная реакция, нам же кажется, что дети немисливо жестокие существа.

По рассказам старших, кинофильмам, книгам, статьям, а главное, по редким передачам на телевидении вы знаете о том, что было время террора. Было время, был террор, были палачи, жертвы и – толпа. Та же самая, которая подкладывала дровишки в костер Жанны д'Арк: психология толп не меняется во времени. В отличие от детской самозащитной

жестокости она лишена способности взрослеть, постепенно из наивной простоты превращаясь в тупую дремучесть.

Я – видел, а в детстве видеть и наблюдать – глаголы одинаковые, и то, что кропотливо записывает наблюдатель, куда более кропотливо и старательно записывает ничем не замутненная память ребенка. И я не буду рассказывать того, чего я не видел, – я расскажу то, что на всю жизнь записала моя память.

– Борька, возле костела могилы разрывают!..

И я помчался: все дети безгрешно любознательны. Территория смоленского костела охранялась милицией, но на мальчишек никто особого внимания не обращал. Мы спрятались за кладбищенскими памятниками совсем близко от разрываемой могилы, и нам слышны были не только ударты заступов, но и голоса самих гробокопателей.

- Глянь, зуб золотой. И перстень.

И летели наверх челюсти и кисти, а наверху костоломы клещами вырывали золотые зубы и ломали полусгнившие кости. Снимали перстни и кольца, нательные крестики и медальоны, которые вручали ответработнику в кожаной куртке.

Когда разрушали Даниловский собор в Москве, отважные чекисты нашли железный перстенок. По счастью – железный, а потому и не представляющей ценности с чекистской точки зрения. И историкам удалось убедить передать этот перстень им. Это был перстень Веневетинова, который ему когда-то подарили, найдя при раскопках Помпеи. Но, повторюсь, к счастью, это ведомство Страха ничего не знало ни о Помпее, ни тем более о Веневетинове.

А в Воронеже Чугуновское кладбище разрывали подряд, не щадя даже окраинных, заведомо бедных могил: а вдруг и там золотишко заваялось? Но тоже вполне организованно, под четким руководством бдительных органов, хотя и без особой охраны. Я стоял совсем рядом с могилой, смотрел, как старательно перетряхивают прах в поисках чего-либо полезного для победы мирового коммунизма, и мне было страшно. Страшно и горько, хорошо помню и до сей поры...

Вероятно, и в этих деяниях мы были впереди планеты всей, поскольку это было санкционировано Советской властью. Да, массовое уничтожение церквей, почти поголовное превращение монастырей в застенки, взрыв Храма Христа Спасителя как апофеоз этого озверелого варварства были чудовищными преступлениями. И все же повсеместное глумление над могилами давно почивших предков наших – куда более страшное и гнусное деяние, ибо ничто не разрушает нравственность так, как кошунство. Кошунство и святотатство, издревле воспринимаемые нашим народом как наитягчайшие грехи, были превращены коммунистами в обыденную работу «для пользы дела».

Великий русский историк Ключевский сказал:

«Ворота Лавры Преподобного затворятся, и лампы загаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещанный нам нашими великими строителями земли Русской, как Преподобный Сергий».

Уже в июле 1920 года Наркомюст распорядился о «ликвидации всех и всяческих мощей», и первой была вскрыта могила величайшего гражданина России, инициатора и вдохновителя Куликовской битвы Сергия Радонежского. Кошунственное перетряхивание праха национально-героя и русского святого было не просто прилюдным, но и снималось на кинолентку в назидание потомству, которое отныне обрекали жить вне христианской морали, без нравственной опоры и понятия личного греха.

Так начинали наши завоеватели и оккупанты. А продолжили с еще большим размахом. Всего два примера.

Гробница первого Гражданина России Кузьмы Минина разрушена и уничтожена в середине тридцатых годов. А на месте Спасо-Преображенского собора, в крипте которого благодарная Родина определила ему некогда вечный последний приют, выстроен Дом Советов. Характерно, что в «Путеводителе по Волге» за 1937 год в разделе «Город Горький» нет даже упоминания о самом Кузьме Минине.

Могила любимца А.В. Суворова, героя Отечественной войны 1812 года князя Петра Илларионовича Багратиона, на Бородинском поле была не только ограблена, но и взорвана, дабы и костей легендарного полководца не осталось нам в наследство. Взорвана, а задним числом восстановлена, но и восстановлена-то не на том месте, где была...

Конечно, об этом я узнал позднее, а тогда, в смоленском детстве, у меня были примеры не такие глобальные, но зато вполне конкретные.

На углу улицы Декабристов и Большой Советской стоял старинный двухэтажный дом. И однажды, возвращаясь из школы, я увидел, как из него прямо на обледенелую улицу выбрасывают роскошные тома толстых книг. Я поднял одну из них и полистал. Она была на непонятном мне языке, но на столь хорошей бумаге, что оставить ее валяться посреди мостовой я никак не мог. Я с детства любил книги не только за их содержание, но и за форму: книга всегда была для меня предметом поклонения. А тут книги бросали с крыльца на мостовую, не глядя, куда они упадут. Хуже, чем дрова.

Тома были такими тяжелыми, что я смог донести до дома только два, зажав их подмышками. Сбросил у порога, побежал назад, чтобы захватить еще, но книги эти уже грузили в грязные розвальни, швыряя их туда, как булыжники.

Вечером я показал их отцу.

– Латынь и древнегреческий, – сказал он. – Собираешься учить мертвые языки?

– Книги, – туманно пояснил я.

– Это верно. – Отец почему-то вздохнул. – Книги надо беречь.

Теперь-то я понимаю, что победившая культура упрощала победившую до своего уровня. И в конце концов достигла сокрушительной победы...

Меня готовили к школе так, как если бы я поступал в классическую гимназию. Правда, языки мне давались с огромным трудом – они почему-то всю жизнь мне плохо давались, – но никаких скидок не было. Если вспомнить, что первый класс классической гимназии был – приблизительно – равен пятому классу советской школы того периода, то мне, в общем-то, там нечего было делать первые четыре года. Я не только умел читать и писать, но и знал все правила арифметики, имел представление о физике и химии, с упоением читал популярные книжки о зверях и растениях – Россия выпускала их во множестве, – а уж об истории и говорить не приходится.

Кроме того, я увлекся книгами о великих путешественниках. Примитив это, отец – а он всегда замечал мои увлечения – откуда-то притащил огромную карту мира и ознакомил меня с азами географии. И я увлеченно прокладывал на карте пути Колумба и Магеллана, капитана Кука и Васко да Гамы. И все пути – подаренными отцом командирскими разноцветными карандашами.

И тут мне несказанно повезло. Летом 1935 года отец получил месячный отпуск (едва ли не впервые с 1914-го) и взял меня с собою в Крым. И я увидел море, о котором столько мечтал и столько читал. Оно было тихим и покойным, я долго не мог оторвать от него глаз.

Мы прошли с отцом от Байдарских ворот до Алушты по замысловатому серпантину старой дороги, куски которой еще сохранились и сейчас

возле Фороса. Мы шли, никуда не торопясь, отец учил меня ловить крабов, которых мы варили в котелке на костре, нырять в волну и категорически запрещал забираться в сады и виноградники, которые никто не сторожил. А под вечер мы заходили в любое селение, где нас и кормили, и поили, и укладывали спать. Это были либо татарские аулы, либо греческие деревни, и я запомнил их по вкусу. По кисловатому, разбавленному специально для меня татарскому вину, горькому молоку греческих коров и ароматным взварам айсоров.

Русские на побережье жили тогда, в основном, в городах да при санаториях, потому что принцип частной собственности инерционно еще продолжал существовать. Россия, захватывая сопредельные территории, никогда не нарушала его, став могучей империей, но так и не превратившись в оккупанта.

Это и позволяло ее населению сохранять дружбу и взаимное уважение. И в каком бы селении мы не останавливались, нас встречали в самом почетном доме, куда степенно приходили татары и греки, армяне и айсоры и другие соседи, Бог весть каких национальностей. Не сразу, разумеется – они были на редкость деликатны, – а после того, как до отвала накормят нас. Потом меня отправляли к ребятишкам, а отец оставался с мужчинами пить вино, рассказывать «о текущем моменте», как это тогда называлось, и отвечать на бесчисленные вопросы. А я не знал ни татарского, ни греческого, но детский язык одинаков во всем мире.

Тогда Крым был цветущим садом. Татары издревле долбили ямы в скалистом грунте, возили плодородную землю из-за Яйлы и выращивали груши и яблоки, каких я более нигде не встречал. А греки создали сотни сортов десертного винограда и делали вина, от которых остались одни названия. Это был единственный в мире заповедник высочайшей садоводческой культуры глубокой древности. Его не смогли уничтожить ни нашествия готов, ни Османская, ни русская империи, потому что берегли его трудолюбивое и удивительно разноплеменное население.

Его уничтожили мы. Советская власть выслала все это разноплеменное население в казахстанские пустынные степи. А возвращенных в конце концов татар так и не пустили на побережье. Там свои отдыхают, родные трудящиеся. И Крым погиб навсегда...

Отца уговаривали подготовить меня к сдаче экзаменов сразу в пятый или хотя бы в четвертый класс, но он категорически отказался. Он уже понял, что в Советской России беспощадно убирают самые высокие колоски, и не хотел высовываться. Во имя семьи.

И я пошел в первый класс, поскольку в то время еще существовали «нулевки» для абсолютно неграмотных детей. Делать в школе мне было совершенно нечего, но я терпеливо высиживал два урока до большой перемены. На ней каждому выдавали тонюсенький кусочек хлеба с постным маслом, и жертвовать этим угощением я не мог. Детство было голодным, хотя мне всегда подсовывали лучшие кусочки за столом.

А тут еще начался настоящий голод, который затронул и Смоленщину, потому что в нее бежали с Украины и из южных областей, несмотря на все чекистские заслоны. Смоленск заполнили толпы ходячих полутрупов, бездомных и никому ненужных детей. Зима выдалась необычайно суровой, и я бегал в школу, порою перепрыгивая через замерзших людей. А жилплощади катастрофически нехватало, расселить хотя бы детей было негде, кроме как в школах. И их отдали под детские приемники, а нас, школьников, потеснили до того, что мы сидели за партой по трое. Мы сидели по трое, а вши ходили по нашим телам, как им было сподручнее, и вскоре я подцепил натуральный сыпной тиф, правда, в легкой форме.

И не вспоминал бы об этом, если бы несчастье не обернулось для меня необыкновенным счастьем. Напуганный моей болезнью отец где-то раздобыл путевку на сорок пять дней в Крым. Он любил его куда больше кав-

казского побережья, и я унаследовал эту отцовскую любовь. В детский санаторий «Хоста», если я не напутал с названием.. И мама отвезла меня в Крым, едва я начал самостоятельно передвигаться..

Этот санаторий располагался в старинном имении, сохранившем в те времена сады и виноградники. Через виноградники он примыкал к знаменитому Артеку, а сады спускались почти до Гурзуфа. Я пытался впоследствии разыскать этот райский уголок, но мои поиски успехом не увенчались. Подозреваю, что через Хосту пролегла автомагистраль Симферополь – Ялта, а во имя столь грандиозных проектов не щадили никакого прошлого.

В школе мне было невыносимо скучно, по крайней мере до восьмого класса. Я знал почти все, что там преподавали, а потому маялся, делал домашние задания на уроках и в конце концов начал убегать. Не только из школы, но и из дома.

В первый раз я решился на столь дерзкое предприятие в пятом классе. Я бежал в Италию, чтобы самому посмотреть на Везувий, потому что очень увлекался тогда Спартаксом. Бежать я почему-то решил через Смоленск, но этот маршрут быстро вычислили дома, и меня нашел на Белорусском вокзале муж моей сестры Гали Борис Иванович. Дома меня слегка пожурили, но пыла самостоятельных странствий погасить не смогли, и я вторично совершил побег в седьмом классе, когда мы уже жили в Воронеже. Я возмечтал добраться до Тбилиси и предложить киностудии «Грузия-фильм» свои услуги в качестве актера. Я добирался до станции назначения на пригородных поездах, точно рассчитав, что в них меня искать не будут. Этот побег был более продолжительным, поскольку задержали меня в Россоши на вокзале, посадили на поезд до Воронежа и наказали проводнику не спускать с меня глаз. И опять меня лишь слегка пожурили, но этого оказалось достаточно, и в бега я больше не стремился.

Сейчас, думая об этих побегах, я понимаю, что мною руководила жажда самоутверждения. Полагаю, что это чувство понимали и мои родители, прощая мне все нервозности, которые я им доставлял. И я угомонился.

В восьмом классе мы с Колей Плужниковым, моим самым близким другом, стали выпускать рукописный журнал. Как он назывался, я уж сейчас не помню, а вот наши псевдонимы остались в памяти. Я свои рассказы подписывал «А. Зюйд-Вестов», а Коля писал стихи под именем Олега Громославцева. Особой славы мы не стяжали, но одно из Колиных стихотворений было перепечатано воронежской молодежной газетой, и я люто завидовал Кошке...

Он не вернулся с войны. И я назвал героя романа «В списках не значился» его именем: Николай Плужников.

А о втором школьном друге, Володе Подворчаном, мне сказали, что он погиб на Кубани. И я его не искал, но он сам нашел меня после публикации в «Юности» повести «А зори здесь тихие...». Он остался в живых, но потерял в бою ногу, а живет в маленьком городке Пены Курской области. Мы с Зоренькой приезжали к нему, а теперь ежегодно встречаемся в Москве на его дне рождения в ноябре.

Я надел военную форму в седьмом классе. Разумеется, отцовскую и слегка ушитую, но не снимал ее вплоть до войны. И Володя сделал то же самое, взяв старую форму у дяди. Вечерами мы очень любили гулять неподалеку от военного училища, потому что встречные курсанты нам на всякий случай – кто там в сумерках разберет! – старательно козыряли, и мы небрежно прикладывали руки к фуражкам.

Это была веселая забава, а до войны еще было время...

Я уже где-то писал, как я встретил войну, но повторюсь для гладкости изложения.

Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно. И мы со

школьными друзьями решили идти купаться. Но, пока собирались, облака стали тучами, а когда поравнялись с нашей бывшей (семилетней) школой, хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и наш бывший директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно.

– Война, мальчики... – сказал он.

А мы заорали: «Ура!»...

Из четырех мальчишек, глупо оравших «ура» на крыльце школы, в живых остался я один.

Купаться мы раздумали и ринулись по домам. Обрадовать матерей, что наконец-таки началось... Мы еще не знали, не понимали и представить себе не могли, что это событие на века войдет в историю как Великая Отечественная война.

Дома я застал маму, которая разглядывала большую карту Европейской части СССР, – у нас дома было множество карт, потому что я их любил и собирал. Я восторженно сообщил, что началась война, мама странно посмотрела на меня и вышла из комнаты. А я сразу же подошел к расстеленной на столе карте.

На ее гляцевитой поверхности остались два пятнышка. Следы ее слез. И я понял – нет, не понял, а почувствовал, – что мое детство закончилось. Его провожали две маминых слезинки...



На дне пейзажа

* * *

Дальнее дыхание весны,
Облака невидимый полет.
Ночью электронный лет звезды
Ищет свой эфирный антипод.

И, пока молчанье долготы
Отражает падающий снег,
Площади полночные пусты:
Треск реле да гул ночных планет.

Некогда в воронежских лесах
Я один лежал – гуд проводов
В нищем поле говорил судьбой,
В сумрачных низинах таял страх.

И теперь, когда седой глагол
Выдает, как шубы, реквизит,
Воздух, пролетевший дальний луг,
Тихо из отверстия сквозит.

Бессловесен мертвенный экран.
Отсветы мерцают стороной.
Но, как довоенная, с утра –
Сукровица снежная весной.

Июнь в Москве

Пока еще хоть местность узнает
вечнолетающим пухом.
Да анонимно поезд позовет
знакомо-донным гудом.

И это даже и не тот же звук.
а слепок того звука, сгусток.
Знакомо дышит предвечерний луг.
Все остальное пусто.

Так зверь на память запаха идет,
не напрягая слуха.
Я позабыл, как звонок небосвод,
когда так тихо, сухо.

Почти незнаваем ближний лес:
оскалы вилл средь сосен, но –
суглинок, супесь,
и электрички дробный гон в ущелья без-
ымянных улиц,

где глаз не узнает проулков стык.
Мертв низких окон фосфор.
И все это исчезло за год, вмиг.
Почти неразличимый материк,
где только пух да запах
дачных сосен.

* * *

Мне хотелось узнать, почему треска,
и хотелось узнать, почему тоска.
А в ушах гудит: «Говорит Москва,
и в судьбе твоей не видать ни зги».
Так в тумане невидим нам мыс Трески.

Мне хотелось узнать, почему коньяк,
а внутренний голос говорит: «Дурак,
пей коньяк, водяру ли, « Абсолют»,
вечерами, по барам ли, поутру,
все равно превратишься потом в золу».

Я ему отвечаю: «Ты сам дурак,
рыбой в небе летит судьба!
И я знаю, что выхода не найти,
так хоть с другом выпить нам по пути
и, простившись, надеть пальто и уйти».

«Не уйдешь далеко через редкий лес,
где начало, там тебе и конец.
Так нечистая сила ведет в лесу,
словно нас по Садовому по кольцу
и под ребра толкает носатый бес».

Там, я вижу, повсюду горят огни,
по сугробам текут голубые дни,
и вдали у палатки стоит она.
И мы с ней остаемся совсем одни,
то есть я один и она одна.

Фото

Пейзаж живет на дне пейзажа.
Как ожидание – внутри.
Ты точно ларчик отвори.
Оттуда вылетает дважды
их отражением в окне
вдруг увеличенная в три
раза – птичка, как надежда
(на дне мерцающем Куинджи),
запечатленная внутри.

* * *

Смеркается. Совсем стемнело.
Долина жизни, как пейзаж Куинджи.
Луна покрыла местность черным мелом.
Не видно флоры, фауны не слышно.

Рыбки уснули в саду, птички заснули в пруду.
Страшно без джина и тоника
грешникам в скучном аду.
А четверем алкоголикам –
славно в Нескучном саду.

Я и сам в таком же положении.
Скучно, девушки!..
Где же вы, светлые?
Детства слепое телодвижение
перетекает в забвение нежное
с давнего севера в сторону южную.
Там вечерами течет чаепитие.

Я уже шаг этот сделал последний.
Это такие места, где пришельцы,
прошелестев сквозь пальцы событий,
из-за стола исчезают бесследно.



Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

Два рассказа

Я УМРУ С ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКОЙ В РУКЕ

– Когда вы умрете?
(...)
– Подумаешь, бином Ньютона!
Булгаков

Я точно знаю, когда я умру. И как. Я умру в возрасте ста шести лет, позвонив какому-нибудь девяностолетнему красавцу и услышав в трубке молодой женский голос.

Сто шесть лет – прекрасный возраст. Мне будет легко скрывать свои чувства. Все будут думать, что мои руки-ноги-голова трясутся от старости. Никто не догадается, что меня сотрясает дрожь страсти.

И вот дрожащей рукой я наберу его номер – а там... От разочарования я вырону из рта на совесть сработанные зубы. И поэтому промолчу, пока она повторяет:

– Алло! Алло? Алло? – И потом, подумав, скажет: – Вас не слышно. Перезвоните. – И я услышу короткие гудки.

«Боже мой! – скажу я про себя. – Я ведь знаю, что это всего лишь медсестра, которая делает ему уколы в его желтую дряблую задницу, или сиделка, которая выносит из-под него судно. Это молодой, безликий, среднестатистический голос. Даже если это внучка зашла его проведать, она не останется в его жизни надолго! Ее ждет у подъезда белозубый ковбой, он в далекие страны ее увезет».

Но, как бы я ни убеждала себя, мое сердце печально сжимается. Оно чувствует, что эта чужая, безликая женщина отнимает его у меня...

Ее зовут Лена. Это имя такое же ничего не значащее, ничего не выражающее, как ее голос. Лена. Женщина вообще. Какая-то женщина. A woman. Так звали жену моего любовника.

Я влюблялась. Безоглядно, безрассудно и бессовестно. Впрочем, в тот раз я сначала не знала, что он женат. Он сел рядом с Хироном, очень высокий, очень худой и очень рыжий. Хирон, ведущий нашей динамической группы (и декан факультета помогающей психологии в МИПе, где я, собственно, тогда училась), наблюдал за происходящим в кругу, время от времени пожевывая губами, что у него означало одобрение.

Шла психодрама. Хирон был горд, что ему удалось залучить к нам «саму Неведомскую» – президента московской психодраматической ассоциации – в промежутке между мюнхенской и еще какой-то конференциями. Неведомская была невысокого роста и довольно полная, но двигалась с невероятной скоростью. Бусы, которыми она вся была обвешана, позвякивали.

В один прекрасный момент я оказалась в центре круга с этим рыжим. Чувствовала себя, как сверчок под микроскопом (из-за теплой печки в голый освещенный кружок). Нам предстояло изображать двоих, которые никак не могут услышать друг друга. Выбравшая нас клиентка

задумалась, настала длинная пауза. Я смотрела прямо на Ивана – за минуту до того он представился ведущей. В психодраме ведущего называют директором.

Я смотрела, как свисают вдоль тела Ивановы длиннопалые руки. Я знала, что хочу этого парня изо всех сил, так что у меня от желания ноги подкашиваются. Дышать было нечем. Одновременно я думала, что через минуту-другую это увидят все. Мы отучились уже два года. Все тренировались замечать, как меняются скорость и глубина дыхания, цвет кожи, как выступают маленькие капельки пота на лбу и над верхней губой. Называется «эмпатия». По ней был даже отдельный спецкурс. У меня отчетливо пульсировали кончики пальцев. В окнах покачивались ветви, плывущие в золотом свете, словно укроп в абрикосовом джеме.

Директор Неведомская подошла ко мне. От нее пахло духами и потом.

– Твоя задача – докричаться до него, – тряхнула копной черных завитков, звякнули цыганские монисты, – понимаешь?

Я кивнула и посмотрела на Ивана.

Он стоял все так же, внимательно и безучастно глядя в нашу сторону.

– Если тебе нужен еще кто-то, выбирай. – Неведомская обвела сидящих в круге рукой, словно продавец, предлагающий товар.

Я взяла еще пятерых из нашей группы – они стали моими «голосами». Я выставила их перед собой и спряталась за их спины. Они кричали, а я из-за их спин смотрела на Ивана – он смотрел на меня, и я знала, что он их не слышит.

В перерыве началось всеобщее шуршание и извлечение принесенных пакетиков с бутербродами и прочей снедью – наша столовая предлагала только цемент, песок и обломки кафеля. Так что мы ставили чайник в аудитории, там и пировали. Все обустроивались, а он (краем глаза косила в его сторону) стоял неприкаянно в уголке, потом ушел курить на лестницу. Я набралась наглости и пошла стрелкнуть сигаретку у Хирона.

– Тебе «Данхилл» или «Ротманс»? – спросил он у меня, словно Воланд у Бездомного.

– А этот рыжий, он женат? – услышала я одновременно где-то у себя за спиной. И ответ: – Да не, не может быть.

Потом я ее увидела. У нее были блеклые волосы цвета прошлогодней соломы. Она была толстая. Она стояла на пороге, обычная, как дорожная пыль. И держала за руку девочку. Сердце у меня упало. Я подумала: мне этого не одолеть. Я никогда не буду лучше нее. Потому что я – это только я. А она – это все.

Если бы его жена была красивой, умной, сексуальной, я стала бы остроумной, смешной, интересной, я могла бы любить его в тысячу раз сильнее. Но здесь я была бессильна.

Перед этой серостью, блеклостью и обреченностью я пасовала. Эта женщина была создана, чтобы ее оставили, забросили, забыли, чтобы она вела свою унылую и пустую жизнь, – и этого было нельзя, как нельзя обижать маленьких и бить домашних животных.

– Ивана нет дома. Что-нибудь передать?

Но первый раз я услышала ее голос вовсе не тогда. Первый раз я услышала ее голос, позвонив школьному мальчику, который сидел на второй парте в третьем ряду. Я с трудом могу вспомнить, как его звали. Может, Леша. А может, Сережа. Но его маму звали Лена, я уверена. Потому что только Лена может ответить так:

– Он гуляет. Позвоните попозже.

В этом голосе нет ни заинтересованности, ни неприязни. В нем есть предстоящий ремонт, счёт за междугородный разговор двухмесячной дав-

ности и запах тапочек ее мужа, которые она выставляет на балкон проветриваться. Этот голос отодвигает меня дальше чем до луны. Для меня Сережа будет гулять вечно.

Я ходила вечером около его дома. Мелкие лужицы замерзали, и ледышки колко позвякивали под ногами. Занавески были оранжевые. Иногда они не были задвинуты. Но и тогда ничего не было видно – пятый этаж, слишком высоко.

Тот раз был первый и последний, когда Иван пришел к нам в группу. Но этого хватило. На лестнице мы успели обменяться телефонами, пока курили. Всё как всегда:

– ...как в «Ускользящей красоте», – закончил Иван фразу и сделал шаг, чтобы стряхнуть пепел не как-нибудь, а точно в жестяную плевательницу советского образца, притулившуюся в уголке.

– Что это?

– Бертолуччи.

– Не видела, – сказала я, уже почти наверняка зная, что он на это ответит.

– У меня, кажется, есть.

– Дашь?

Мы встречались в квартире Хирона на «Баррикадной», пока тот не женился, – тогда квартира стала нужна ему самому.

А до того он часто разъезжал (летал) по стране – у него группы были еще в четырех городах. Ивану оставались ключи, цветы и компьютер. Хирон, конечно, знал о нашем романе. Но вслух предпочитал не говорить об этом.

Только однажды Иван сам спросил его, а он ответил: «Я радуюсь, когда хорошие люди встречаются». «Ну и ладно», – подумала я, когда Иван, нагишом лежа на старом Хироновом диване, с которого давно слезла матерчатая кожа и открылось поролоновое мясо, пересказал мне эту беседу в ответ на мой классический вопрос «Знает ли?..» К слову, я никогда не спрашивала, знает ли о нас его жена – я была уверена, что да, потому что слышала ее голос. У людей, ничего не знающих, в голосе есть чувства – любопытство, доброжелательность, подозрительность. А таким бесцветным и смиренным, как застиранный халат, может быть только голос человека, который все знает и заранее согласен на любые условия. Ну и ладно, подумала я, по крайней мере мой учитель считает меня хорошим человеком. Я сама не была в этом такуж уверена. Когда мы с Иваном отряхивались после любви, как собаки после воды, и отправлялись дружно на кухню – Иван курить, а я есть (всегда бывала страшно голодна после наших редких, но страстных соитий), – я думала о том, что хотела бы его оставить себе навсегда. А если нельзя оставить, то чтобы у меня были длинные-предлинные когти, и я проткнула бы его этими когтями насквозь, чтобы почувствовать его содрогающиеся внутренности, я бы разодрала его на трепещущие кровавые части, только чтобы избавиться от той мучительной пустоты, которая делалась во мне, стоило нам расстаться. Разве бывают такие мысли у хороших людей?

Я привыкла к квартире Хирона, к этим облупленным трехметровым потолкам в цветах побежалости и устойчивому, всепроникающему запаху старой пыли, который держался на моей коже, когда я возвращалась домой, и был даже сильнее, чем запахи наших с Иваном страстей. К ним я приноживалась, нарочно раздеваясь на ночь догола, не надевая рубашки, не укрываясь одеялом, и они покидали меня только на следующий день под струями утреннего душа.

Хирон женился на Неведомской. Командировки кончились. Моя учеба тоже. Я пыталась заниматься частной практикой (только индивидуаль-

ная терапия, никаких групп). В квартире Хирона я стала бывать гораздо реже и уже без Ивана – заходила в гости. Пила чай, слушала сплетни о психологическом гадюшнике и оглядывалась по сторонам, припоминая все те углы, в которых мы занимались любовью в самых немислимых позах. Обогревая свою одинокую жизнь хироновским семейным теплом и переваренным клубничным вареньем. Неведомская курила длинные коричневые сигареты.

Однажды я приезжала к Ивану в его «семейное гнездо» – квартиру на пятом этаже хрущобы, в диких ночных Текстильщиках. Жена и дочь были у бабушки. Без малейшего зазрения совести мы улеглись в не застеленную с утрамятую кровать (детская кроватка была придвинута к ее изголовью) и вцепились друг в друга языками, руками и всем остальным на том же самом белье, на котором почивал Иван с супругой. Рассказывать об этом нечего – мы делали то же самое, что делали несчетные сонмы людей и тварей в то же самое время, равно как до нас и после нас. Ночь серым волком перекинулась через голову и стала добрым утром. Мы выпили по чашке кофе – холодильник был дик и пуст. Потом Иван посмотрел на часы и сказал:

– Они приедут через полчаса.

Двадцать минут спустя я покупала колбасу в магазине. Отличная была колбаса.

Когда я разъехалась с родителями, у меня появилась отдельная комната в сильно захлавленной коммуналке. В единственной соседней комнате жила одинокая старуха. День у нее начинался не раньше двенадцати, и по будням мы встречались только вечером. А в выходные я наблюдала, как она выходит на кухню в бюстгальтере, надетом поверх длинной майки, ставит кофе на маленький огонь и долго расчесывает седые волосы, тщательно заплетает их в косицу и закалывает в тощий пучок предварительно разложенными на столе черными шпильками. В ту же секунду кофе, жарко шипя, вздувался над туркой. Я стремительно спасала его, мимолетно озадачиваясь: как же в другие дни, когда я на работе? Кофе убегает, и приходится потом отмывать плиту или же моя соседка пьет чай? Она была не только старой, но и старомодной. Поэтому, хотя и поглядывала на Ивана с любопытством, все же ни о чем не спрашивала. Если нам случалось оказаться на кухне втроем (в этом случае поверх майки и бюстгальтера надевался халат), беседа носила исключительно отвлеченный характер:

– Не правда ли, похолодало?

– Да, как будто.

Впрочем, Иван появлялся у меня редко. Все чаще бесчисленные секретарши в его конторе спрашивали: «Как вас представить?» – а потом общались: «Его нет. Что нужно передать?» «Что я умерла!!!» – хотелось мне заорать в трубку, но я послушно называла свое имя во второй раз: «Передайте, что звонила такая-то». Он не перезванивал.

Хирон с Неведомской разошлись. Она уехала в Германию с каким-то профессором. Он ушел из МИПа и больше групп не вел. Два раза в год летал в Анадырь – там у него был филиал московской (в Москве не существующей) группы. Остальное время тихо пил. К нему все еще просились клиенты, он почти всегда отказывался. Но в прихожей все так же стояли тапочки всех размеров и видов – гостям предоставлялся выбор.

Так же, как раньше, он достал из начатой зеленой пачки «Данхилл» и выложил на стол еще «Ротманс» и «Мор». У него никогда не бывало меньше двух разных пачек.

– Тебе зачем это? – не сдержала я как-то своего любопытства.

– Это знак того, что у человека всегда есть выбор, – серьезно ответил Хирон. По той же причине он держал множество сортов чая в разноцветных мешочках. Чай сначала предлагалось нюхать в сухом виде, затем в заваренном и уж только потом пить. Заварка настаивалась. Пиалы ждали.

– Как ты? – спросил Хирон.

– В РЫХЛях, – пожалала я плечом. Попытки заниматься психологической практикой остались в прошлом. Я не чувствовала себя достаточно счастливой, чтобы вести к счастью других.

– И что ты там делаешь?

– Психология искусства.

– Как студенты?

– Нормально.

Кто-то обязательно должен был заговорить об Иване. Хирон, как обычно, взял это на себя:

– Как Иван?

– Давно не видела. А ты?

– Заходил.

– Как он?

–.....

– Всякая вещь на свете, – сказал Хирон, – имеет начало, середину и конец. – И посмотрел на сервант.

Недомская стояла среди группы студентов и, повернувшись к очкарику в клетчатой рубашке, оживленно говорила что-то. Что – неизвестно: фотография.

А жену Ивана я увидела за три года до этого разговора. (Три года, смешивающих надежду с безнадежностью). Был наш выпускной вечер. Иван после того первого раза, когда Хирон его позвал на Неведомскую, к нам в группу не приходил. И я не ожидала, что он появится на выпускном. Задумано все было так, чтобы все привели – кто захочет, конечно, – своих родителей, друзей или жен-мужей, у кого они были. Чтобы наши родные и близкие, остававшиеся до сих пор в неведении относительно того, какие тайные психологические заклинания мы разучиваем во время нашей учебы, могли бы наконец увидеть – ну по крайней мере что все мы люди без хвостов и рогов. Я никого звать не стала. Просто на всякий случай. Ивана я тоже не позвала. Но все-таки, наверно, ждала, потому что когда все уже поднялись в зал за угощением, я всё толклась у входа, заглядывая в лица запаздывающим одиночкам и повторяя: «Да, уже началось. Да, сюда». Тут и возник на пороге Иван, какой-то еще более рыжий и растерянный, чем обычно, а за спиной у него маячила, выглядывая не столько из-за плеча, сколько из-за локтя, жена.

– Привет! – сказала я Ивану вполне официальным тоном.

– Привет, – откликнулся он, – а это вот... семейство.

Семейство уже стояло на пороге в рамке дверного проема на фоне густеющего вечера, словно ожидая позволения войти.

– Уже началось, – сказала я им так же, как всем. – Сюда, вверх по лестнице.

Они поднялись, все втроем, Иван впереди, семейство немного сзади, но не отставая. Я скоро поднялась тоже. Ждать больше было некого. Иван с женой и дочкой сидели за столом с Неведомской и Хироном. Хирон помахал, давая мне возможность присоединиться, но я сделала вид, что меня ждут где-то там.

Я не испытывала к ней ни ненависти, ни ревности. Нельзя ненавидеть всех и нельзя ревновать ко всем. Я просто знала, что я проиграла. Что не мешало мне любить Ивана, как я люблю его и сейчас, как, наверно, буду любить и в свои сто шесть. Никакая любовь не проходит, просто

новые яркие впечатления выдвигаются на первый план, а она стоит где-то в сторонке, словно гость, который вышел покурить на лестницу, но в любой момент готов вернуться за праздничный стол.

Мы с Иваном танцевали, прижимаясь друг к другу, прораскивая друг в друга сквозь одежду и кожу. Я не спрашивала, что скажет его жена, если увидит нас: в конце концов это его жена, а не моя. Я махнула рукой на то, что подумает Хирон, увидев нас: МИП уже отплывал в прошлое. Потом мы целовались на лестнице, торопливо и жадно заползая под лоскуты мешающих одеяний.

– Поедем, – сказал Иван.

– У меня родители.

– Поедем ко мне.

– ???

– Они уехали к бабушке. До завтра.

Тогда-то мы и оказались на супружеском ложе.

В один прекрасный день я решила, что хватит с меня этих странных отношений, которыми я выматывала себе душу, часами глядя на телефон, – а кто этого не делает? Ты же все-таки психолог, – сказала я себе с упреком, – ты помогала другим с их несчастной любовью, почему бы тебе не сделать то же самое для себя?

И я сделала. Я резала нити, связывающие меня с Иваном, эти тонкие серебряные волокна, которые тянулись из моего живота к нему. Ножницы щелкали. Я написала десяток прощальных писем, удивляясь тому, что каждое заканчивалось словами «люблю тебя». Я продолжала до тех пор, пока не поняла, что любовь – мое личное дело, которое касается только меня, что ее не надо вытаптывать и искоренять. Ее можно оставить (себе, в себе) – просто дальше ты можешь делать, что хочешь. «Люби Бога и делай, что хочешь», – сказал, кажется, блаженный Августин, я урезала этот призыв до «люби и делай, что хочешь» и стала делать, что хочу: больше не звонила. Заполняла время. Бросила психологию. Не могла смотреть на людей. Потом пошла читать лекции в РХЛИ (российский литературно-художественный институт).

Рыхлёвская столовка закрылась на ремонт. Видимо, моя дорога жизни будет вся отмечена неработающими столовыми. Преподавательский состав, вооружась кулками и целлофанчиками, прятался за дверь с суровой надписью «Деканат» да еще и запирался, чтобы жаждающие сведений, справок и передач студенты не мешали ему пить свой законный обеденный чай. Там-то я и познакомилась с Гореевым. Он ломился в двери, чувствуя себя в своем праве, а мы затаились и не открывали. Но стук упорно продолжался, а на черный дерматин стала опасно осыпаться из-под косяка побелка, словно перхоть на вороново крыло тенора. И я не выдержала первая. Открыв дверь, собиралась для дальнейших выяснений выйти в коридор и попыталась не впустить незваного гостя, но он так решительно сделал шаг вперед, что пришлось отступить. В порядке реванша я строго спросила:

– Вы кто? – тем более что дяденька не походил на студента.

– История советского кинематографа! – последовал неожиданный ответ.

За деканатским чаем выяснилось, что в свободное от рыхлевского спецкурса время он работает редактором на телеканале ТВР. Так что не было ничего естественней, чем предложить ему немедленно стать моим соавтором и писать вместе для журнала «Киномода»: там я уже три месяца добывала те деньги, которых мне не хватало в Рыхляке.

Гореев закуривал трубку, выпускал несколько густых клубов и начинал вещать, а я тарахтела на компьютере. Работали у него: он жил рядом с институтом и, можно сказать, один. Квартира содержала его

невидимую и беззвучную маму где-то в дальней комнате и немислимое количество пепельниц всех сортов и размеров. Одна была с задумчивой нотдрамской химерой, выражением лица смутно напоминавшей самого Гореева. Мы состряпали статью за два часа. Я положила дискету в сумку.

– Мне приснился ангел, – сказал вдруг Гореев ни с того ни с сего, – мне приснился ангел. Он залетел в окно и сел, как птица, на подоконник. Хотя крыльев у него не было. Худющий прыщавый мальчишка. Он ковырялся в ушах и в носу. Вел себя безобразно и все время жрал. Я разглядел его всего. Эту его пипиську (показал указательным пальцем скрюченную), тощую жопу и острые лопатки – видно, крылья у него только начинали прорезываться. Он только что не срал на ковер. Таскался по дому абсолютно голый и все время жрал. По всему дому валялись крошки. Я не мог ни сесть, ни почитать, ни посмотреть телевизор. К себе никого позвать не мог... А потом он улетел. И стало никак. Было тяжело – а стало никак.

Я осталась.

Просто встретились, просто оказались вместе, в одной квартире, в одной постели. Утро – кофе – душ – голубой махровый халат – кофе еще раз. Стандартный набор, и слава Богу.

Я стала даже понемногу привыкать к этой новой жизни, где свидания были какими-то сюрреалистическими: полуделовыми-полуюбовными, где делились пополам гонорары и постель.

Нужно было быстренько уточнить пару названий – в редакции настоятельно просили. Дело происходило в промежутке между майскими праздниками. Я позвонила Горееву на работу. Там никто не брал трубку. Вечером я решила позвонить ему домой.

– Алло? – Автоматически я нажала на кнопку с трубкой, и автомат слизнул с карточки единицу. – Алло? – но я молчала. Я узнала этот голос, это была она, Лена. Автомат слизнул еще пару единиц. Мы молчали с разных концов мироздания. – Вас не слышно, – наконец решилась она. – Перезвоните, пожалуйста.

К черту! – подумала я. Не хочу ничего знать. Медсестра пришла к маме, соседка зашла за картошкой. Почему она тогда подходит к телефону, а?

И вот тут-то, возвращая гудящую трубку на место, я совершенно отчетливо поняла, как я умру.

А потом подумала: ладно, пусть!

Но пусть это будет нескоро, пусть у меня впереди еще будет долгая и счастливая жизнь. Очень долгая и очень счастливая. И только когда я стану совсем старой, тогда – пускай. От судьбы не уйдешь. Он, мучитель, красавец с седыми кудрями, с грустными глазами Питера О’Тула и озорной улыбкой Бельмондо – какая бывает только у стариков, живших красиво и вольно, он встретится на моем пути, девяностолетний, обольстительный, и, конечно, я влюблюсь в него безрассудно и безнадежно и буду снова мечтать о встрече, а при встрече трястись от страсти и забывать слова (а он будет думать, что у меня склероз). И, вчистую пренебрегая советом врача побережись, я буду страшно волноваться, набирая его номер. И – куда деваться – однажды я услышу этот знакомый, неизменный и неистребимый голос Лены.

Но тогда я не умру. Еще не тогда. Я подожду час-другой и снова наберу его номер. Длинный гудок... еще один... сейчас возьмут трубку. И мое гулко колотящееся сердце вдруг запнется, рука ослабеет, и я, не выпуская трубку, осторожно положу ее на живот... Как беременная женщина придерживает нежно голову мужа, который прижимается к ней ухом, прислушиваясь, угадывая...

ОТ МИРА ДО КРУГОЗОРА

1

Бросался под колеса весь весенний город: асфальт цвета собачьего носа, грязный снег обочин, белые бумажные пакеты домов, синий сияющий ливень небес... «Презервативы?» «Взял...» «Забыли аспирин. Аптека!» «Проехали». «Вон на том углу следующая, эй, эй, останови там!»

Аэропорт. Квадратные солнечные льдины громадных окон. Лыжи в длинном чехле вместе с остальным барахлом сдали в багаж. Руки наконец свободны. Сахарным инеем подернуты желтые колесики ананасных цукатов в витрине. Пьем кофе, болтаем ногами. Проходящие мимо девицы замедляют шаг, глаза на Макса. Я не в обиде, мне у него за спиной какой-то мужик делает пригласительные жесты. На самолет чуть не опоздали: Макс расспрашивал бармена, где они взяли такую замечательную барную стойку. Каждого бармена. А их в аэропорту много.

– А вот ты бы как сделала? Чтобы стойка была у дверей или чтобы к ней надо было идти через весь зал?.. – Макс одержим идеей сделать свое кафе.

– Где вы всё ходите? Посадка уже заканчивается, мне из-за вас лишней раз машину гонять! – Тетка в кителе орет, напрягая пуговицы на груди, мы улыбаемся друг другу – и потом дружно тетке: мы счастливы, и нас голыми руками не возьмешь. Тетка машет рукой: ладно уж, на последний автобус успели.

Пустой автобус с нами едет через пустое летное поле. Самолет велик и бел, ждет нас двоих, последних.

2

В самолете курить нельзя. Макс уходит, возвращается, берет меня за руку.

– Пойдем, я договорился.

Крошечный закуток за занавесочкой, единственный откидной стульчик, я села, Макс стоит, курим. Рядом пилоты пьют кофе и нам наливают в пластмассовые кружечки за компанию.

– Отличная у вас куртка, – говорит Макс одному из них, мужику с корявыми коричневыми пальцами, и тот пускается в подробные разъяснения, как добраться в Минводах до правильного рынка, где такие можно купить «прямо что задарма». Я удивляюсь про себя: я пилотов другими себе представляла. Но мы вежливо слушаем и киваем, зная, что ни за что не пойдем ни на какой рынок. Может, все-таки не пилот, механик какой-нибудь?

Мы возвращаемся на свои места, и я спрашиваю:

– Это тебя за красивые глаза в служебные помещения пускают?

– Не-ет, – с явным сожалением, – я сто рублей ему дал.

3

Самолет садится в Минводах, день уже кончился. Ночь жирная и густая, как вакса. Полуосвещенный аэровокзал. С улицы входят мужчины с такими лицами, словно там, снаружи, они терли щеки сапожной щеткой. Макс оставляет меня стеречь чемоданы и уходит искать обещанную турагентством машину. Ее нет нигде, разумеется. Макс возвращается.

– Пойду еще поищу.

– Ох нет, возьми меня с собой, а то они смотрят на меня, как каннибалы.

Две стаи аборигенов жаждут нас везти. Про другую стаю уверенно говорят: они бандиты! Не садитесь к ним, неизвестно, куда вас привезут и что с вами сделают! Надо как-то выбирать. Пространство перед аэровокзалом такое же огромное, как летное поле, и уходит куда-то в темную бесконечность. Мы таскаемся по нему от одной сомнительной компании водителей к другой. Почему все-таки возле каждой машины толпится человек по шесть? Не шестером же они их водят?

Едем наконец в выбранном наобум толстеньком джипе. Макс шепчет мне в ухо:

– Рядом с тобой я чувствую себя настоящим мужчиной.

«Еще бы!» – думаю про себя. Последний час под этими людоедскими взглядами я ни на секунду не могла забыть, что я женщина.

4

Нас везут по выющейся серпантином дороге. Раструб фар выхватывает слоистые горные породы. Потом бегущие ряды голых деревьев.

И снова дорога забирает вверх, в горы.

– Поспи, – говорит Макс.

– Не могу, боюсь пропустить что-нибудь интересное, – отвечаю.

Да к тому же мне тревожно. Посреди дороги наш джипчик вдруг останавливается. Сзади идет белая легковая машина. Она объезжает нас и тоже останавливается. Я стараюсь дышать глубоко и ровно и судорожно думаю, удастся ли нам открыть дверь и выскочить, если что? И далеко ли мы убежим по тем завалам камней, которые виднеются по сторонам в свете фар?

Наш шофер говорит:

– Дальше поедете с ним, – кивая в сторону «Жигулей». И добавляет (видимо, это должно нас успокоить): – Это мой деверь. С ним и расплатитесь.

Мы перетаскиваем вещи. Лыжи лежат вдоль салона, давят мне на плечо, неудобно, но жаловаться не приходится. Едем – и слава Богу!

5

Еще через час я понимаю, что дорога не кончится никогда. И как раз машина, трижды свернув напоследок, останавливается у слабоосвещенного подъезда с надписью «КАРМОН», выполненной почему-то готическим шрифтом. Мы вступаем в холл-аквариум. Он пуст, нет даже дежурной за стойкой, вокруг какая-то подводная тишина. Я погружаюсь в продавленный диван, Макс отыскивает и приводит заспанную администраторшу. Наконец-то у нас в руках пластмассовая груша с ключом от номера! Лифт отключен, и мы топаем на четвертый этаж пешком...

Картина на стене изображает зеленую девоптицу. Две кровати, составленные рядом, изображают двуспальную. И когда попадаешь на середину, их удвоенный бордюры врезаются в бок. Но мне все равно. Мне наплевать, что нет занавесок и в окно пляшут гологлазый фонарь. Я счастлива, что можно наконец лечь, вытянуться всем телом и упасть в сон.

Утром я все же сняла девоптицу и поставила ее на угол подоконника с таким расчетом, чтобы она избавила нас ночью от любопытства фонаря.

6

Мы завтракаем в аккуратной столовой «Кармона» завтраком из трех блюд. Подносы расставляет официантка в белом фартучке. Скатерти, как в итальянском кафе: в бело-красную клетку. Все такое чистенькое, миленькое, словно вчерашний вечер приснился нам в неудачном сне.

Я во все стороны верчу головой. Макс смеется: «Перестань – отвалится». За столами сидят – некоторые в спортивных костюмах – люди, в которых я с готовностью признаю бывалых лыжников. У них на суровых лицах горный загар и все такое.

– Макс, Макс, я боюсь, – говорю я, – у меня не получится.

Макс уходит выправлять какие-то наши гостиничные документы, а я доедаю полезную тертую морковку и отправляюсь погулять.

Горы совсем рядом. Я впервые вижу их так близко. Овцы насыпаны на склон, как кунжутные семечки на булочку, и я понимаю: на самом-то деле горы далеко.

Бывалые лыжники давно укатили на рейсовых автобусах, а мы с Максом только собрались в лыжехранилище: им заведует Анзор с лицом натурального разбойника. Он долго подбирает мне ботинки по размеру, я меряю пару за парой, мне неловко признаться, что неудобно во всех. В конце концов соглашаюсь на какие-то испанские сапоги. Там же в прокате находятся для меня и лыжи. Я в свитере, куртке, в огромных темных очках – Макс для меня их специально купил, – почти ничего не видя и не чуя своих ног, ковыляю к выходу, преодолеваю с трудом две ступеньки, оттягиваю тугую дверь – и солнце прыгает мне в глаза. Смеющееся лицо Макса поворачивается ко мне и я думаю: ведь это же и есть счастье, а?

7

Двор забит «Жигулями», ждущими вальяжных седоков, не желающих торопиться на автобус. Вот и мы, поедем шикарно.

И опять я чувствую себя чужачкой и самозванкой в очереди на подъемник: рядом щебечут веселые девушки в вязаных шапочках, они-то настоящие горнолыжницы!

– Нравится? – спрашивает со сдержанной гордостью владельца Макс, кивая на вид вниз. Сквозь склянку подъемника виднеются заснеженные складки гор. Мне страшно смотреть – всю жизнь боюсь высоты. Но – красиво, правда. Я в журнале по фотографии читала, что белое на белом могут снимать только настоящие мастера.

Мы добираемся до станции Кругозор и строимся в новую очередь. Вверх, вверх – следующий подъемник. Народ начал мазать лица какой-то цветной помадой, пока все не стали походить на индейцев в боевой раскраске. Девушки забавляются, художественно размалевывая друг друга.

Макс протягивает руку.

– А нам можно?

Я тронута тем, что в протянутую руку тюбик вложен незамедлительно – видно, у них, у этих бывалых и благородных людей, принято делиться, – и тем, что Макс помнит про мою нежную кожу. Сам он – «не нуждаюсь ни в каких замазках» – хвастался, что его природной смуглоты хватает для защиты и очков от солнца ему тоже не надо: «Я просто шурюсь, вот так...»

Поскрипывая, раскачиваясь и наводя на меня ужас, подъемник дополз наконец до самого верха – до Мира. Можно еще выше: на безымянный пик ходят вездеходы для любителей. Я смотрю, прижимая шапку рукой к затылку. Неужели можно и туда забраться? Но, пожалуй, нам и этого хватит.

Заходим в знаменитый «Приют» – кафе на вершине. Целый месяц перед отъездом Макс о нем чуть не каждый вечер рассказывал. Темная бревенчатая стена, лыжи вдоль нее стоят у входа длинным рядом. Пол из серых каменных плит. И шаги в лыжных ботинках звучат об него: блонбак, блонбак. Макс идет к стойке, над которой дым, дым, – там готовят хичины («Если ты не ела хичинов, ты не знаешь счастья»).

И вот он (приближающееся блонбак) гордо несет поднос с этими лепешками, начиненными сыром и мясом, и стаканы с вином. Я оглядываюсь: смеются, жуют, окликают входящих. На столиках лежат, как от

скафандров, лыжные перчатки, защитные очки. Я с тоской думаю: хорошо им, этим лыжникам, они давно катаются, а у меня со страху кусок нейдет в горло. Макс в предвкушении удовольствия увлеченно рассказывает, как его в три года папа «ставил на лыжи».

– Макс, я хочу писать. Тут где?

Он меняется в лице.

– Слушай-ка, тут – только на улице. Справишься?

«На улице» – это не слишком большой пятючок вокруг «Приюта», спрячься негде – все просматривается. Еще бы: мы на вершине!

– Макс, прикрой! – говорю я, в три приема отстегивая лыжные штаны и стараясь не смотреть по сторонам.

Начинает заметать. Сдуваемый с вершин снег заворачивается в снежные кёрлы. О запесенные альпинисты!.. Макс надевает лыжи и помогает мне совладать с креплениями.

И вот – он на краю площадки, раз – взмахнул палками и нырь вниз, только я его и видела. Подхожу боком, как птица, заглядываю одним глазом через край и ясно понимаю: если я сделаю еще хоть шаг, сломаю себе шею. Неминуемо. Неизбежно.

Игрушечные лыжники выписывают волны далеко внизу.

В тихой ярости на Макса, который загнал меня сюда, я отступаю от края и расстегиваю крепления негнуцимся пальцами.

Макс, канувший, казалось, безвозвратно, вдруг снова показался над снежной кромкой и, продолжая передвигаться вверх бодрой лесенкой, наконец выпрыгнул совсем.

– Ну ты чего?

– Ничего, – злобно говорю я, – помоги!

Он снимает мне лыжу.

– Так и не попробуешь?

– Где? Здесь? Чтобы шею себе сломать?

Макс понурился.

– Ну что, будем тогда обратно спускаться.

– Я спущусь, а ты поезжай, – смягчаюсь я, – не зря же мы все-таки сюда столько добрались.

Макс тут же воспрял духом:

– Давай! Ты на подъемнике спустишься, а я быстро. Подождешь меня, да? На Кругозоре встретимся.

Он провожает меня к подъемнику, и я отправляюсь вниз одна-одинешенька со своими необъезженными лыжами, провожаемая неодобрительным взглядом горного служителя.

– Что ж ты, а? – Он осуждающе прицокивает языком. – Что ж ты так, а? Но я молча ныряю в пустой стеклянный коробок.

На Кругозоре открытая терраса, длинные деревянные столы, но за ними никого нет: верно, устраиваются где-то с другой стороны, откуда доносится шашлычный дымок. Я уселась на лавке так, чтобы видеть спуск. Горы тянутся вверх, их вершины сливаются с небом. Оттуда, сверху, как капли из подтекающего крана, выкатываются один за другим лыжники, стремительно увеличиваясь в размерах и на поворотах выкидывая вбок снежное крыло. Наконец появляется Макс, затянувший в красный комбинезон, красивый. Его тело упруго покачивается, как пламя свечи, когда он выписывает свои виражи. Я в досаде отворачиваюсь. Макс, видно, заметил меня издали и теперь тормозит с шиком, остановившись почти вплоты к ограде, и оседающий веер снега касается моего лица. Макс улыбается изо всех сил, стаскивает шапку, взлетают его светлые волосы, он перегибается через ограду, тянется... Сердце не камень, подхожу, чтобы он мог меня поцеловать.

– Ну не сердись, ладно? Мир?

– Ладно, – ворчу я, – ладно уж, мир, так и быть.

Макс аккуратно устраивает лыжи у стены и уже несет из палатки – надо же, я ее и не заметила – глинтвейн. Самое время раздобыть нам по шашлык – дымок по-прежнему носится над террасой, но жаровни на нашей стороне не видно. Я отхлебываю жидковатое – зато горячее – вино, оно слабо пахнет гвоздикой, смотрю то на горы, то по сторонам – не идет ли Макс... И тут – и тут я вижу спину молодого человека, который по дороге ко входу на станцию между делом ловко прихватывает Максovy лыжи и, не замедлив ровного шага, направляется с ними внутрь.

– Эй! – окликаю я. Но он не слышит, то есть делает вид, что не слышит, идет себе к подъемнику. Я неукложе бегу за ним в неудобных ботинках, хватаю его за рукав.

– Подождите, пожалуйста, – говорю я, – эти лыжи не ваши!

– Да? – оборачивается он.

И я смолкаю, уставившись ему в лицо. Это лицо из сказки: Прекрасный Принц без тени смущения глядит на меня. Ярко-синие глаза в чернящих ресницах. «Крашенные? – думаю. – Или свои такие?» Улыбка приподнимает краешки рта – он отлично знает, какое производит впечатление, и производит его вполне сознательно.

А вот и Макс подходит.

– А где мои лыжи?.. – И не успев еще доспросить, видит одновременно свои лыжи и того, кто их держит. Я замираю, мгновенно представив, как сейчас они будут вырывать их друг у друга из рук, а я – громко визжать, подняв к вискам ладони с растопыренными пальцами. Но все происходит не так.

– Да вот они. – Незнакомец отдает лыжи Максy и легко улыбается. – Я пытался их украсть, а ваша подруга героически бросилась на защиту вашей собственности.

В результате почему-то неловко мне.

– Вы удивительно бессовестны, – бормочу я. – Почти так же, как красивые.

– Да, я знаю, – расслышал он и дружелюбно протягивает руку. – Валентин. Приятно познакомиться.

А я, оказывается, зверски голодна. Шашлык точится соком, Макс доволен. Валентин подсаживается к нам со стаканчиком.

– Глинтвейн здесь дрянь, – говорит он, – я как-нибудь угощу вас своим. Вино можно купить на рынке. А приправы у меня с собой. Вы где остановились? «Кармон»? Мы там же. Я с подругой, – говорит Валентин.

«Успокаивает Макса», – думаю я. И спрашиваю («и не думай, что ты мне так уж интересен»):

– Вы часто воруете?

– Нет, – отвечает спокойно, – не часто. Лыжи только второй раз. Прошлый раз год назад, на этом самом месте. Шел – стоят, дай, думаю, прихватчу. Ужас, да? Я вас шокировал? – Я пожимаю плечами, Макс смеется. – Еще я в ресторанах люблю обедать. Когда деньги есть, плачú, когда нет, не плачú.

После позорного вчерашнего возвращения отсиживаюсь дома, то есть в номере. Девоптица, растопырив зеленые крылья, глядит на меня укоризненно. Завтрак съеден, заняться нечем. Макс спозаранку ушел кататься. Я выхожу на дорогу и медленно бреду по направлению к горам. Собственно, горы везде, но слева и справа они неприступные, засыпанные снегом. А дорога – та самая, по которой автобусы и машины возят отдыхающих к подъемнику. В руке у меня булочка от завтрака, я вяло ее жую. Потом залезаю на склон и закапываю остатки булки в снег, торжественно

пришепывая: «О Боги Горы, примите мою малую жертву и будьте ко мне благосклонны! Разрешите мне завтра встать на лыжи».

Пока я спускаюсь, снег проседает подо мной, и я одной ногой проваливаюсь по самое бедро. Приходится встать на четвереньки, вытягивать ушедшую ногу и слезать бочком-бочком. Разогнувшись наконец, я замечаю на лыжне Валентина, он с любопытством наблюдает мои маневры. Ненавижу, когда меня застают за делами, которые никого не касаются.

– Ну? – Я смущена и рассержена одновременно.

– Нет-нет, я не виноват, – отвечает он, сделав нарочито серьезное лицо, – виноват не я. Что случилось-то?

– Что, к счастью, еще не случилось, – пытаюсь на всякий случай пошутить.

– А приятель твой где?

– А катается.

Валентин подбирается ближе и протягивает мне руку, взбираясь ради этого на склон, держа обе палки в другой руке. Из-под рыхлого снега выпрастывается длинная трава. Вдвоем мы гораздо более неустойчивая конструкция, с моей точки зрения, но не могу же я не оценить его усилий и принимаю помощь. Медленно-медленно мы сползаем вниз, на лыжню.

– Ты грустишь, – говорит Валентин, – это нельзя. Ты же не за этим приехала. Давай-ка я лучше тебя прокачу.

– Каким образом?

– А ты встань сзади прямо на лыжи. Да нет, ближе ко мне. А теперь обхвати меня, да крепче же, не бойся...

– Ну нет, – говорю я, сходя на дорогу.

– Экая ты недотрога! Ну ладно. Тогда подожди.

Он закидывает лыжи на плечо, и мы идем мимо облупленных двухэтажных домиков – по виду не поймешь, живет ли там кто или нет; палаток – в Москве в таких квас раньше продавался, а здесь то аптека, то крошечный гастрономчик; сумрачно глядящего мужика в телогрейке и лыжной шапочке – это здесь вроде национальной одежды. У гостиничного подъезда Валентин говорит:

– Побудь здесь, я зайду сменю экипировку.

И я сажусь на деревянную скамейку, втягиваю носом морозно-весенний воздух и удивляюсь сама себе: сижу здесь и жду неизвестно кого неизвестно почему, от дома далеким-далеко, вроде сама себе хозяйка, а внутри такая бесхозность, – и сладостно жалею свое сиротство.

Валентин является переодетый в цивильное. И останавливается на крыльце. Видимо, для того, чтобы все желающие имели возможность его рассмотреть. По мне, так его плащ до пят нелеп среди спортивных костюмов. Но Валентин достает сигарету, встряхивает кудрями, и начинается игра «замри»: застывают спортдевицы с лыжами на плечах, направившиеся было к дежурным извозчичьим «Жигулям», смолкают спорящие за клиентуру водители, и только толстая горничная, курящая возле дверей, обалдело подносит ему зажигалку. Валентин милостиво улыбается ей и направляется ко мне. Теперь и я в центре внимания, так и слышу, как шушат их мысли: «У, какого красавца отхватила!» Я беру Валентина под руку, и мы гордо удаляемся через чугунные ворота.

Мир за спиной отмирает:

– Ну, девушки, поехали! Лыжи сюда кладите.

И нам вслед доносится бодрое похрюкивание мотора.

Утоптанная, укатанная, уезженная дорога ведет нас под гору. Центр поселка – две гостиницы, наш «Кармон» и вторую, «Сувар», – мы уже прошли, и серое двухэтажное турагентство тоже, теперь пятиэтажки с оба-

ливающейся штукатуркой, опять палатки, какие-то мрачноватые сараи за проволочной сеткой. Навстречу прокатилось веселое семейство, у младшего лыжи сантиметров тридцать, но ничего, бойко так гребет палками. Еще один местный поглядел из-под шапки, словно приценился. Дальше только лес по обеим сторонам дороги, высокие ели. Заговоришь слишком громко – обвалится с лап застывшие сугробы, во всяком случае, так кажется, – и мы идем молча. Вот и хорошо, от светских бесед я устаю, а с этим странным Валяшей я почти незнакома...

Мы шли больше часа среди леса, единственный раз нас обогнала маршrutка.

– Поедем, нет? – высунулся небритый шофер. Мы покачали головами и снова остались одни на пустынной дороге. Потом между елями замелькали избушки.

– Университетцы, – сказал Валяша, – неплохо устроились!

– А? – Я вздрогнула, успев отвыкнуть от звука голоса.

– Это лагерь университета. Старый. На заре перестройки «Кармон» позвали финнов строить, потом денег не хватило, наши достраивали. А лагерь к тому времени уже лет двадцать как стоял. Они тут старожилы. И ничего, неплохо сохранился. Все. Пришли, нам туда.

Неподалеку от лагеря, но отдельно – совсем другой стиль – странное здание: словно половина каменного мячика. Перед входом две круглые штуки – летом, наверно, клумбы. Никакой вывески. За тяжелой деревянной дверью – странная смесь домашнего и казенного интерьера. На стенах общепитовские красно-золотые бра, потрепанная новогодняя мишура, пара немых телевизоров на кронштейнах. Прямо у входа – бар, но за стойкой никого. В углу камин с красноватым, плывущим по углям светом, диван с потертыми подушками, на них устроилась девочка лет пяти, играет с кошкой. Завидев нас, дитя неторопливо поднимается и уходит в задиванную тьму. Пока мы осматриваемся, приходит хозяин, толстый, профессионально радушный Анвар. Он тут же рвется обнять нас обоих, а может, и расцеловать. Я теряюсь: мне не хочется попадать в его могучие объятия, а откровенно уклониться кажется невежливо. И вдруг абориген вспыльчив? Валяша спасает положение, вовремя придвинув мне стул. Я успеваю заметить, как он обменялся с хозяином взглядом, и тот кивает с понимающей миной. Анвар сулит нам какие-то сверхъестественные колбаски, разливает красное вино. В камин подброшены свежие поленья, они похрустывают в огне, я отогрелась, слегка захмелела, и мне наконец становится весело.

Хозяин, видимо, считает своим долгом развлекать нас перед основным блюдом:

– Здесь у нас маленькое местечко, да. Люди хотят встретиться. А где? Друг друга все знают. Хочу сделать ресторан, много входов, чтоб каждый мог отдельно войти. Пришел – посидел с кем хотел, вышел – никто тебя не узнал. Да. Жена не одобряет. – Он произносит слова с акцентом, который я тысячу раз слышала в анекдотах и думала, что в природе такой не встречается. – Сердится на меня, говорит, о любовнице своей думаешь. Я ей говорю – зря так говоришь, себя огорчаешь, меня огорчаешь. А она все равно сердится, не хочет теперь со мной говорить. Но скажите вот вы мне: разве может мужчина всю жизнь с одной женщиной прожить, о другой не подумать, а?

Я утыкаю нос в бокал, Валяша делает выразительную морду: мол, не могу на такой вопрос при даме ответить! Анвар тяжело вздыхает, качает головой. Потом оборачивается и что-то непонятное кричит – на зов пришел мальчишка с вороватыми глазами, Анваров сын.

– Проводи гостей наверх! – велит отец ему и нам заодно. – Покажи второй этаж. Здесь – для всех зал, там – отдельные буду делать.

Мальчишке явно неохота, да и нам тоже, но нельзя отказаться, и мы процессией по скрипучей узкой лестнице отправляемся смотреть будущий приют любовников. Мальчишка для проформы помахал рукой, вот,

мол, а дальше сами – и быстренько спустился обратно. А мы с Валяшей стоим на пороге пустого зала. Пахнет свежим деревом. Строительство еще не кончено, пол засыпан стружками, посередине единственная достопримечательность: из полукруглого потолка-купола выходит толстенная медная труба. Мы, как исправные туристы, рассматриваем ее внимательно, обходим вокруг. Я кладу ладони на блестящую розово-металлическую поверхность. Валяша тоже – и мы ведем хоровод на двоих. Труба теплая, стружки шуршат под ногами, Валяша молчит. Мне вдруг становится не по себе, и я первая опускаю руки.

– Пошли, что ли.

– Пошли, – тут же соглашается Валяша, но остается стоять. Я прохожу сбоку от него, и вот мы возвращаемся вниз, наступая осторожно на подрагивающие, словно с непривычки, деревянные ступени.

На тарелках фырчат жареные колбаски, источают запах травы-приправы – и рот мой наполняется слюной. Бог ты мой, как я проголодалась! Хозяин деликатно покидает нас, оставив самостоятельно наслаждаться трапезой. Правда, уходя, мимоходом включает звук у обоих телевизоров. Но Валяшу это не смущает. Он вдруг стал разговорчив и рассказывает не умолкая что-то о своем житье в Париже, о тамошних ресторанах и тамошних девицах, как он чуть было не женился на богатой наследнице, но в последний момент затосковал и вернулся на родину. Я сосредоточенно приканчиваю свои колбаски, очень жирные и зверски вкусные. Пальцы у меня тоже в жире, и я принимаюсь искать салфетку. Телевизоры выдают что-то душещипательное. Ведущий с вкрадчивыми интонациями психиатра задает свой вопрос, и его длинноногая «гостья», как он ее называет, пускается в воспоминания о романтической встрече:

– ...необыкновенный во всем, понимаете? У него был такой взгляд...

Валяша, заслышав это, вскидывается:

– Ха! Я могу сделать такой за несколько секунд.

Я не нашла салфеток и потихоньку под столом вытираю пальцы об скатерть.

– Не веришь? Не веришь? – спрашивает Валяша, но я занята и не отвечаю.

Я наконец вытерла пальцы, теперь могу обратиться к вину, не рискуя оставить на стекле безобразные отпечатки.

– Ну смотри тогда! – требует Валяша, и мне ничего не остается, как поставить бокал на стол и взглянуть на него. Он убирает улыбку, медленно опускает веки... потом снова поднимает их, так же медленно. Лицо его стало серьезным. Он смотрит на меня внимательно, сосредоточенно, прямо в глаза – и я невольно отвечаю ему тем же, он чуть опускает ресницы, взглядывает мимо, потом опять на меня – и я чувствую, как у меня холодеет в горле, – его взгляд начинает наполняться, как песочная ямка водой, печалью, нежностью и – невозможно ошибиться – желанием...

– Перестань, – говорю я.

– Ну что? – спрашивает Валяша и сам удовлетворенно отвечает: – Получилось, я по твоему лицу вижу, что получилось.

– Ладно, – говорю я, – нам пора.

– Спрачь кошелек, женщины, гусары с женщин деньги не берут, – дурчится Валяша, слегка пародируя горский акцент, но не забывая на всякий случай поглядывать на подошедшего невозмутимого Анвара, и добавляет тихо для меня: – Во всяком случае, не сегодня.

Воздух морозный, но в то же время мягкий. Даже здесь, где все в снегу, чувствуется, что зима уже кончилась. Я оглядываюсь – и вдруг думаю: «Вот бы удрать сейчас!», но вокруг лес, горы, дорога только одна – далеко

не убежишь. Да и такие сцены не в моем вкусе. Так что я смирилась, и мы, сытые, побрели не торопясь обратно вверх, поскрипывая снегом. Но успели пройти совсем немного, как сверху показался движущийся нам навстречу лыжник... нет, лыжница, долговязая девица с выбившейся из-под шапки белобрысой челкой и лицом заспанного подростка.

– Привет! – сказала она, наклоняясь с высоты своего роста и небрежно целуя Валяшу. Я неожиданно для себя смутилась. Валентин бодро представил нас друг другу:

– Это Кирке – это Аля.

Белобрысая протянула руку, одновременно высоко подняв брови, но промолчала. Так что на этот раз я ограничилась простым «очпрятно», благодарно опустив привычные заготовки объяснений насчет моего экзотического имени.

– Я на Эльбрус, – сказала Аля, вдев руку обратно в кожаную петлю палки.

– Я к тебе попозже, может, присоединюсь. А если не встретимся, то до вечера. – Валяша по-хозяйски взял ее за локоть и подтолкнул. – Давай! – И длинная фигура, качнувшись, отправилась вниз по лыжне.

Стараясь задавить невесть откуда взявшегося червяка ревности, я сказала:

– Она интересная. Очень красивые руки.

Поскольку Валентин молчал, я продолжила:

– Валя и Аля – хорошо звучит, как будто из детской книжки: приключения Али и Вали в стране гор.

– Не впадай в лирику, – прервал Валяша, – я ее брошу, как только приедем в Москву.

– Почему?

– Да мне вообще больше трех раз неинтересно, а с ней я и так уже второй месяц.

– А тогда зачем ты вообще с ней?

– Богатая, – беспечно ответил Валяша. – Я люблю, когда все красиво. А для этого нужны деньги, понятно?

– Убедительно, – согласилась я.

– Ладно тебе, – сказал Валяша, толкнув меня в бок, – зато ты отвлеклась, не куксишься, как с утра, ведь точно?

12

На следующий день я неохотно – но раз приехала, так надо кататься – напяливаю лыжные ботинки. Макс такой спортивный, ладный, я рядом с ним, как корова на льду, но – прочь сомнения! – бодрюсь и подтягиваюсь. «Жигули» – потому что мы опять проспали рейсовый автобус – докатили нас до горы.

Небо пронзительное. На маленькой горке тренируются раскоряки-начинающие. Внизу в два ряда напротив друг друга кафешки-палатки на два-три столика. Несмотря на их количество, все жаждущие питаться внутри не помещаются, и наружу выставлены столы и лавки.

Мы пьем тузлук – что-то вроде простокваши с чесноком и местными приправами – прямо на улице. Сугробы утыканы палками и лыжами – белые дикобразы.

– Знаешь, – говорит Макс, – мне надо усовершенствовать технику, поищу инструктора, заодно и ты потренируешься. Час ты, час я, хорошо?

Я киваю. Не буду мешать Максиму заглаживать вину. Ни в каком совершенствовании техники он не нуждается ни на полнотя, но старается ради меня и хочет быть деликатным. Он уходит искать инструктора, а я размышляю о том, что мне с ним повезло. Макс, конечно, не интеллектуал, но добрая, добрая душа. И, поскольку ему все удастся практически не-

медленно, то и инструктор находится тут же – он, собственно, сидел с нами за одним столом, можно было никуда и не ходить. Его зовут Михал Михалыч, в подтверждение чего он достает из кармана затертое удостоверение со старой фотографией, на которой у него еще есть волосы. «Махалыч» – называю я его про себя и следующий час провожу под руководством Махалыча на десятиметровой горке для начинающих, пытаюсь освоить торможение. Он кричит мне в спину какие-то инструкции – бесполезно, я еду вперед, вниз, туда, где Макс сидит, попивая коньячок из специальной фляжки, – он носит ее во внутреннем кармане куртки. Сейчас она стоит на деревянном столе, и у нее на серебряном боку ослепительно горит крошечное солнышко. Я смотрю на улыбающееся и родное лицо Макса, он радостно машет мне рукой – и через секунду я на боку, и снег уже не под ногами, а под щекой, и небо стоит вертикально.

13

Спящее небо лежит на вершинах гор.
 А в бистро и за полночь тянется разговор.
 Путник, скорее сюда обрати свой взор,
 Ибо здесь ты отыщешь то, что давно искал:
 Радует изобильем накрытый стол,
 Алые вина, пенясь, бегут в бокал.

Первые буквы выделены жирно – САПИРА. Стих написан углем на картонной стене маленького бистро в двух шагах от «Кармона». Мы его обнаружили случайно – оно работает только по ночам, потому что по ночам не работает милиция, а днем Сапира его закрывает – чтобы не платить налоги. Картонный короб весь изнутри исписан: «Привет из Минска!», «Натка, не грусти», «Попробуйте хичины с картошкой», «Сапира, спасибо, мы приедем через год», «Пожар в Хижине 13». Ниже нарисован параллелепипед, из которого выходят черные спирали.

Я примащиваюсь и тоже пишу – почти под столом.

– Можно прочту? – спрашивает Макс.

– Не сейчас.

Рядом с маленьким прилавочком электроплитка.

– Хичины будете?

– Мне с мясом.

– А мне с сыром, – говорю я.

Сапира раскатывает на деревянной доске тесто. Начинив его и после этого еще раз раскатав, кладет толстенький блин на сухую, без масла, сковороду. Конечно, она спрашивает, почему у меня такое странное имя – будто бы у нее не странное! – и я излагаю ей с самого начала всю историю про прабабку-гречанку, деда-поляка и революционную иммиграцию. С удовольствием рассказываю, хотя моя родословная мне уже порядком надоела. Сапира слушает и кивает не глядя, раскатывая следующий хичин. Горячая сковорода пахнет теплом, воздух над ней стеклянно колеблется. Теперь моя очередь спрашивать. Сапира не горянка, она еврейка, училась в Минводах в педагогическом. Потом вышла замуж – и переехала сюда. Немного поработала горничной в «Суваре», но любит сама себе быть хозяйкой. Муж ее водит здесь машину, это как раз он-то нас и вез на своих гремучих «Жигулях», жаль, мы не знали – было бы не так страшно. С тех пор мы его не видели – в бистро он не заходит, здесь Сапирино царство и свои порядки.

Вваливается дядька, толстый, черный, как горец, но не местный, турист, потому что на нем не телогрейка, а дорогой лыжный костюм. Дядька здорово навеселе.

– Здесь сигареты есть?

– Есть. Вот на прилавке. – Сапира и не думает скрывать свое неудовольствие.

– А еще что есть? – спрашивает он, разглядев за занавеской наш столик.

– Ничего.

– А там что?

– Мои гости, кого я приглашу.

– Я тоже хочу хичин!

– А вас я не приглашаю. Если вам нужны сигареты – покупайте и уходите.

Мужик еще раз глянул за занавеску, однако, кроме Макса, за столом сидит и разбойник-Анзор, его почти не видно, он в углу, но из-под стола торчат его сапожищи сорок шестого размера, – мужик подумал-подумал, забрал сигареты и молча ушел.

Мы все засмеялись.

– Ловко вы его выставили!

14

Через секунду дверь открывается снова и на пороге – кто бы мог ожидать – Аля и Валя, оба хохочущие, отряхивающиеся, как собаки после воды, – вокруг них сиянье веселья и летящего во все стороны снега.

– О! О! Какие люди! – В восторге Валяши невозможно заподозрить неискренность, хотя я на минуту вспоминаю его фокусы в кафе и думаю: «Все подделка». Мягкая альбиноска Аля тихо подсаживается ко мне.

– Привет, – говорит она. – Вино хорошее сегодня?

– Теперь мы вас не отпустим! – заявляет Валяша. – Куда вы подевались?

– Да мы теперь внизу, – говорит Макс, – она вот учится, а я совершенствуюсь.

Сапира улыбается Валяше, он делает на лице выражение «я игриво подмигиваю». По этой их переглядке понятно, что Валяша здесь завсегдатай. Сюда ведь все приезжают не надолго. И за отпускной месяц взахлеб проживают праздничную жизнь. Довольно и симпатии – со второй встречи люди становятся друзьями. А с третьей – лучшими друзьями (быстрей, быстрей, время не ждет!).

Сапира ставит на стол красное вино в двухлитровой пластмассовой бутылки с этикеткой «Кока-кола». Начинается болтовня, за столом, кроме нас, еще сидит врач из Москвы, и Анзор с Валяшей затевают спор, кто больше знает анекдотов про медиков.

– Терапевт все не может решить: «Утка или не утка, утка или не утка?» Она пролетает.

Они слегка подкальвают офтальмолога, но мужик попался добродушный, не обижается.

– А хирург, чуть заслышав шум, бабах из двух столов и кричит патологоанатому: «Вась, проверь, утка или не утка!».

Пачка сигарет падает на пол, мы с Алей дружно лезем под стол, сталкываясь коленками, и смеемся там вместе.

– Вместе, вместе, теперь мы вас не отпустим! – кричит Валяша, и Макс кивает: конечно, конечно.

15

Я просыпаюсь от непривычного ощущения покоя и блаженства. Макс лежит рядом, у него сонное лицо. Странное дело – прислушиваться к дыханию спящего. Спящий безопасен и беззащитен. Я чувствую себя ужасно взрослой. Наверно, это называется «материнский инстинкт». У Мак-

са, пока мы здесь, отросли волосы, теперь видно, что у корней они темные. Я как-то сказала, что определенно предпочитаю блондинов. Просто так, когда мы только познакомились и я думала, что мы друг другу ну никак не подходим: я, такой синий чулок, и он, такая золотая молодежь. Думала, он от меня отстанет – мол, не в моем вкусе, мне подавай блондина, – а он взял да покрасился. Подкупил меня, в общем.

И вот лежит и дышит рядом этот спящий молодой человек, которого я почти и не знаю – что такое три месяца? – к тому же что называется «не моего круга», я даже не всегда понимаю, что его радует, что огорчает. Не просыпаясь до конца, Макс протягивает руку и тянет меня к себе. Я ложусь рядом, он обнимает меня, привычно, как дитя свою постельную плюшевую игрушку. Я на секунду огорчаюсь – в его жесте совсем никакой страсти. Все так мило, что практически бесполо. Но потом я думаю: может, так и надо, зато спокойно, всем спокойно и хорошо, – и целую Макса в мягкие сонные губы.

По утрам инструктор Махалыч будит нас, стуча в гостиничную дверь. Макс открывает ее – и бегом обратно под одеяло. А Махалыч стоит в дверях – просто Укор собственной персоной – в своем синем спортивном костюме и уговаривает нас, как малых детей:

– Пора вставать, а то всю погоду проспите.

Я совершенно не представляю, как вести себя в этой ситуации, и чувствую себя глупо, лежа в кровати под его взглядом. Макса, наоборот, это забавляет. Он с удовольствием изображает капризное дитя и умоляет дать ему поспать еще полчаса. Наконец инструктор удаляется, взяв с нас твердое обещание, что через час мы железно будем на горе.

Макс не покидает меня и с упорством твердит, что ему надо совершенствоваться. Махалыч поддерживает, хотя, по-моему, Макс катается лучше него самого. После того как я всласть нападаюсь и взмолюсь о пощаде, они на подъемнике отправляются наверх и вдвоем съезжают, если так можно выразиться, с нижней вершины – с самой первой, выше которой Кругозор. А выше всего – Мир.

16

После обеда мы с Максом отправляемся играть в пинг-понг. Я играла последний раз сто лет назад, в доме отдыха с мамой. Мне было лет пятнадцать, наверно.

Мы минуем бильярдный зал, полупустой в дневное время, но прокуренный навсегда. Приезжих почти нет, местные мужики лениво гоняют шарики и так же, вроде бы нехотя, здороваются:

– Привет, Макс.

Меня словно нет, они задевают меня краем взгляда и тут же отворачиваются.

Два зеленых стола стоят перед десятком рядов потертых коричневых кресел: здесь, видимо, когда-то был кинозал. Но с приходом эпохи видео на третьем, самом шикарном, этаже поставили в номерах плееры, и кино ушло из «Кармона».

– Пожалуй, я буду играть левой рукой, чтобы на равных.

Я радуюсь возможности обидеться.

– Тогда и я буду левой. Я ведь все равно не умею, так что мне хоть правой, хоть левой.

Рядом с нами – пок-пок-пок – играет пара местных, пока один не уходит. Но второй остался, стоит, похлопывает по руке ракеткой, поглядывает в нашу сторону.

– Ну хватит, – говорит Макс.

Я запыхалась, и у меня кружится голова, но признаться, что я устала? Ни за что!

– Я не устала, я хочу еще поиграть.

– Знаешь, давай-ка на сегодня закончим, – говорит Макс неожиданно твердо и (думаю про себя) «мужественно» и направляется к тому, оставшемуся без пары. Они тут же берутся стучать: пок-так-пок-так. Я сажусь в кресло этого кинотеатра, Макс поворачивается на секунду ко мне и мимолетно улыбается. И тут же не глядя отбивает прилетевший шарик – пок! – какие точные движения! Но вместо радости я чувствую, что совершенно опустошена, выпотрошена, уничтожена. Зачем я здесь, среди этих людей с их играми, в которые я не умею играть?.. Я поднимаюсь и, прилично попрощавшись, ухожу. Впрочем, никто не заметил, что у меня глаза на мокром месте. Пок-так – игра идет своим чередом. Я одеваюсь в номере и обхожу вокруг «Кармона» – потом вокруг «Суvara» – потом опять вокруг «Кармона». К ночи сделался мороз, снег под фонарями разбегается зелеными искрами. Может, к Сапире? Нет, одной не хочется. Без Макса все кажется таким чужим и пустынным. Я ложусь спать, так и не дождавшись его.

17

Я в гостиной третьего «традиционного» этажа. Большая «финская» гостиная, с белой мебелью и черным кубом неработающего, но красивого камина. Низкая одинокая лампочка на длинном шнуре, прикрытая серебристым конусом, едва заметно покачивается, и круг света опасно балансирует на краю стола. Вечер – барское время, как говорит Макс. То есть все отправляются по барам и ресторанам. А те, кто здесь исключительно ради спорта, уже спят. Я смело рассчитываю на уединение. Уселась в углу дивана.

Из темноты коридора ко мне подходят белые брюки.

– Скучаешь? – говорят они.

– Ты что здесь делаешь? – спрашиваю я. Валяша опускается, садится рядом, попадая в свет и обретая видимость. Водолазка не черная, а темно-синяя, ткань слегка мерцает.

– Гуляю, – говорит он. – Я киплингковский кот, гуляю сам по себе.

Он достает из кармана заколку для волос, женскую, по-моему, и привычным жестом собирает волосы в хвост сзади.

– А ты чего одна?

Я решила надерзить (все-таки он как-то неприлично красив):

– Видишь, книжку читаю. Тренируюсь, чтоб не забыть, как буквы пишутся.

Валяша помолчал.

– Ты умеешь целоваться?

– Тебе-то что?

– Нет, ты скажи.

– Ну никто не жаловался до сих пор.

Валяша кладет руку на спинку, устраивается поудобнее и заводит разговор:

– А я люблю. Это, знаешь, со всеми по-разному. Бывают мягкие губы... но большинство женщин не умеет целоваться.

Рука его все там же, на спинке. А сам он наклоняется вперед – я не без любопытства жду – и осторожно прикасается к моей щеке. Губы, правда, очень мягкие, теплые и совершенно сухие.

– А так? – И он снова целует меня в щеку, но на этот раз приоткрыв губы, так что я ощущаю кожей прикосновение внутренней влажной поверхности.

– Ну? – требовательно спрашивает Валяша. – Не замирай, ответь, как лучше?

Я честно задумалась.

– Пожалуй, в первый.

– Хорошо. А так? – И, придерживав рукой мой затылок, он целует меня в уголок глаза приоткрытыми губами. – И вот так. – Поцелуй в другой глаз сухими и сомкнутыми. Теплый подбородок с вечерней щетиной прикасается к моей щеке, и я вдыхаю слабый запах одеколона и мужской кожи.

– Сухими лучше? – не унимается Валяша. – Ну отвечай же!

Мысли у меня слегка смешались, но я беру себя в руки и отвечаю сухим «исследовательским» тоном:

– Нет. На этот раз лучше, когда приоткрытыми.

Валяша ликует.

– Ну вот! Ну вот! Я же говорю – чувствительность везде разная! А разве кто об этом думает? Ну теперь ты меня.

– Валь, тебе это зачем? – спрашиваю я.

– Скучаю, – говорит он, взяв меня за обе руки. – Давай!

Минут через пятнадцать мы отодвинулись друг от друга.

– С толком елозишь, – сказал Валяша.

Я поправила диванную подушку у себя за спиной и принялась за книжку.

18

Веселенькое дело! Мы возвращаемся с горы – воды нет. Ни горячей, ни холодной – никакой. Дежурная по этажу неумолима. Что-то с напором. До нашего этажа не достает и раньше завтрашнего дня не достанет, и не просите. В подтверждение своей решимости она прихлопывает ладонью лежащие перед ней бумаги. Можете идти к администратору, но она ничего другого не скажет.

– Что же нам делать?

– А вы сходите на этаж ниже, там вода есть.

Я в отчаянии. Что, вот так постучаться в дверь и сказать, что очень надо помыться? Макс смотрит на меня – и вдруг начинает хохотать.

– Что, что? – Я возмущена. – Что смешного, скажешь ты мне наконец?

– Очень грязная, – хохочет Макс, – у чукчи жена: француженка, очень грязная, каждый день моется. Скажи, что ты француженка, пусть они тебя пустят!

И он так смеется, что даже суровая горничная отпустила поджатые губы и улыбается. Я тоже улыбаюсь. Макс обнимает меня за плечи и говорит:

– А правда, сходи к ребятам.

– Неудобно.

– Не выдумывай, родная.

Я спускаюсь вниз по лестнице. Можно было бы на лифте, но у меня такое чувство, что человек из номера, в котором нет воды, должен идти пешком. Я иду к Але. Дверь в номер не заперта, я вхожу. Да, вода здесь есть – слышно, как она шумит.

– Валя, ты?

– Нет, Аль, это я. У нас воды нет. Никакой. Совсем! – кричу я в закрытую дверь ванной.

– Да ты зайди, зайди, а то не слышно.

Я сажусь на низенькую лавочку. Аля высовывается из-за занавески.

– Воды, что ли, нет?

– Ага.

– Здесь вечно! Я в прошлом году жила на пятом, там вода вообще была только с утра и вечером. Я поэтому сразу сказала, в этот раз – только на второй. Да ты залезай.

– Что, прямо так?

– Не, разденься сначала, – фыркает Аля, занавеска задергивается, потом отдергивается снова. – Чего ты, давай сюда быстрее, а то будет тебе обед без душа.

Я встаю рядом с Алей в эмалированное плоское корытце. Посредине, над нашими головами, крепится допотопный душ, изогнутая железная трубка с конфоркой на конце. Круглый сток для воды в углу, а над ним в стену вделано зеркало. В нашем номере такого нет. Большое от потолка до пола, в пятнах и побезалостях ржавчины. Мы отражаемся в нем сквозь пар и разводы. Какие разные тела, словно с разных планет. Алино тело все белое – кроме лица и кистей, покрытых темным горным загаром. Длинные плавные руки и ноги, гладкие лопатки – все мягкое. Мое рядом с ним кажется желтоватым, хотя я никогда не была особенно смуглой. Как песочные часы – размахнутые плечи, бедра-кlesh...

– Нравится?

– Да, отличное зеркало.

– Валяша любит.

– Он придет? – киваю на дверь.

– Нет, – говорит Аля, – он теперь до вечера не придет. Он, знаешь, нашел тут одну девицу, вчера приехала, метиска. Ему такие по кайфу, он после обеда поведет ее кофе пить.

Я смотрю на нее.

– А ты?

– Я нормально. У меня не безумная любовь.

Она намывает и трет старательно локти. Я тоже тру свои.

Аля говорит:

– Понимаешь, я люблю одного. Уже лет шесть, да, мы с ним как раз весной познакомились, он женат, и я знала, у него дети, он не уйдет от них, понимаешь, а я – не могу я быть все время одна, а Валяша, он красивый, и весело с ним, да вот видишь... А ты? Ты Макса?

Я молчу, опускаю глаза. Внизу капли ударяются и упруго подпрыгивают вверх, прежде чем рухнуть и растечься окончательно. Мы стоим, и вода из душа падает между нами. Я поворачиваюсь к зеркалу. Стекло совсем запотело, мы едва различимы – смотрим на отражения друг друга. Потом делаем шаг под душ одновременно и обнимаемся. Нам на головы льется вода.

19

В последний день – это Макс решил загодя – он попросит Махалыча поставить трассу.

– Ну трассу, палки такие с флажками, чтобы нужно было поворачивать в определенных местах. Ты что, не видела никогда, хоть по телевизору?

Видела. Но я думала, это только на соревнованиях. Где-то там, в другом, не моем, мире.

– А ты тоже так можешь?

Макс приближает меня.

– Могу. – У него улыбка довольного ребенка. – Я всю жизнь так катаюсь.

– Удовольствие дорогое.

– Я Валяшу возьму в долю. Он тоже хотел.

Я задумываюсь, сказать или нет, что Валяша – это «обещать – не значит жениться», особенно в смысле денег. Но потом решаю не лезть в мужские отношения.

– Махалыч нам все сделает. Все хотят заработать...

Махалыч говорит, ему одному не справиться, надо подмогу брать. Обещает попросить Мурада и добавляет загадочно: «Он все равно все время наверху». Кто этот Мурад, меня не волнует, у меня другая забота – я хочу перебить память своего поражения. Я так и не научилась толком кататься. Мои новые друзья не боятся – я боюсь. Посему постановляю: будь что будет, хоть на заднице, но спущусь с Мира. Теперь

остаётся только гордиться своей решительностью. Макс неожиданно легко соглашается.

– Ладно, – кивает он, – раз уж все равно платить Мураду, попросим его, чтоб он за тобой присмотрел.

20

И вот я второй раз на Мире. Раннее утро, народу еще мало, но «Приют» уже открыт. Из него выходит офтальмолог. Он немолод и грузноват, но его уверенные движения и отличные лыжи вызывают у меня приступ зависти – и страха. Офтальмолог в нашей компании, тоже поедет с Максом и Валяшей. То же маленькое плато. Я пристегиваю – на этот раз самостоятельно – лыжи. Макс и Валяша смотрят мне в спину. Махалыч ушел «проверить трассу». Мурад с лицом, похожим на круто остриженный венник, с нами.

Задувает, поднимается поземка.

– Не замело бы, – говорит офтальмолог.

– Сильно не будет, – отвечает Мурад.

21

Я пытаюсь ехать, но нет, с самого начала падаю три раза кряду, как младенец, только вставший на ножки. Все-таки слишком высоко, слишком страшно. Макс едет за мной. Понимаю, что он хочет на всякий случай быть рядом, но стесняюсь его ужасно. Мурад уже далеко впереди. Он не так красиво катается, как Макс. Он вообще не *катается*, он просто движется, спокойно и деловито, он и ходит, наверно, точно так же. Глядя на него, я заставляю себя оттолкнуться палками и почти тут же падаю снова. Макс притормаживает.

– Нет, – говорю честно, – не получается у меня.

Мурад возвращается. Кто-то проносится, сделав резкий вираж влево, мне становится совсем неловко: загородила всю дорогу людям.

– Тебя как зовут?

– Кирке.

– Как?

– Кирке.

– Значит, слушай, Кира, – решив не переспрашивать третий раз, говорит Мурад, – держись за меня и делай, как я. Все будет хорошо. Поняла?

– Да.

Макс смотрит на меня.

– Мне остаться?

Молчу. Мурад, умница, за меня отвечает:

– Да езжай, езжай. Мы тут с Кирой без тебя управимся.

– Да-да, ты поезжай, – говорю, и мне кажется, что голос мой звучит лживо. Макс чмокает меня в щеку и элегантно, как он умеет, скрывается из виду. Я остаюсь с Мурадом. Мимо, конечно же, то и дело проезжают, но у меня чувство, что я с ним один на один.

Он говорит:

– Ну что, сможешь сама?

Мотаю головой: нет.

– Тогда давай так. Я стану вот так, а ты сзади. Отдай палки мне, тебе не нужно. Обхвати меня руками, а лыжи поставь внутрь моих.

На нем толстая куртка вроде телогрейки. От него пахнет только потом – я ждала услышать запах табака, но его нет совсем. Я обхватываю Мурада сзади, стараясь сохранить дистанцию, насколько это в такой позе

возможно. Мы потихоньку трогаемся, я падаю тут же. Мурад останавливается, терпеливо ждет.

Никогда в жизни я не испытывала такого сильного желания все бросить разом: и лыжи, и этого Мурада, и даже Макса, – и сбежать без оглядки. Но нельзя. Если я второй раз спущусь с Мира на подъемнике с лыжами в руках – все. Это значит, что у меня нет права смотреть на мир. Есть только у них, модных девиц и крашенных парней, которым все равно, как звали Чехова.

Я опять становлюсь сзади.

– Слушай, смотри за мной и делай, как я. Давай! Я и не таких свозил, все получится, давай.

Мы во второй раз начинаем путь.

Мне страшно, мне скользко, мне слишком быстро. Я вжимаюсь в Мурадову спину, я вживаюсь в него, я хочу наполниться им, дышать одновременно с ним, напрягаться вместе с ним и расслабляться, когда он. У меня не получается, я отрываюсь от спасительной Мурадовой спины и кубарем лечу в снег. Иногда в одиночку, иногда мое падение увлекает нас обоих. Но Мурад снова встает надо мной, спокойный, безразличный к моему стыду и усталости, и протягивает руку («Ну, давай!»).

Белая поблескивающая мгла застилает глаза. Это тело мне незнакомо. Далеко вниз уходят ноги, гудящие, как телеграфные столбы. Руки, кольцом обхватившие человека передо мной, разве они мои? Я опять вращиваюсь в Мурада, я хочу пустить в него корни, чтобы мы стали единым дыханием и единым движением. И вдруг – удалось! – я попадаю внутрь несущего нас ритма и, на мгновение отрешась от владеющего мной ужаса, вижу справа в белесой мгле едва оторвавшееся от склона солнце. Ветер,двигающийся вместе с нами, издает какой-то странный звук, свистящий шум...

22

– Осторожно! – сказал Мурад. – Сейчас повернем.

Я вспомнила про тело. И тут же поплатилась за это. Еще долю секунды мы неслись вниз. Слева из-под снега выступили черные валуны – ноги у меня дрогнули, и мы полетели, переворачиваясь через себя.

Я – на склоне, на боку, одна лыжа куда-то отлетела, а руки разброшены в стороны. Потихоньку приподняла голову, обернулась. Мурад лежал рядом с камнями. Я подумала: повезло, упали он чуть ниже, попал бы как раз на них. Потом подумала: нет, это он нарочно упал загодя, он же мастер. Он поднялся и подошел раньше, чем я сообразила, где моя вторая нога.

– Цела?

Я кивнула. Он спустился и выловил мою улетевшую лыжу.

– Теперь вниз ближе, чем наверх.

Мне уже все равно. Я молча пристроилась за ним. Обняла его.

23

Когда внизу появился маленький издалека кубик «Кругозора», мне показалось, что прошли годы, что я прожила целую жизнь, что, если я доберусь когда-нибудь донизу и взгляну в зеркало, увижу себя седой.

Мурад останавливается прямо перед деревянными ступенями станции и отделяется от меня, как ракета от ракетносителя. Я остаюсь стоять, удивляясь тому, что способна существовать отдельно.

Мурад снимает свои лыжи, помогает мне и только тогда спрашивает:

– Ну как?

– Как любовь. – Мне трудно шевелить языком, да и губы онемели от ветра. Я вижу по его лицу, что он не понял. И повторяю, громко и старательно выговаривая, как для иностранца: – Это было как любовь, – и целую его в край губ в рыжую щетину, думая про себя: ни-ко-гда-такого-не-будет-ни-с-кем. – Спасибо. Я тут постою капельку.

– Все в порядке?

– Да. Да. Все, правда, хорошо.

Он заходит в «Кругозор», погромыхивая ботинками по дощатому настилу. Я стою, прислушиваюсь к гуду в ногах. Голова кружится, слезы выступили, притом я совершенно, небывало счастлива. Я прислушиваюсь к себе – и внутри у меня разворачивается тишина.

Смутно я вспоминаю уговор встречаться на террасе. Топ-топ, сначала одну ногу, потом другую, топ-топ.

24

Мимо прошли к подъемнику какие-то люди, среди них рыжий Мурад в своей телогрейке, он заметил меня, помахал:

– Приезжайте к нам еще.

Я улыбаюсь приветливо и вежливо:

– Да-да, обязательно.

Чудо кончилось, мы снова чужие, как и должно быть.

Я пристраиваю лыжи возле скамьи, сажусь и смотрю через перила, в сторону, где дальний склон, по которому никто не ездит, на забирающие всё выше и выше белые складки и редкие черные пучки деревьев в них. Дует ветер, не слишком сильный, но ровный и непрекращающийся, словно он собирает теперь дугь всю оставшуюся жизнь. Горы медленно заволакивает молоком.

25

«Спящее небо лежит на вершинах гор...»

«Пожар в Хижине 13».

«Порядок в Хижине 13. Девчонки! Мы вас ждем!»

«Слово «спасибо» – первый слог слова «прощай».

«Натка, не грусти».

«Кто взял мои перчатки? Башку отверну».

«Привет Чегету от Чебоксар».

«Горы – это круто!»

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага».

«От Мира до Кругозора».



Сокровенные желания

РАССКАЗ

Девочка Ляйне никогда не приходила с пустыми руками. То принесет ластик и скажет: это тебе от братца Вяйне, то байковое одеяло и скажет: это тебе от сестрицы Хеллы, а то и просто пакетик с вилок капусты и головками лука – это уже от дядюшки Вилько и тетушки Ульрики, которые настоятельно просят тебя, Арве, хорошо питаться.

И хотя я часто злился на девочку Ляйне – мол, зачем она мне принесла ластик, лучше бы принесла карандашик, с его помощью хотя бы можно затыкать окна поролоном и нейлоном. Но, с другой стороны, что бы я делал без девочки Ляйне, не зайти она однажды утром или вечером и не принеси она однажды пакетик с вилок капусты и головками лука.

Ведь весь смысл моей жизни в том и заключался, что однажды девочка Ляйне придет ко мне вечером или ранним-ранним утром и воскликнет:

– Как?! Арве?! Ты разве еще не собрался? Ведь нам уже давно пора ехать к сестрице Хелле и братцу Вяйне на хутор в Финляндию. Я же тебе говорила! Ведь дядюшка Вилько уже отремонтировал ту часть дома, где мы с тобой будем жить, а тетушка Ульрика уже выхлопотала для нас визы.

Да, весь смысл моего существования в те холодные осенние вечера заключался в том, чтоб вот так лежать кверху пузом и мечтать о Лапландии. К тому же теплое одеяло от сестрицы Хеллы вполне заменяло карандаш, которым так удобно затыкать щели в окнах капроном или нейлоном.

Если я успевал дотемна собраться с духом и выйти из дома, а темнеет в этих местах осенью рано, то мне, Арве, удавалось немного подышать свежим воздухом и пообщаться со знакомыми. И день проходил не в одних пустых мечтаниях.

Чаше других на улице мне попадалась Ульрика, но не та добрейшая тетушка, а торговка семечками, что торгует у светящегося огнями «Детского мира», а еще рыбак Вялле и писатель Оверьмне. А иногда я, Арве, встречал девочку Ляйне, что выгуливала перед сном двух своих собачек, таких забавных, похожих на хомячков или сусликов...

А однажды, когда Арве был не в духе и когда к нему забежала девочка Ляйне, он спросил-таки ее: ну зачем ты мне подарила ластик, и она ответила: как, это не я тебе подарила ластик, а братец Вяйне, к тому же этот ластик из Финляндии, и он может стирать даже чернила, потому что это особый ластик.

– Ну посмотри, какой он легкий, Арве!

– Но у меня нет чернил, и нет карандаша, и даже угольков нет, потому что, ты же знаешь, я не разжигаю камин, – продолжал супиться Арве, хотя на самом деле в душе он уже был рад тому, что Ляйне принесла ему ластик, потому что ластик этот из Финляндии от братца Вяйне.

– Но ты можешь рисовать пальцами на стеклах, когда они запотеют.

– Но мои окна никогда не запотевают, потому что я не разжигаю камин. В общем, Арве был не в духе. И злился.

И на следующий день я был тоже не в духе, и тогда я решил подарить ластик, что мне принесла девочка Ляйне, кому-нибудь еще, ну, например, местному писателю Оверьмне. Они тогда шли по улице вдвоем – рыбак Вялле и писатель Оверьмне. О чем-то оживленно беседовали, точнее, рыбак что-то болтал, бултыхая у себя за щеками языком и размахивая нескладными руками, а местный писатель все больше слушал.

– На, – протянул я писателю ластик, – тебе нужнее.

– Зачем мне, у меня полно ластиков.

«И правда, – подумал я, – глупо предлагать ластик местному писателю».

– Но это особый ластик, – нашел я что сказать в следующую секунду, – он и чернила возьмет, если хорошенечко потереть. Все-таки из Финляндии.

– Ну это другое дело. Спасибо тебе, Арве!

– Да не за что, – улыбнулся я, ожидая новых благодарностей.

– Ну ладно, я пошел, – не стал утруждать себя писатель Оверьмне.

И действительно, будто вспомнив, что ему нужно писать, местный писатель Оверьмне, быстро шаркнув на прощание своей мускулистой рукой об асфальтную руку Вялле и хлопнув по плечу Арве, удалился восвояси.

– Что-то он сегодня не в духе, – заметил Арве.

– Вот чудак человек, – сказал про писателя рыбак Вялле, – к тому же бездельник.

– Но сегодня явно он не в духе как чудак-человек.

«А в Финляндии нам будет жить хорошо», – подумал я, чуть открыв глаза. И тут пришла девочка Ляйне.

– Я, знаешь, что подумала, в Финляндии мы будем жить с тобой в летней комнате, что сейчас пристраивает к дому дядя Вилько, – принялась за свое девочка Ляйне, не успев закрыть за собой дверь, с порога. – Конечно, мы могли бы жить с тобой в общежитии, как другие студенты или рабочие ферм и заводов, но зачем нам жить в общежитии, если есть летняя комната. Нет, мы с тобой жить в общежитии не будем.

«А она не так глупа, эта девочка Ляйне, – думал я, приобнимая ее за плечи и радуясь в душе, – и правда, к чему нам жить в общежитии, если есть летняя комната. К тому же люди говорят, что лето в Финляндии очень теплое, да и зима тоже, ведь Финляндию омывает Гольфстрим».

– А мы точно найдем работу? – спросил я, радуясь в душе хорошо начавшемуся дню.

– Зачем нам искать работу? – возмутилась девочка Ляйне. – Мы будем с тобой работать в магазине у дядюшки Вилько. Нет, конечно, мы могли бы с тобой встать на биржу, как другие студенты, а пока получать пособие, но нам ведь с тобой деньги нужны сразу, а дядюшка Вилько не покусится, я-то уж знаю.

«А не такая уж и глупая эта девочка Ляйне, – еще раз изумился я. – Все правильно расставила – молодец. Деньги нам понадобятся сразу, чтобы платить за учебу на подготовительном факультете университета. Да к тому же так надоело бездельничать».

– А мы сможем с тобой учиться, как и другие финны, в университете?

– Ну, конечно, если тетюшка Ульрика выхлопочет нам нужные визы. А если даже и нет, то есть не сразу нужные визы, то мы сможем пока платить за свою учебу на подготовительном факультете университета, ведь деньги-то у нас будут.

– Молодец! Все правильно сообразила, – прижал я в сердцах девочку Ляйне к себе.

«Нет, больше не надо намекать девочке Ляйне про ее глупый подарок, – подумал Арве. – Напоминать ей про ластик. Ведь она такая добрая, ее лицо постоянно светится, как листья лопуха в лунную ночь (ведь листья лопуха так похожи на теплое одеяло от сестрицы Хеллы), как искря-

щаяся шкурка белочки, когда она юркает под одеяло за шишками. Она такая добрая, берет меня с собой в Финляндию и никого не боится: ни дядюшки Вилько, ни тетюшки Ульрики. Сваливает на себя и на них мои проблемы, а могла бы уехать в Финляндию одна – без меня».

А сегодня с утра девочка Ляйне не пришла ко мне, наверное, сегодня в школе важная контрольная или еще что-то, день сразу же как-то не удался. И я подумал, что надо начинать собираться на улицу, чтобы успеть выйти засветло и пообщаться с местным писателем Оверьмне или рыбаком Вялле. Или даже с Ульрикой, что торгует у «Детского мира и рыбок» рыбьиной едой. Ведь день в этих местах такой маленький, словно зернышко в черной скорлупе семечек. В общем, надо спешить, а то останется одна надежда на белоснежную улыбку Ляйне.

И еще я подумал: а все-таки они похожи – рыбак Вялле и местный писатель Оверьмне. Их нетрудно было спутать: рыбака Вялле и писателя Оверьмне. И тот, и другой частенько выходили на улицу в дождевиках или брезентовых куртках, чтобы что-то выискать на улице, пока там еще светло. Рыбак Оверьмне выискивал свое в воде, а писатель Вялле в воздухе. Но иногда рыбак Оверьмне поднимал наслонявленный палец к небу, а писатель Вялле подходил к пузырившейся слюнями воде и опускал в нее пронзительный взгляд.

Они даже в чем-то конкурировали, не могу только понять, в чем. Но про это мне рассказал охотник Ласле. В тот раз, когда я подарил ластик писателю Оверьмне, рыбак Вялле очень обиделся. Он даже купил бутылку водки и пошел жаловаться на меня Ласле. Мол, зачем этот Арве подарил ластик Оверьмне, ведь у того уже столько ластиков. Лучше бы отдал его мне. А я бы уж, Ласле, соорудил из этого ластика поплавки и, глядишь, поймал бы чудо-рыбу. А так...

И пока мне Ласле рассказывал про обиду Вялле, я вспоминал, как в тот день, когда я подарил ластик местному писателю, рыбак Вялле остался стоять под корявым дождем, обиженный до глубины своих глаз.

Странно, что Ласле в тот раз рассказывал мне не про охоту, которую любит больше жизни животных, не про то, как его пес теряется при охоте на белочек, ведь белочки так проворны, скачут с ветки на ветку, а он, Ласле, за это бьет своего пса прикладом ружья.

И только я позавтракал, оделся, умылся, как прибежала девочка Ляйне.

– Сбежала с французского, – сказала она, – зачем, ведь это не финский язык. Я вот подумала, что нам неплохо бы было начать учить финский язык.

– Ну и правильно, а я как раз собирался прогуляться. Может, вместе погуляем?

– Ну зачем нам гулять, лучше давай обсудим с тобой наши планы на жизнь в Финляндии.

– Мы могли бы обсудить это и на улице, раз я уже одет.

– Нет, на улице нам не даст толком поговорить рыбак Вялле.

– А я как раз думал о них: о рыбаке Вялле и писателе Оверьмне. Как они все-таки похожи друг на друга.

– Этот рыбак Вялле, он даже не подозревает, где мы будем с тобой жить в Финляндии. Ведь хутор дядюшки Вилько как раз находится на берегу озера Инари, а в этом озере столько рыбы. А писатель Оверьмне, узнай он, что мы едем в Финляндию, тоже бы обзавидовался. Обзавидовался и еще больше стал бы походить на рыбака Вялле. Ведь в Финляндии делают лучшую бумагу в мире, и, главное, не из своего леса.

А все-таки она такая славная, эта девочка Ляйне, словно еловые шишки в лапках белки. И сообразительная очень. Особенно когда после школы юркнет ко мне в постель. Только вот как мы будем выглядеть в глазах

ее тетушки Ульрики и дядюшки Вилько, не примут ли они нас за развратников и иждивенцев.

– А как тебе кажется, Ляйне, не слишком ли это большая разница в возрасте – десять лет?

– Да что ты! Дядюшка Вилько сам старше тетушки Ульрики на двадцать лет. А когда он на ней женился, ей не было и шестнадцати.

– Значит, ты думаешь, они нас поймут?

– Ну конечно!

Камин я не разжигаю. Кутаюсь в одеяло. Ведь для камина нужны дрова, а где их взять, если нет работы? Конечно, можно ночью нарубить деревьев в парке, как это делает старик Мерве. Но ведь он скоро будет наказан за свой мерзкий проступок. Заболит и умрет. А мне еще в Финляндию надо. А старику Мерве только на тот свет.

А может быть, я зря не разжигаю камин? Ведь девочка Ляйне мне принесла столько ненужных вещей: пальто, валенки, шапку, которые вполне можно было бы сжечь. Ведь темнеет в эту пору рано, и от этого становится тоскливо-тоскливо. А зимой, должно быть, темнеет еще раньше. Нет, зимой здесь нечего делать, а значит, и шапка с пальто ни к чему. Только ты соберешься на улицу, а там уже сумерки. Но и жечь пальто, валенки и шапку – это уже чересчур, ведь они стоят немалых денег, даже там, и к тому же они как-никак подарок из Финляндии. А подарки, пусть даже и ненужные, сжигать нехорошо.

Единственная радость, если в сумерках постучит тебе в дверь девочка Ляйне. И улыбнется улыбкой, похожей на огни универсама «Детский мир и рыбки». И от этого станет светло-светло. А потом девочка Ляйне скинет куртку и юркнет в норку под одеяло, словно суслик или хомяк... А нос у нее холодный-холодный, а под одеялом тепло. Нет, девочка Ляйне – белочка с еловой шишкой в руках.

А сегодня день совсем не задался. Только я открыл глаза, как в дверь ко мне постучали, но нет, не девочка Ляйне. Девочка Ляйне стучала совсем по-другому, словно грызла орехи из еловой шишки, и сразу же сама открывала дверь и рот с жемчужными зубками. А этот стук был сухой и долгий. Это стучал местный писатель Оверьмне.

– А это ты, Оверьмне! Проходи!

Конечно, я бы больше обрадовался девочке Ляйне, но и Оверьмне я тоже был рад, теперь мне не надо было быстро собираться и выходить на улицу, чтобы день не прошел в пустых мечтаниях.

– Ну чего стоишь в дверях, проходи.

– Вот не знаю, что мне теперь делать, – сказал писатель Оверьмне, – то ли принимать твое приглашение, то ли отказаться.

– Что за слова ты произносишь, чем я тебе насолил на язык? – настояжился я.

– Зачем ты сказал мне, что ластик стирает даже чернила, когда он совсем не стирает чернил, зачем ты меня обманул?

– Поверь мне, Оверьмне, я не хотел тебе подсолить. Подожди, тут какая-то ошибка, сейчас придет девочка Ляйне и все сразу же прояснится. Может, ты просто не умеешь им пользоваться.

– Чем, ластиком? – напрягся Оверьмне. – Да чего им уметь пользоваться? Ты что, издеваешься надо мной, Арве?

– Зачем мне над тобой издеваться, Оверьмне, какой мне в этом толк? Я сроду ни над кем не издевался.

– Не знаю, какой толк. Только вот кажется мне иногда, что вы все надо мной подсмеиваетесь, и ты, и рыбак Вялле, и охотник Ласле, и даже девочка Ляйне, как выясняется.

– Да ты не стой в дверях, ты пройди, ты сядь и расскажи, как тебе кажется, мы над тобой подсмеиваемся и какой нам в этом, по-твоему, толк.

Оверьмне прошел в центр комнаты и сел на стул, что рядом со столом, ведь в моей комнате, как и положено, всего один стул, для почетного гостя, когда он есть, и для меня, когда его нет.

– Только я сяду на свой стул рядом со столом, если, конечно, в доме нет почетного гостя, – начал писатель Оверьмне, – и начинаю писать, как мне кажется, будто рыбак Вялле подсмеивается надо мной под водой, а охотник Ласле за городом и даже за лесом. А потом я их встречаю и точно вижу, они надо мной подсмеялись.

– Ты подожди, подожди. Как же ты можешь видеть, что они над тобой подсмеялись, если они смеялись над тобой за городом с лесами или под водой с сетями?

– А вот только я им скажу, что написал новый рассказ, как они перебивают меня и наперебой рассказывают о своей удаче. Вот на прошлой неделе охотник Ласле рассказал мне, как в лесу в силки поймал то ли оленя, то ли лося... А ведь пару часов назад я только закончил писать рассказ про эту птицу – то ли олень, то ли лось, которую я сам и выдумал, будто она спасала наш Нижний Хутор от волков.

– То есть как это сам выдумал?

– А вот так вот. Сидел, грыз карандаш, как мышь, намазывал весь вечер бутерброды, а потом вот пришла ко мне мысль придумать такого зверя, то ли оленя, то ли лося. Будто тело у него то ли как у оленя, то ли как у лося, и голова тоже то ли как у оленя, а может, и как у лося, и будто этот чудо-зверь всегда помогает людям, предупреждает их об опасности.

А вчера пришла ко мне мысль написать рассказ про чудо-рыбу, что плавает только в морях, а тут вот взяла и зашла в реку-дорогу Йул. Будто это рыба ложится на свою жертву или приманку брюхом, будто у нее ус растет из подбородка и она этим усом землю роет. А еще будто у нее на голове украшения, как у наших девушек, из маленьких таких монеток, а чешуи очень мало, да и цвета она зеленого, как подводные елки.

И только я к утру дописал этот рассказ, как ко мне с утра явился рыбак Вялле и рассказал про чудо-рыбу, что попала к нему в сети. Похожая на треску, не треска, похожая на сома, не сом. Живущая, как сом, близко ко дну, ищущая, как треска, холодной воды, и что у нее, как у женщин, на шее и голове украшения, будто из мелких монет, и, как у старика Мерве, борода в один ус. Только зовут ее не Мерве, а налим.

– Ну и что, что поймал, а тебе-то что до этого? Не пойму я тебя что-то, Оверьмне.

– Так тогда какой смысл в моей работе? Ведь и так рыбак Вялле и охотник Ласле подсмеиваются надо мной, мол, я бездельем занят. Мол, лучше бы, чем рыбу выдумывать, пошел бы и поймал точно такую, глядишь, и семье польза была бы.

– Но я-то, Арве, так не считаю, я как раз думаю, что ты занимаешься не бездельем, особенно по сравнению со мной, а я-то уж точно бездельник, ну какой мне смысл над тобой подсмеиваться?

– А зачем ты подсунил мне ластик, что не стирает чернила? Ведь у меня теперь нет чистой бумаги, чтоб писать. Ведь я, Арве, на той тетрадке, что мне подарили на пасху, последний раз стал писать чернилами, произнося заклинания, чтобы выдуманная мной рыба в природе не существовала. Арве, зачем ты так поступил со мной? Арве, ведь я тебя никогда не обманывал. Ведь и ты же клялся в священной роще никогда меня не обманывать. Ведь мы же клялись никого никогда не обманывать.

– Да ведь и я тебя не обманывал, – растерялся Арве, – вот подожди, придет Ляйне и все объяснит.

– Как же не обманывал? Ведь я-то думал, что этот ластик, он точно может стирать чернила. А он-то, оказывается, вовсе не может стирать чернила и вообще он не из какой-то из Финляндия, а из нашего Верхнего Хутора. На нем даже цена написана, смотри: 2.50. Точно такие же ластик можно купить в магазине «Детский мир и рыбки», сколько хочешь...

– Ничего не вижу, подожди, ты чего-то пугаешь. Вот придет девочка Ляйне и все прояснит. Не может быть, чтоб этот ластик был не из Финляндии.

– Вот видишь, и ты надо мной подсмеиваешься. Как же этот ластик не может не быть из Финляндии, если на нем по-нашему написано и даже завод-изготовитель указан, вот читай: Верхнехуторский резиновый завод.

– Ничего же не видно, Оверьмне. Что ты мне показываешь, если уже темно и ничего не видно? Вот придет девочка Ляйне, и все прояснится. Потому что у девочки Ляйне лицо светится, даже в сумерках.

– Что прояснится? А?! Что здесь еще может проясниться?! А, Арве?

– Вечно ты что-нибудь придумаешь, Оверьмне! Знаешь, я что скажу тебе, Оверьмне. Зря ты выдумываешь всякие небллицы. Взял бы да написал рассказ с реальной жизни. Ну, например, про нас с Ляйне.

– Какой смысл писать про то, что уже есть?! Это неинтересно.

– Зря ты так, Оверьмне. В жизни так много интересного, ты же не знаешь, что с нами может произойти в следующую секунду. Вот, например, мы с Ляйне возьмем и куда-нибудь уедем от вас. Ты ведь не знаешь, какие у нас планы.

– Да какие у вас могут быть планы? Куда вы можете уехать? – только махнул рукой Оверьмне. – Разве что помрете ненароком.

– Типун тебе на язык, Оверьмне!

– Это тебе типун на язык. Я ведь тебя никогда не обманывал и не подсмеивался. А ты меня как подвел? Прямо к смерти моей подвел. Как мне теперь жить, раз меня все обманывают? На чем писать?

– Да подожди ты руки на себя накладывать! – испугался Арве. – Всегда можно найти выход из положения. Вот придет девочка Ляйне, и выход из положения найдется, в крайнем случае пойдем и нарвем тебе березовой коры.

– И где ты ее собрался надирать, не в городском ли уж парке? – скорчил язвительную мину местный писатель Оверьмне.

– Да хотя бы и там.

– Да ты что, ты что! – замахал руками Оверьмне. – Подсмеиваться над собой вздумал?! Грех-то какой, грех-то – надирать кору в городском парке!

– А что?

– Или ты подсмеиваешься над собой или ты с ума спятил, Арве, говорить такое себе позволяет только этот старый нечестивец Мерве, только он берет на себя такой грех – губить деревья в городском парке. Да и то люди говорят, что раньше он был колдуном и председателем лесспромхоза... А ты-то ведь со злыми духами, чай, не общаешься.

– Да брось ты, Оверьмне! Неужели ты и вправду во все эти рассказы веришь? Да, если вдруг окажется, что мы с Ляйне и вправду перед тобой виноваты, то я за милую душу пойду и нарву для тебя березовой коры в парке. Да, еще и березовых листочков. Не переваливать же нашу беду на тебя. Ведь переваливать беду – это тот же грех.

– Типун тебе на язык! Скажешь тоже – в городском парке.

– А что? У нас все равно топить нечем. Заодно и дров на зиму припасу. Но это только, если Ляйне чего-то напугала, да ты подожди, не пугайся. Вот придет девочка Ляйне и все расставит по своим местам.

– Побойсь Юмалы! – взмолился Оверьмне. – Да не надо мне твоей березовой коры! У меня ведь еще листы бумаги есть, ага. А на чем я, потвоему, писал до того, как мне одна девочка нашего хутора подарила тетрадку? До этого я как раз писал на тех листах и как раз карандашом. Теперь я достану эти листки из короба и сотру все свои сокровенные мечты.

– Так, значит, ты на тех самых листках написал свои сокровенные желания к Йюкки, положил их в дубовый бочонок в ожидании исполнения, а они пока еще не исполнились? Нет, Оверьмне, я не могу так с тобой поступить, ведь твои желания так и не исполнились. Уж лучше я пой-

ду и надеру березовой коры в городском парке. Ведь если ластик и вправду окажется не из Финляндии...

– Да ты что?! Тогда мои желания и подавно не исполнятся.

– Но если мы свалим свою беду на тебя, то и наши сокровенные желания не исполнятся.

– Да никакие это и не желания были, а так – мечты. Ты ведь знаешь, что заветные мечты и сокровенные желания – это совсем разные вещи.

– Если ластик окажется не из Финляндии, то вполне возможно, мои сокровенные желания и твои заветные мечты как-то связаны. Ведь и тем, и другим не суждено сбыться. Ну если девочка Ляйне что-то напутала! – грозно помахал похожим на одностоволку пальцем Арве.

– А вот послушай, раз им уже все равно суждено не сбыться. Когда-то, когда ко мне ходила одна девочка нашего хутора, это было давно, а однажды она подарила мне тетрадку, а я подумал, раз она мне подарила такой шикарный подарок – эту тетрадку, значит, она, должно быть, очень богатая девочка, раз у нее есть деньги на такой шикарный подарок. А как ей быть богатой в нашем-то Нижнем Хуторе, и тогда я придумал, что у нее, может быть, есть родственники в Финляндии. Ведь только в Финляндии могут делать такие хорошие тетрадки безбоязненно. Ведь только там есть бумажные заводы, сырье для которых привозят из лесов других стран. Вот тогда я и написал этот рассказ-мечту. Конечно, хотел бы я, чтоб это был не рассказ-мечта, а мои сокровенные желания. Тогда бы, возможно, они и сбылись. И эта особа, имя которой я, конечно, не могу сейчас открыть, полюбила бы меня. Ну ты, Арве, понимаешь, почему имя этой особы я не могу сейчас открыть? – многозначительно посмотрел на меня Оверьмне.

– И кто же эта особа, имя которой ты, разумеется, не можешь открыть, – насторожился Арве, – случаем, не мать ли она девочки Ляйне? Ведь судачат на хуторе, что ты по вечерам ходил к ней домой.

– Ну вот еще, стану я встречаться со старухой! Я, как и ты, помоложе люблю. Ну да ладно, пойду я, дела у меня. Пока еще хоть чуть-чуть светло, надо ластиком все хорошенечко стереть на тех листах, чтобы буквы и слова не путались, не мешали друг другу... А ты посиди с ластиком, подумай хорошенько, да только глупостей не наделай. Глупости – они ни к чему.

– Да ты подожди, не уходи. Не могу же я отпустить тебя, не испутив нашу вину, если она, конечно, была. Нет, давай мы сначала подождем девочку Ляйне. Вот сейчас она придет, девочка Ляйне, и что-нибудь да придумает, может, тебе даже и не придется стирать свой рассказ-мечту, как ты это называешь. Да, наверняка не придется, ведь девочка Ляйне – она такая умница, и ластик у нее тоже волшебный. Не злись, ведь она сейчас уже придет.

Но когда пришла девочка Ляйне, по ее светящемуся лицу и не разжигающая камина Арве сразу все увидел. Он увидел, что на ластике действительно написано 2.50 по-ихнему, по-нижнехугоровски, и что завод-изготовитель с Верхнего Хутора, и что девочка Ляйне такая глупая – так глупо врать. Так глупо улыбается и смеется. Ну просто дура глупая.

– Ну, зачем, зачем, Ляйне, ты выдумала Финляндию? – задал вопрос Арве, не успела еще девочка Ляйне юркнуть под одеяло, отчего лицо девочки Ляйне потускнело.

– Как?!

– Зачем, зачем ты выдумала Финляндию? Ведь ты никакая не финнка, ты марийка. Неужели ты и вправду думала, что я никогда с тобой не буду дружить, если ты не финнка, а марийка?

– Да, – еле слышно сказала в ответ Ляйне, отчего в комнате стало еще темнее. – Ты не стал бы со мной дружить так же, как не стали бы со мной играть братец Вяйне и сестрица Хелла и не стали бы баловать нас подарками тетюшка Ульрика и дядюшка Вилько, будь я марийка, а не финнка.

– Но ведь их же нет, разве ты совсем глупая, или ты меня считаешь таковым, их же нет: ни дядюшки Вилько, ни тетушки Ульрики, ни брата Вяйне, ни сестрицы Хеллы, – испытующе посмотрел на Ляйне Арве, – ты ведь не хуже меня понимаешь, что их нет, твоих родственников из Финляндии.

От этого пристального взгляда Ляйне еще больше смутилась, закрылась руками. Но лицо ее даже сквозь щелки между пальцами продолжало немного светиться.

– Они есть. Не говори так, будто их нет, моих тетушки Ульрики, дядюшки Вилько, брата Вяйне и сестрицы Хеллы. Ведь без них ты бы давно уже покончил жизнь самоубийством. От безысходности, и я тоже – от безысходности, ведь у тебя нет ни работы, ни денег, ни перспективы, и у меня нет перспективы.

– Самоубийство? Ты хоть понимаешь, что значит это слово, это заклинание заклинаний, как ты смеешь произносить эти заклинания: перспектива и безысходность, ты, погрязшая во лжи, как ты смеешь даже упоминать о моем самоубийстве, перспективе и безысходности, ведь я тебя никогда не обманывал, а ты? Ведь мы с тобой поклялись друг друга никогда не обманывать...

– Извини...

– Вот дура, – схватился за голову Арве, – ты хоть понимаешь, что ты наделала? Зачем мне теперь жить, когда я не могу ни во что верить? Зачем мне твои заклинания – эти «извини», когда я тебе не верю?.. Как я смогу теперь жить и верить в нашу?.. – Арве уже боялся говорить заклинаниями.

А девочка Ляйне, прижав голову к коленкам, плакала.

– И зачем ты мне подарила этот чертов ластик, которым сейчас твой ненаглядный Оверьмне стирает свои заветные мечты, чтоб, не разжигая камина, написать рассказ из реальной жизни, в которой охотник Ласле точнехоньким выстрелом, не испортив искрящейся шкурки, убивает маленькую-маленькую белочку, ведь это его сокровенное желание – убить маленькую светящуюся белочку...



Михаил ТАРКОВСКИЙ

С людьми и без людей

Из архива

Недавно нашел свои первые записки:
ЕНИСЕЙ. 1983.

Енисей... Тонко-безмятежный розовой июльской ночью и серый от сентябрьского ветра, в крутой волне, неприметной с высокого берега и такой неистовой, когда трясешься в лодке. Майский, готовый к ледоходу. Набухший от талых вод, с точками уток в зеленой забереге. В длинных трещинах, в кляксах проступившей воды, с размякшим от весеннего солнца зернистым снегом, с до постылости знакомыми вытаявшими дорогами, следами, тычками, весь исшаренный нетерпеливыми глазами людей...

Или ноябрьский – в клубах пара, хрустящий, грохочущий и шуршащий еще не толстыми льдинами, готовый вот-вот заклинить в узком месте да так и остаться до весны застывшим случайным рисунком трещин и торосов – столь изменившим повседневную картину своей тяжелой неподвижностью.

Вот он – белый, зимний, убитый ветрами, с цепкой утопших в снегу торосов, с линзой пара над полыньей и черной копошащейся у проруби фигуркой.

Он все время разный, но всегда огромный и безразличный. Под толщей воды скрыто дно – самая неудобная, таинственная, но тем не менее важная часть реки. Вода течет и утекает, а то, что утечь не может, – падает на дно и покрывается илом или галькой. Сколько на дне ценностей: отвертки, ключи, винты, капоты, сами моторы, лодки, бутылки, выпитые на палубе теплохода или в провонявшей бензином казанке, надетые на топки плавешки и замытые самолеты. Чего только не несет по реке, особенно весной! Кое-что подбирают, остальное набухает, наполняется водой и тонет. Плывут ящики – пустые и с консервами, безобразные розовые куклы, бревна и плоты, а раз мимо Мирного проплыл кверху ручкой чемодан с личными вещами капитана теплохода «Баку». Самоходка «Баку» затонула незадолго до этого в Семиверстном пороге на Подкаменной. В чемодане будто бы были деньги и костюм.

Выше Комсы много лет виднелась из воды труба давно затонувшего буксира, а ребра одной из оторвавшихся от него барж торчат из тальников недалеко от устья Варламовки. Баржа вросла в землю, но каждую весну ее подымает и она всплывает. Бахтинцы в свое время выдергали из нее все скобы.

В Енисейском заливе Карского моря у заброшенного поселка Троицкие Пески лежит на берегу выкинутое штормом небольшое суденышко. Оно лежит на боку, все глубже зарываясь в песок. В поселке живет старик-национал со старухой. Старуха не говорит по-русски, имеет ввалившийся нос и привычку орать на собак истошным, хриплым голосом. У деда деревяшка (лодка) с «топчи-ногой», и он ездит на ней пьянствовать в Ворон-

цово. Старуха остается в своей сумрачной хибаре из пепельно-серого плавника, и при взгляде на ее отрешенное морщинистое лицо возникает вопрос: о чем она думает? Над Троицкими Песками кружатся огромные чайки и стоит вечное летнее солнце.

Теплоход «Киренский» поднимался в большую воду по Нижней Тунгуске с завербованными в Туру в экспедицию, пробился в щехах и утонул при неясных обстоятельствах. В этом месте рассказчик щелкает себя по крепкой шее и на вопрос: «А капитана сняли?» – отвечает: «А как же – сначала сняли, потом надели».

Прибывшие водолазы подняли судно, залатали пробоину бетоном, перегнали в Красноярск. Кроме бичей на теплоходе находился новый мотор для Паши Хохлова, который не удалось сгрузить в Бахте по пути вниз. Полежавший в Нижней Тунгуске мотор отдали Паше по пути в Красноярск. Он его промыл и ездит.

Не одно судно сгубил Енисей, а что уж о людях говорить! Сколько исчезло в его воде – пьяных и трезвых, русских и остяков, ночью в шторм и жарким днем, скопом и поодиночке.

В верхнем конце Мирного есть Могильный ручей. За ним маленькое зарастающее лесом кладбище. Вот история одной из могил.

Когда еще не были установлены створные знаки на охвостье Мирновского острова (да и во многих других местах), в самом Мирном стояла газовая мигалка. Газ привозили в тяжелых продолговатых баллонах. На катере работал здоровый и рослый парень, только что отслуживший на флоте. Разгрузили катер, бросили на берег трап. Парень взвалил на себя баллон и ступил на него. Доски проломилась, парень ухнул в воду, где его и догнал баллон. Бывший моряк из последних сил метнул тело на берег и застыл, уронив проломленный череп на мокрую гальку. Его похоронили на Мирновском кладбище, кто-то прилепил над могилой красную звезду. Некоторое время суда отдавали честь погибшему особым гудком.

В Мирном жил оборотистый и хозяйственный мужик, звали его Максим Палычем. Однажды он с женой возвращался с покоса на лодке-деревяшке. Над Енисеем грохотала гроза. Черная туча с клубящейся каймой заволочла низкое небо. До деревни оставалась сотня метров, когда молния угодила в дребезжащий «Ветерок». Максим Палыч лежал в лодке мертвый и совершенно черный, бабка – без сознания. С тех пор за ней замечают странности. Вроде бы ее закапывали в землю, чтобы «ляктричество» вытянуло.

Раз у Канготова обсох на опечке пароход. Пришел буксир, стал тянуть тросом, тот лопнул и убил четверых.

Это все история, а жизнь на реке продолжается, дополняя рассказы о печальных происшествиях несусветными подробностями.

Енисей тянется не одну тысячу километров, и везде живуг люди. И для каждого понятие «Енисей» ограничивается небольшим, привычным ему отрезком. А он такой разный: то три км шириной, то одиннадцать, здесь берега сплошь покрыты лесом, там голая тундра, здесь «на запад» выбирают через Красноярск, там – через Норильск, здесь капканы ставят на соболя, там – на песца.

И все же есть в этой реке что-то неповторимо цельное – и в природе, и в людях, и в истории.

Живущие здесь люди вечно заняты. Они мало читают и не страдают от отсутствия театров и концертных залов, на глянцевой обложке бунинской книжки из сельской библиотеки ни одного пятнышка. Людям здесь некогда. Они разрываются между рыбалкой и охотой, хозяйством и работой. Они удирают от инспекции и догоняют теплоходы, они быстро стареют и имеют по многу детей и еще больше собак. Спиртное, завозимое в поселок на год, уничтожается в следующей последовательности: водка, спирт, коньяк. Потом ставят брагу и крадут у жен огуречный лосьон. Объясняются редким приезжим девушкам в любви, обещают песцовые

шапки, а потом прижимают их в подсобке клуба. Напиваются и стреляют друг друга из тозовок, а один мужик выбросил в реку новый «Вихрь», не сумев завести, потому что был сильно пьян: обмывал попку. Они стреляют своих и чужих собак, а шкуры вывешивают над домами, чтобы сорочки обклеивали мездру. Они продают свое имущество и, не просохнув от двухнедельного запоя, улетают на материк, унося к чужим людям ненужную привычку закусывать «Агдам» черной икрой. Они разные – гостеприимные и прижимистые, недоверчивые и любопытные. Они ценят хорошее и умеют платить добром за добро, они бурно общаются друг с другом, а потом костерят за глаза. Они упрямы и выносливы, они привыкли все делать своими руками, и эти небольшие красные руки не боятся ни ледяной воды, ни солянки, ни собачьих зубов. В войну, заменяя мужчин, их женщины могут привычно на декабрьском ветру выпугивать стерлядок из стынувшей трехстенки или подыматься на веслах по весенней Бахте с продуктами для фактории.

Этих людей нельзя удивить. Они спокойно смотрят на все. Вот уходит в тайгу сморщенная старуха-кетка, и к ее нарте привязан на веревочке большой белый кот. Вот сотнями привозят ссыльных немцев и казахов, подсаляют по избам. Никто не возмущается, только подкармливают гостей рыбешкой и повторяют «пятьдесят восьмая». Вот находят на Тынепе чумное эвенкийское стойбище – пустые берестяные чумы, скелеты оленей, прислоненные к березке нарты с обгрызанными мышами ремешками. Вот врывается в зимовье белый медведь и на глазах у подвыпивших охотников скальпирует их товарища. Вот лопаются от морозов отопительная система Туруханска...

Много всего случается, многое еще случится, но люди, как жили на Енисее, так и будут жить, невзирая ни на что и веря только в себя.

Саня Устинов

Что пишу о смерти – не пессимизм никакой, а просто об умерших писать легче: не обидятся, да и сам душой не покривишь.

Так тесно перепелась моя жизнь с моими енисейскими друзьями, так писанное и думанное перемешано с виденным и пережитым, что не оторвать одно от другого, и вспоминаю, пытаюсь понять, почему доля того или иного человека такая, а не иная. И чем больше думаю, тем больше открывается неизведанного, неосмысленного, и образы их меняются, движутся и будто растут вместе с жизнью.

Снова думаю о Сане Устинове, у которого был искусственный клапан на сердце и которого нет уже в живых. Саня был одним из первых бахтинцев, кого я узнал коротко. Мой друг Анатолий, с которым мы работали в М. на базе экспедиции, ушел штатным охотником в соседнюю Бахту, напарником как раз к Устинову. Устинов через пару лет уволился из охотников по состоянию здоровья, и на освободившееся место отправился я. Еще работая в М., я помогал им с Толей завозить груз на промысел, а потом ездили на участок, я – «принимать» хозяйство, а Саня – вывозить вещи. Я оказался свидетелем прощания охотника с тайгой, где он охотился пятнадцать лет, и, хотя никаких соплей не было, белую ночь, Санино лицо, освещенное костром, и его играющие желваки я запомнил. Запомнил и Сашины слова: «Вещи собираю – а кошки скребут», его спокойные и простые объяснения, где у него какие ловушки («будешь ходить – там такой-то капкан»). В объяснениях не было никакой ни обиды, ни зависти, а, наоборот, деятельное и мужественное участие, заинтересованность в том, чтобы дело делалось дальше, мол, раз у «меня не складывается, то пусть хоть у вас все добром будет».

Человеком Саня был непростым. Недоверчивый, раздражительный, нервный, вечно ищущий правды-матки и рубящий ее напропалую, по-сво-

ему склочный, даже и скандальный, но и признающий свои ошибки. Трудно сходился с людьми, но, приняв человека в свою жизнь, был верен до конца.

В молодости набил морду какому-то «гаду», директору школы, и за это загремел, попал на химию и досрочно освобожден за образцовое поведение. С юности его преследовали беды со здоровьем. Однажды Саня чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, ахватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка.

Вылетел вертолет, Саня пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознания с тускло горящим фонариком в руке.

В каждой избушке у Сани висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Устинов пришел с Холодного (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил я другую запись. Она кончалась словами: «Пишу стоя на коленях жалко мало пожил».

Запись эта хранится у меня до сих пор. От Саньки остались нам двухсотлитровые бочки для бензина. На них было краской написано УАН – Устинов Александр Николаевич, и мы звали их «уановские» бочки.

После операции еле оклемался, прожил больше десяти лет с искусственным клапаном.

Не умея без тайги, Саня взял любительский участок рядом с деревней, там осеял в избушке, заваленной лекарствами, но мучили аритмия, давление, не хватало необходимого после операции препарата, и его приходилось доставать через знакомых в Москве. Погода у нас поганая для сердечников, смены погоды, небесные революции, ураганы, оттепели – все ощущал Саня своим измученным сердцем и терпел. Однажды в мороз, провозившись с «бураном», не заведя его, пошел домой пешком и отморозил большой палец на ноге. Потом отморозил второй раз, и палец отгяпали. Помню его ногу в коричневом простецком носке и пустоту на месте пальца. Был он крупным красивым мужиком, большие карие глаза чуть косили, когда отпускал бороду, лицо приобретало живописность, даже картинность, а косящие глаза придавали странность, разбойничью бедовость. Когда бывал здоров и в духе – острил и, имея собственный строй языка, за словом в карман не лез.

Вся его жизнь, чем ближе к развязке, тем сильнее обращалась в жесточайшую борьбу. Корову держал почти до самого конца, вцепясь в работу как в спасение. Вижу его убирающимся в стайке, с раздраженно-непоколебимым видом мечущим сено, то и дело останавливающимся перекурить, навалившись на вилы. Все хозяйственные дела продолжал, как здоровый, и впадал в упрямое ожесточение, кляня жизнь, болезнь, осточертевшую деревню, но ни на шаг не отступая и не уступая. То и дело ему становилось плохо, фельдшер «ставил уколы», вызывали вертолет – санздание. Санздание – это не «скорая» в городе, и лишний раз стараются потерпеть и вызывать, только когда совсем беда. И всегда оно неловко для больного, словно он чье-то терпенье испытывает, и думает: сейчас вызову, а потом, когда еще хуже прижмет, что делать? До Туруханска, где районная больница, четыреста километров, вертолет летит больше двух часов.

Его жена Нина Григорьевна, учительница математики, болела диабетом и умерла незадолго до Сашиной смерти, в его отсутствие и нелепым образом, вроде бы из-за стопки какой-то не такой водки. Саня с Ниной Григорьевной должны были получить квартиру в Красноярске по программе «Север – Юг». Квартиру с дикими сложностями и затратами они получили, и Саня собирался осенью уезжать, но несмотря на ухудшающееся здоровье все тянул и никуда не ехал, строил планы, как будет из Красноярска на лето возвращаться сажать картошку и рыбачить. И все время говорил о новой квартире, о городе, где и аптека рядом, и врача запросто

вызовешь, но волок хозяйство и изо всех последних сил держался за ту жизнь, которая его жестоко и планомерно гробила. И эта смертельная хватка, с которой он держался за свою жизнь, за ее единственный смысл, и понимание того, что эта самая жизнь его убивает, и нежелание с ней расстаться, страх бессмысленного, бездельного существования в городской квартире – все это ускоряло гибель и было судьбой. И он питался этой жизнью, в которой пот перемешан с ветром, сенная труха с навозом и морозной пылью и где каждое движение отдает болью в груди, тошнотой, гудом в голове, и пил эту свою гибель и свое счастье с героическим отчаянием человека, не имеющего выбора.

Еще давно, до моей охоты, полетели мы вместе с ним в Красноярск. Там Санька отправился к знакомым, планируя по дороге попить пива. А я, узнав, что нужный самолет нескоро, взялся искать Саньку. Наобум выйдя на «Мира» (так в Красноярске называют проспекты – просто Мира, Ленина, Маркса) из троллейбуса напротив заманчиво-деревянной двери с закругленным верхом и отворив ее, я увидел Саньку. Расстегнувший полушубок, разомлевший, краснолицый, он стоял с кружкой пива. «Людочка, еще пару», – по-свойски ухмыльнулся он официантке. Поначалу говорил мало, светился от наслаждения. Пиво было не ахти, но он сказал, что неважно, главное – «общтановка», и блаженно повел глазами по сторонам.

Долго с ним говорили про наш промхоз, к жизни которого я только приобщался через своих бахтинских друзей, выясняли, почему вырождаются лисы на звероферме, и почему раньше жизнь лучше была поставлена, и так ли это по правде, и верить ли старикам, у которых в старину и вода мокрее была. Обсуждали нашу деревенскую жизнь, которая несмотря на все богатство природы никак не ладится добром, и про пот, и про мозоли, а потом незаметно разговор дошел до такого накала, что слов говорилось мало, но все важные, и слушали мы друг друга очень внимательно, и я заговорил, что, мол, знаешь, Санька, чувствую, должен я об этом обо всем написать, а Санька вдруг прервал меня и сказал отчетливо и требовательно: «Не должен – о-бя-зан».

Из дневника. Тынеп

4 окт. Остров. Сегодня завернул северою, да так, что ясно стало, кто хозяин. Сразу пар изо рта, из таза, из трубы дымина – все закрипело, окрепло.

Приехал на деревянной лодке. По берегам ливняги глубочайше желтого цвета. Воды много. Шиверы кипят. На въезде в Тынеп сипел вдаль хребет с щеточкой остроконечных елей. Падает снег. Когда день за днем поднимаешься вверх по реке, перед сном в глазах все бежит навстречу вода, мырят камни и сливы. А когда спускаешься вниз – по-другому: вода плавно съезжает, облекая дно, камни.

Прозрачайшая дымчато-синяя вода, все задумчивое, и чирры (такая рыба) – молчаливые, мощные, горбатые, с дымчатыми спинами. Выйдешь из избушки, золото ее нутра выливается на снег, голову задрал – звезды, острие ели, и небо догорает. Берег тот белый, и вода очень черная.

Шугует. Осветил фонариком Тынеп у берега, несетя шуга мимо дна, на дне красная крошка, камни. Ходил настораживать в сторону Молчановского. Убил соболя и копалуку. Сразу все встало на места.

17 окт. Зверская верховка. Когда долго дует такой ветер, думается, что он хочет сделать какую-то работу, что-то задуть, или передуть, или принести тепло или холод, дождь или снег – перемену. И вроде, оправдывая это дело, терпишь. А на самом деле ему все равно, он мог сутки дуть, чуть начать потихать, а потом с тупой силой еще задуть на несколько дней.

29 окт. Настало утро. 7 часов. Тихо. Лампа, свет, в избушке прибрано, все делаешь не спеша и хорошо, чтобы не испортить тишину и чистоту.

Вчера вечером выходил, разъяснивало, голубой лунный свет, небо в ярких звездах и грядка несущихся с запада облаков. После хмари – небо как драгоценность. Снится мне куча всего. Даже странно просыпаться поутру одному, когда столько людей видел.

30 окт. Капитально. Принес двух тех глухарей, что висели, добыл двух соболей и пару пальнух. Полна поняга, а с добычей и не тяжела.

Думал о том, как написать, чтобы связать в один узел – всю боль, надежду, скоротечность жизни. И главное – это неумение, детское неумение людей жить на Земле, кустарность какая-то вопиющая среди машин и электричества. Все равно что где-то на отличной речке, вместо того чтоб жить и радоваться, все вокруг гробить и друг с другом собачиться.

Ночь, морозец, звезды, в трубе гул (хруст – если с улицы), будто она расходится, что-то гулко прожевывая.

Тынеп стал в повороте, а сейчас вроде сорвало. Бессилен описать, объяснить нечеловеческую прелесть всего окружающего. Этой наступающей зимы. Все нынче как-то просто, как, бывает, шумный, капризный человек вдруг заговорит простым, тихим голосом.

Улыбка человека, который «все понимает». Что все? И есть ли это все? Но все равно греют такие люди, нужны они. А они бедные, как раз ничегошеньки и не понимают, оттого и улыбаются так грустно.

Иногда кажется, что именно здесь я говорю напрямую, что ли, с чем-то... таким, что и нельзя назвать, и чувствую себя червем. Человеку нужно чувствовать себя червем.

Как люблю я Красноярск, Красноярье, все До- или (За) Уралье, Дальний Восток, каждый голос из каждого города – мне родной. Как большинство людей живут без тайги?

Осадить, мягко, как в пухляк, осадить жизнь. Какая разница, где? Это все Россия. Не разрываться душой, а везде быть – огромным и спокойным.

Еще два Сашки

Этого Сашку Варлашкина когда-то, давным-давно, встретил я в Борском аэропорту. Оба мы летели в Красноярск, а потом в Москву. Порт был двухэтажный, деревянный, на дверях пестрели надписи вроде «ЭРТОС» или «Радиоаппаратная». «Эртос» меня очень забавлял своей античностью, и я все время забывал, как он расшифровывается: «электро радио что-то такое каких-то там систем». На первом этаже была касса, сидело начальство, а на втором располагались аппаратные, собирались летуны и прочие работяги.

В Бору стояли экспедиции: Среднеенисейская, Борская, – и было полно бичей. Раньше на Туру и Байкит летали через Бор. Говорили, что рейсы задерживаются в Туре, потому что размывает осенними дождями полосу, и в порту, кроме своих бичуганов, собирались армии пролетных. Деды, один матерее другого, с огромными замшелыми бородами, в несусветных хламидах, сидели, лежали, и какие-то у них все время заваривались разборательства, кто-то из молодых устраивал «подлянку», и все гудели и требовали справедливости. У бичей вообще много замешано на чести, этикете, слове и прочих сильных и правильных вещах.

Когда впервые приехал в Бор, на берегу встретил бичару классического, шкиперского, что ли, типа – круглая морда, круглая борода и небесно-голубые глаза с окрестными морщинками. Был мужик побрит наголо. Он никогда меня не видел, но невозмутимо поздоровался за руку и рассказал, как они на спор побрились всем баракком. Говорил, вел себя так, будто

все время находился в упоении, увлечении какой-то бурной струей своей жизни, в которой переплелись и белые северные ночи, и шик бесчисленных денег, заработанных черт-те где, на какой-нибудь Пульванондре, и пропиваемых с кем попало, и крепкое мужицкое товарищество, настоящее на сибирской шире и вольности трудовых душ. Потом, позже, когда будет ему под пятьдесят и, не создав семьи, не нажив и гроша и угробив здоровье, будет он доживать в каком-нибудь поселке, никому не нужный, бодрящийся и уважаемый за остатки бичевской чести, – какими наивными покажутся его полные упоения и правды глаза...

Парнишка стоит в очереди за билетами, на голове шапка собачья, правда, так себе шапчонка, он все пошучивает, Дружок, мол, и все подергивается, суетится, заигрывает с диспетчершей. На речь его я и обратил внимание, на беглый московский говорок, такой неуместный в Сибири. Был он слегка пьяненький и все старался казаться значительней, чем есть, чувствуя свою некрепость и заискивая.

Оказалось, что мы с ним родились чуть ли не в одном роддоме, учились в одной школе, он на класс старше, и что он знает кое-кого из моих одноклассников. Проверяли друг друга на знание улиц в районе Серпуховки и Зацепы, жил Сашка у Павелецкого. У него была початая бутылка за пазухой, и в Красноярске его не пускали на посадку, но он уболтал милиционера и прорвался. Из Домодедова я завез его на Павелецкий.

Встреча эта, помню, произвела на меня сильнейшее впечатление. Все не верилось и казалось странным, что на Енисее я вдруг встретил человека из другого мира, из Замоскворечья моего детства, давно ставшего чем-то заповедным, ирреальным. Все не мог я надивиться на странное наложение судеб, все искал какого-то знака и вообще был склонен придавать излишнее значение некоторым вещам. Даже казалось, помню его по школе, так все в голове спуталось.

Работал Сашка тогда в Туре в экспедиции. Когда я встретил его второй раз, он жил уже в Тутончанах, тоже на Нижней. Встреча эта произошла лет десять спустя на теплоходе, идущем из Красноярска в Дудинку. Жил я в пустой двухместной каюте и маялся от безделья и нетерпения, за время поездки в Москву и Питер успев истосковать по деревне и друзьям и так желая побыстрее очутиться дома, что долгие часы дороги казались настоящим мучением. Зайдя в ресторан, я заказал тарелку борща и стопарь водки и, сидя в безлюдном зале, поглядывал по сторонам. Единственным посетителем оказался диковатый обросший мужичок, он сидел рядом со стойкой и панибратствовал с официанткой. На стойке по-домашнему стоял принесенный им магнитофон с заливчатской музыкой. Мужичку тоже налили водки. Я поднял свою рюмку и, встретившись с ним глазами, кивнул. Он понятливо мигнул и тоже выпил.

Что-то знакомое почудилось мне в его чертах. Был он испит, патлат и синеглаз. Усы картинно свисали вдоль рта, черные брови срослись на переносице, вид он имел пропаще-разбойничий, эффектный и очень потрепанный – припухлый, морщинистый, обветренный.

В каюте я вспоминал своего товарища по ресторану и размышлял над его знакомым видом до тех пор, пока не понял, что передо мной постаревший и истаскавшийся Сашка Варлашкин. И снова ощутил я прилив восторга от изобретательности судьбы. Напряжение долгой дороги, близость деревни и эта странная встреча слились вдруг в единый порыв, и душу захлорало от жажды жизни, приключений, и я, обжав палубу в поисках Варлашкина, уже собрался спуститься в ресторан, как вдруг из пролета крутой корабельной лесенки возник сам Варлашкин. В одной его руке была непочатая бутылка пива, в другой – распечатанная коньяка. Через две минуты мы сидели у меня в каюте. Через полчаса тащили вещи Варлашкина и его попутчика. С Варлашкиным в двухместной каюте ехала молодая бабенка с ребятенком, брату ее не хватило не то места, не то де-

нег на билет, и он кантовался на палубе, а Сашка по доброте затащил его к себе в каюту. Теперь он волок этого Серегу ко мне в каюту. Набрали водки. Сашка все показывал запись в паспорте: жена-эвенкийка и две дочки. Там же лежала их фотография.

Из Москвы я вез кучу денег, которые меня попросили передать в Мирновскую экспедицию, деньги предназначались для оплаты груза и всей обратной дороги. Стояла осень. Деньги передала мне жена экспедиционного начальника – перевод по почте грозил большим процентом. Сумма была мелкими купюрами, и объемистый сверток не влезал ни в карман, ни за пазуху, поэтому я положил его на дно рюкзака. Рассчитывался с проводницей за белье, я допустил оплошность, при ней достав деньги из свертка.

Когда я проснулся, в каюте никого не было и дверь, конечно, осталась не запертой. Рюкзак стоял рядом, что-то я оттуда доставал, то ли нож, то ли кассеты для магнитофона. Денег не было. Поиски ни к чему не привели. Серега – Сашкин попугчик – предлагал перетрясти все его вещи и божился, что не брал. Сашка пил водку с новым попугчиком. Проводница исчезла. Плотный парень в сером костюме из спецотдела сказал, что дело гиблое, «тем более пьянка», и советовал, если я точно знаю, кто взял, например, Серега, то лучше всего, когда теплоход остановится в Бахте, собрать своих мужиков и крепко его прижать.

Встряска была подходящая, хмель как ветром выдуло, и я бродил по ночной палубе, вглядываясь в крошечную тьму уже огромного, раздавшегося Енисея и ломал голову, что делать. В деревне я перезанил денег и рассчитался с экспедицией. Подумывал даже продать лес, пойманный весной с моим другом Бичом-Гёной и предназначенный для стройки нового дома. Но выкрутился и лес оставил – знал, что продавать такое нельзя.

Осень прошла стремительно. Я все собирался основательно заняться писанием повестух и остаться в деревне, вместо того чтобы ехать на промысел. Поводом для этого служило почти придуманное обстоятельство – недовольство временного Толиного напарника моим соседством, по его мнению, якобы перекрывающим ему ход соболя. Уже когда Толян уехал, прошел слух, что Генка уходит с охоты на другой участок, и я, замученный выбором: промысел или повестухи, – решил переложить ответственность на обстоятельства и сказал, что если Генка едет охотиться, то я остаюсь в деревне, а если нет, то еду сам. К моей великой радости Генка с участка ушел. Я взял у начальника план-задание на 25 соболей, за пару часов собрался и, загрузив «Крым», полетел по взрытому снежным севером Енисею к устью Бахты, из которой уже листами оцинкованного железа несло шугу. Ночевал я на Бедной. Наутро сияло солнце, северок мел поземку по синему снегу и на градуснике было 15 градусов мороза. Я долго грел паялкой мотор. Хозяева Бедной, Санька и Олег Левченки, косясь на теплую избушку, с тоской смотрели, как я дергаю мотор, как поднимаю шиверу и как несколько раз глохну и меня несет на камни. Шугу перло уже «мятиком» – сплошной массой. Доехать точно до места не удалось – Бахта стояла у Косого порога. Я подтащил лодку, взял оружие и понягу, в которой побулькивал бутылек спирта, и пошел в избушку, где меня ждал Толян, – утром я говорил с ним с Бедной по рации.

На подходе к Холодному есть несколько нескладных закуреин, которые проще пройти по льду. Берега там заросли тальником, и по ним не продерешься, лед же был гниловат, и я несколько раз провалился по пояс. Пыла моего это не охладило, и вот я уже поднимаюсь по тропинке к избушке. Она сияет сквозь ветки, дверь открыта, орет приемник, я что-то ору Толяну, а Толян орет мне: «Давай-давай! Заваливай!», и мы сидим за бутылкой, закусываем всем чем можно, и все, наконец, стало на свои места, и так прекрасно, как бывает только на охоте. Душа переполнена, дорожные впечатления, льды, борьба с шиверой, где я срезал шпонку и меня снесло, Толяновы рассказы о соболиных следах, привычная обстановка

избушки, золотой отсвет керосиновой лампы на чистейшем снегу, свечеобразные силуэты елок и кедров, суета собак у таза с кормом; наконец катавасия с Генкиным уходом и моей стремительной заброской – от всего этого поет душа и разговор плещет через края.

Еще с прошлой охоты я придумываю повесть про охоту, Енисей и про другой мир – Среднюю Россию и Замоскворечье, где прошло мое детство с бабушкой. Уже многое написано, но висит в воздухе, не объединенное общим движением, и тяготит душу, требуя финала. Спирт допит, я полулежу на нарах, Толян сидит у стола, трещит печка, сияет лампа, тесные стены свежесрубленной избушки светятся золотом. Мы о чем-то говорим, но уже спокойней, размеренней, и вдруг меня как обжигает. Я понимаю, что история с Варлашкиным и спертými деньгами послана мне Богом, но что мой ограбленный герой в отличие от меня как раз продал лес, пойманный с такими трудами весной, что повесть называется «Лес» и что начинается она с ловли бревен, а кончается их продажей, что символизирует извечную бездомность человека, очарованного загадочностью жизни. «Толян! – кричу я. – Я придумал!»

Прошло еще лет десять. Тот лес давным-давно пошел на баню, а в этом году я дозрел до стройки самого дома. Заливать фундамент помогал мне один немолодой человек, битый, усталый и дошедший до последней черты. Сидельый, натаскавший и тоже из средней полосы – этого поставщика бродяг. И звали его тоже Саня. И жил он тоже в Тутончанах, и знал Варлашкина, и сказал, что утонул Сашка в Учами, река такая есть. «Да, на Павелецкой у него квартира была, теперь там жена живет». И когда выяснилось, что Варлашкин утонул, сразу прострелила мысль: а ведь так и должно было быть. Будто что-то простое и понятное плотно и увесисто встало на свое невеселое место. И будто даже грешным спокойствием каким-то обдало: все – отмыкался, добился того, к чему стремился.

Утонул по пьяни. Как положено.

Из дневника. Тынеп

31 окт. Сегодня ходил в болотинную дорожку, добыл соболя, здорового желтого кота. Заснул часа в три.

На Ручьях в луну. Редкие лиственницы, снег, луна – есть в этом что-то ускользающее, одновременно и близкое и далекое. Я стал терпимей относиться к так называемой потере времени. Могу тупо лежать, ничего не читая, просто сидеть, слушать радио. Читаю который год все того же Пушкина. Приезжаю сюда и перечитываю «Капитанскую дочку» и т.д. Теперь привез еще Бунина, правда, на Остров. Может, его тоже поселить здесь?

2 ноября. Пойду на Майгушашу. Вспоминается, несется, столько всего хорошего. Начинаю читать «Визитные карточки». «Завернули ранние холода»... Прекрасно как! Пароход да все... И вправду, сколько в жизни всего крепкого! Красноярск, автовокзал, дороги. А все время гонит человека какое-то неустройство. Как ветер – из области повышенного давления в область пониженного, так и человека. Давление воспоминаний, горя, беспокойства... Вспоминаю – ни разу почти не был спокоен в дороге, ни разу. Раз, пожалуй, когда ехал в Овсянку. Один в каюте. В дождь. И потом Енисейск – падение, разочарование: от Енисея, Севера и простора, морского почти, – к освещенному мертвым светом светофора перекрестку, запахам мокрого города. Да, вот эта тяга вечная. Тяга несобранной, что ли, жизни, когда все порознь. Не в один узел. Когда слишком многое любишь.

5 нбр. Пришел с Майгушаша. Нашел ту избушку, где раньше пилоты охотились, теперь она моя. Иду-иду, глядь – жердушка, затеска, иду по ним, вот и Тынеп близко, вон береста драна, вон лабаз (медведь, правда, ски-

нул), а вон избушка под горой внизу. Избушка, доложу я, добрая, доски на вертолете привезенные, не чета нам – летуны рубили, все привезено, стекло настоящее в окошке.

Когда шел туда с Ручьев, Петек-глухарей видел сразу четырех. Два на кедре, а их увидел сразу, сидят в разных позах неподвижно. Стало быть, три недели топчу снег с полной понягой, все в результате насторожил. Все-таки великая вещь работа.

Все эти дни, конечно, никаких тебе строчек, планов прозы – только набить брюхо под вечер Петькой с рисом – и на нары, притушив фитиль.

б нбр. В чем же дело? Почему иногда так на охоте прохватывает чем-то, не знаю слова (основательным – нет, настоящим – нет, ладным – ближе), чем-то таким, что правится, как ничто, и на чем все держится. Приводишь в порядок что-нибудь, носки ли, лыжи ли, или вот с дровами сегодня разобрался, набил полный угол, еще остались, хватит пока, потом печку затопил, она постепенно (дрова сыроватые) затрещала, пошло тепло, медленно, но до того хорошо.

Сейчас выходил. Разъяснило, холодает, завтра к дорожке. Идет человек в морозец по пухлому снегу, с понягой, поскрипывая юксами, идет себе вперевалочку, где съезжая под горку, где перескакивая, перебираясь через лесины, будто дорога сама ведет его.

Утром вылез из спальника, на дворе – минус 30. Затопил, залез обратно, печка трещит, мороз по коже бежит от удовольствия. Окно синее. Тихая тайна утра. Раньше жизнь казалась туманной, светящейся, уходящей вдаль и ввысь дорогой с тайной и наградой в конце. И все казалось, что впереди эта даль, дорога, а потом глядь назад – и ясно, что самое ценное – эти раз и навсегда данные города, люди, дороги.

В книгах прошлое людей имеет законченный и заведомо совершенный вид, а жизнь текуча, и, переживая передрагу, не знаешь, не чувствуешь еще этой будущей законченности. Силен и спокоен тот, кто уже видит ее.

Белый иней на деревьях по свинцовому небу. Как все по осени особенно первобытно – грубо наколотые дрова вокруг печки, обледенелое парящее ведро.

Снова Дед

– Возьми у старика, там оставалась проволока, а то расташшат, – так говорила Бабка после смерти Деда своему сыну, Парню, когда дедовские собутыльники взломали Дедову халупу и сперли «Дружбу». У Бабки три мужика было: первый, основательный, настоящий, – Валера, Парнев отец, второй – Эдуарка, а третий – вовсе Дед. Валера ондатровал на озере и, вылезая на лед из ветки (долбленки), оборвался и утонул. Его нашли неводом. Эдуарка и Дед сами умерли.

Дед – голубоглазый мужик с правильным мясистым лицом, седой скиперской бородой и желтыми от курева усами. Дед был бичара, сплавившийся из Байкита на лодке с рыжей девкой, которую тут же прозвали Крошкой Мэри. Матершинница, хрипатая, вся в веснушках и похожа на небольшую крепкую лису. Она куда-то исчезла, а Дед остался – он еще из Байкита списался с нашим начальником участка и договорился о работе охотником. Дед был большой разгильдяй и враль, в котором шутство сочеталось с определенным стержнем, некоторые вещи он выполнял несмотря ни на что: ходил на охоту, имел все, что положено настоящему мужику, – мотор, лодку, «Буран» и даже невод. У Деда был один зуб, гнилой, блестящий. Ремонтируя радиоприемник, он надевал очки – в оправе из буро-рыжей в разводах пластмассы, и зуб, казалось, сделан из того же материала. Когда Дед плел какую-нибудь чепуху, в его прокуренной пас-

ти, как в колоколе, болтался, брякался проворный, мясистый, похожий на прелюю морковину язык. Задевал за его кремнистый зуб, высекал вместо буквы «р» некий сложный звук, звучащий примерно как «адэ»: «Адегудидовать зажиганье». Вместо «мыть» он говорил «стидать». «Умыться» у него называлось «постидать дыло». Куряка был страшный, даже пытался табачок своей вырастить, висели у него в сенках листья. Шлялся по деревне в «трико» и тапочках, ставя ноги буквой икс. Коротковатая майка, между майкой и сползшими трико кусок длинной белой спины с бесстыжим началом задницы,

Дед все хотел себе хозяйку, завел даже интрижку с националками, но так, временно. Упрямый, он не оставлял мечты и посватался к измученной без хозяина Бабке, и они сошлись. Перешел после Нового года, учудив сватовство на волне праздника. Дед прилетел из тайги, похожий на партизана или охотника с карикатуры, вывалился из вертолета – солдатская ушанка, тулуп, дробовое ружье с курками. Два часа спустя вперся в клуб, удушив волной одеколона из довольной пасти.

Перейдя к Бабке, Дед, похоже, впервые в жизни оказался при доме. На него обрушилась вся вековая Бабкина домовитость, все то теплое, избяное, материнское, такое жаркое с мороза, ветра, после голого белого берега, передутого Енисея в застругах. Запах ухи, шанег, блинов. На столе черемша, варенья, копченая селедка, все когда-то добытое мужиками, необработанное и грубо оставленное в сенях, а теперь неузнаваемо оприходованное и поданное с заботой и шиком.

Надо было видеть, как важно восседал Дед посреди избы на табуреточке, покуривая в печку, как говорил Бабке: «Ну-ка налей-ка ребятам браги». Примечательно, что, как только перешел к Бабке, сразу прибежал к Толяну за бензином – по-родственному. Велел Бабке поставить брагу, выпил ее и все валил на «зятьков», Толяна и Валерку, а сам млея бесконечно, потому что никогда у него никаких зятьков не было, и чудно ему было такое дело и приятно. Курил на своей табуреточке, поварчивал на Бабку, которая все тоже поговаривала, постанывала: «Ну ладно, и дай Бог». Собирала ему в тайгу «стряпанное» (сладкие постряпушки), хлеб, пельмени. Так они прожили больше года. Бабке было хорошо, крепко, Дед с Парнем бывало и погуливали, но все равно колготились по хозяйству – два мужика как-никак.

Разлад начался по весне с копки огорода. Дед с Парнем отлично отрыбачили в Сухой, выехали со льдом на сломанном моторе, по дороге развлекали всю деревню по рации – включились прямо в лодке, поставили антенну, орали, бакланили, всех перебаламутили. Огород Деду копать страшно не хотелось, шлея какая-то под хвост попала, хотелось воротить свое – впереди лето с белыми ночами, и гораздо интересней рыбачить, продавать рыбу и гулять. Найдя повод, разругался и в честной ярости и обиде съехал. «Все уташил к Мальцевским» (дальним соседям), – говорила Бабка и следила ревниво за его маневрами. Естественно, по Бабке выходило, что стаскал все Эдуаркино – «Ветерки» и «Дружбы», а по Деду, что, наоборот, взял свое, да еще все ему должны остались по уши.

Дед выклянчил у начальника старый срубишко, припер его на тракторе, покрыл, поставил печку-железку и зажил там, время от времени навещаясь к Бабке на пьяные разбирательства. Бабка, раненная в самое сердце, его строго выставляла, но он по пьяни и по привычке все пытался заруливать. Избенка стояла через улицу от Бабки и Парня.

Самое удивительное, что после разрыва с Бабкой, с Парнем у Деда, наоборот, началась прямо любовь и не разлей вода. У Бабки, кроме обиды на Деда – какими словами она его не костерила, – остались и жалость, и ответственность за этого свина. Пьянка у Деда начиналась посиделкой с приличным человеком, а потом день на третий в избенке толклась уже полная шваль и ворье, которой ослепленный своей ширью Дед щедро наливал. Для швали с ее вечным похмельем это было исключительной

«Но». Начинаем расспрашивать, путает, а потом вроде складно рассказывает, что стоит он – «метров двадцать», и тут Дед: «Тдесть его по ушам, а он стоит!». История про Тдесть-По-Ушам вмиг облетела деревню, потом выяснилось, что ляжку Деду дал Вовка Синяев, с которым они вместе выезжали из тайги.

У Деда был кобель по кличке Куцый, рыжий, с обрубленным хвостом. Он материл этого кобеля и чудом не застрелил: «Птицу лает – и все! Так я и поперся! Я чо ему – пацан? В такую даль за каждым глухарем никаких ног не хватит!» Так прошло года два. Все недоумевали, тем более по рассказам выходило, что лает-то Куцый не как на птицу. В конце концов до Деда дошло, что лаял-то кобель соболей, а бывало, кого и посерьезней. Попереживал, сколько он их упустил. Рассказывал, как до него дошло: «Тут я понял – ведь лает сохатого, а то и целого медведя!» И в таком духе. Куцего разорвали кобели, когда Дед уезжал после Нового года в тайгу. Куцый ввязался в собачью свадьбу, а Дед не подождал, не отбил.

Был в деревне приезжий из строителей, из Харькова, Женька. Рыжий кругломордый мужик, муж продавщицы, из тех, что мимо рта ложку не пронесут. Торговал водкой, скупал рыбу, и летали к нему какие-то мордатые мужики из города, а начальник аэропорта был приятелем. Однажды они прилетели на новом МИ-восьмом. Сели под угором, да так лихо, что воздушной волной оторвало и приподняло Бабкину крышу. Все столпились у вертолета. Из открытых створок выгружают коробки, бутылки. Толстые мужики солидно разминают затекшие ноги. Тут с угора еле слезает, сползает Бабка со своим костылем. Ковыляя к вертолету, подняв и трясая костыль, она кричит: «Чо, б...ской рот! Чо наделали, чтоб вам, б...дь, разбиться!» Долго кричала, пока наши мужики ее не увели, советуя немедленно идти в совет и писать заявление, мол, пусть платят за разрушение. Толстые на протяжении всего ее крика непоколебимо стояли, не двигаясь с места и презрительно и почти добродушно лыбясь – как на спектакль.

Женьку она и так не любила, а теперь вовсе возненавидела. А Дед как раз в это время стал расходиться с Парнем и закорефанился с Женькой. Для начала они взялись плавать нельму. Причем сети Женькины, и было непонятно, почему именно Дед попал в привилегированные напарники. Называлось это – у Деда мотор, а у Женьки сети. У Женьки моторов этих было немерено, но рассказывали какую-то бодягу, что не то у Женьки мотор поломался, не то Дед с Женькой менялись моторами, не то что-то друг другу продавали, но факт, что Дед теперь толокся у Женьки в богатом доме, полным бухала и видеомагнитофонов. И снова зрела у Бабки страшная и, казалось, последняя обида на Деда, который теперь вел себя вовсе по-хамски и с наглой и невозмутимой рожей таскался мимо Бабки к Женьке.

Потом была история с остячкой Марией. Называлась она «Дед женится», но краткая женитьба эта, кроме пьянки и огромного количества Манькиных братьев-нахлебников, ничего не принесла. Бабка только плевалась. «Э-э-э... Пенек-то, женится...» – тянула с плачущей издевкой. Пенек – так однажды прозвал Парень Деда. Не из-за какого-то сходства, а просто «пенек» было в ту пору его любимым словечком.

А потом Дед начал задыхаться. Что-то в горле стало мешать, и он поехал в Красноярск, но доехав вроде бы только до Бора, вернулся, не то пропив деньги, не то поддавшись бесшабашной обреченности, вроде «кому положено сгореть, тот не утонет». Через неделю он умер. Лежал поначалу в своей хибарке, позже его перенесли к Бабке, положили на воздухе в сараюшке под крытым двором. Задыхаясь, говорил, что в горле что-то застряло, что мешает что-то, все пальцем показывал туда, в шею. Бабка варила ему жидкую кашку, кормила с ложки. Парень с Толяном приехали с рыбалки, веселые, чуть пьяные, зашли к Деду. Он сказал, как никогда не говорил, как говорят, когда смерть у двери: «Адебята, посидите

со мной, хотите – выпейте, тоскливо как-то». Посидели, выпили даже, сказали, правда, не очень уверенно: «Да брось ты, Дед, обываешься еще, как новый будешь», – потом ушли, и Дед умер. Скорее всего у него был рак горла.

Сдавал Дед давно: не поехал на охоту, что-то темнил с пенсией, непонятно было, остался ли за ним участок или нет. Осенью с Женькой собирались ехать уже по снегу на «Буранах». Сунулись и вернулись – снег глубокий. Но Дед все продолжал собираться и всю следующую осень делал рацию, сидел у заваленного сопротивлением и диодами стола, натащил со всей деревни по своему обыкновению приемников и прочей радиобяки. Все тыкал паяльником, пробовал, ничего не мог разобрать, прочитывать подслеповатыми глазами, просил других, при этом в голове его была такая каша, что ничего объяснить толком не мог, но то каким-то чутьем, то методом тыка доделывал. Я видел эти сборки, а потом в тайге, вдруг включившись днем, услышал истошный крик Деда, который как раз в этот момент дособрал наконец рацию.

– Тунд-де! Ответте Тунд-де! Отве... – И все. Что-то там опять сгорело, в этой рации. И хоть потом и рассказывался с хохотом этот очередной анекдот, было что-то жуткое в последнем отчаянном крике стареющего человека.

Вот вроде и замыкает воспоминания, будто самолет, и историю с Дедом тоже как-то замыло временем. И Бабка всегда так легко говорит о нем, что, похоже, не коснулся он ее души по-настоящему глубоко, что хоть и была обида, но сам Дед, этот взрослый ребенок, по-человечески серьезно тронуть Бабку не мог.

И самый странный из них троих как раз Парень, которому, в общем-то, было наплевать на мать и с Дедом казалось веселей и интересней, несмотря на его предательство. И непонятно – то ли это эгоизм и свинство, то ли особая мудрость, и сам я до сих пор не могу разобраться в Парне, да и речь сейчас о Деде.

А как только умер Дед, все, как водится, заговорили, какой он был хороший, безобидный и как без него теперь скучно. И это понятно, потому что был Дед вообще-то самым классическим, известным типажом, который есть в каждой деревне и который сто раз описан. И раз уж вылезло это словцо – типаж, – то непонятно: как, откуда берется это деление людей, сознательно ли кроют они себя по образцам или попадают невольно? И ясно, что Дед такой не из книг – он их и не читал никогда, и не от воспитания – он и родителей-то не помнил, и не из желания кого-то повторить. Откуда такое попадание?

Из дневника. Тынеп

7 нбр. Пришел с Ручьев. Бродь. Пошлялся еще по тайге зачем-то, хотел дорожку себе сделать с той стороны, но крутанул южнее, и потом пришлось пробираться к Тынепу, хочется и хребтом насторожить, и крюка не давать. По Тынепу хорошо идти, лед в пуху. Шел и радовался: погода хорошая, ясная, меньше тридцати, а на Острове столько жито-пережито, и вот я сюда подхожу с тех верхних краев.

Сигаретки две оказались. Сигаретки выкурены, кофий попит, сухарики поджарены и съедены. Остался Бунин. Не съесть и не выкурить.

8 нбр. Сегодня был хороший день. По-своему образцовый. Погода ясная, но не холодная, с далекими полосами облаков, с ясным небом и щедрым солнцем, с синим чистейшим снегом, со следом за лыжами, как на мороженом в блюде, таким осязательным, плотным, вкусным, будто снег – ценнейший прекраснейший материал, коему только нет применения.

Пришел, сходил по воду, по ледку твердому, к черному глазу, принес поколос дровец, пожарил белого-белого рябчика. Так наелся с рисом, что

чувствую: я во главе с головой – придаток к набитому брюху. Задул лампы (солярки мало), проспал до 9 часов. Читал Бунина.

12 нбр. Мороз, раздери его собаки, продолжается. Правда, пробежали под вечер какие-то тучки-полосы, а сейчас опять чисто. Пришел на Остров, насторожил пару кулемок, пролужку утеплил, нагрел в тазу собачьем воды, сходил пешком по деревянной от мороза лыжне за пихточкой да помыл «голова» и ноги попарил. Капитально. Пятки оказались розовыми.

Снилась всякая ерунда, от жары, что ли (в печке березовая чурка разгорелась), будто я маленький, сбился с дороги между каких-то деревень-лесов и или заснул, или потерял сознание, и меня нашли с фонариком, очень неприятно, будто с того света вернули.

Об «осторожном дне»: сегодня все сделано осторожно, чтобы что-то не вспугнуть, может быть, полную тишину, и опять красота освещенных лампой (чистое стекло), мелко наколотых, стоящих вокруг печки дров, бродень починенный висит – вот где совершенство.

Думал о смысле существования, о тоске и творчестве, о красоте. Пусть будет себе краса, нечего мне от нее проку ждать, служи ей да пиши о ней.

13 нбр. Пришел с Острова. Колотун. Сейчас минус 40, шестой час, окно пока не оттаяло, небо на западе в зелень. Уже за 40, печку топло, набил как следует – окно оттаяло. 8 часов. Под впечатлением «Захара Воробьева».

Ночь темна, безлунна, еще чернее от черного пара, который выдыхаешь, звезды горят, и мрачно мигает огнем летящий на юг самолет. 43 на дворе. Все это надо будет куда-то приспособить: ночь, запах дыма и мороза. Люди, удивительно, – куда ни прибудь – живут своими домами, идут темным вечером в тепло, и в окнах неподвижно горит свет. В каждом городе, в каждой деревне сотни людей, стоит зайти в дом, и узнаешь, кого никогда не знал, жизнь придумает сразу что-то подробнейшее, о чем не подозревал, и эта неутомимость жизненной фантазии, как игра.

14 нбр. Принес одного соболя с двух дорог. Сегодня добыл молодого глухарька – какой вкусный, просто сил нет! И жареный, и вареный.

15 нбр. Пришел с Чайного. И хрен с маслом добыл. Настроение было не фонтан, ходишь-ходишь, рвешь хрип – и все зря.

Пимы и Заяц

Сшил я себе к Новому году новые пимы. Пимами у нас называют камусные бродни. Бродни – это осенне-зимняя обувь – кожаные головки с матерчатými голяшками. В бродни кладется войлочная стелька и суется нога, обутая в теплые носки, теплые портянки и пакулек. Пакулек – это меховой носок. Шьют его из собачины, еще очень крепкие и ноские пакульки из гагары. Есть ичиги – кожаные с кожанými голяшками, есть чирки с опушными – все кожаная обувь, а бывают бокаря и торбаса – это из камуса, оленьего и сохачьего. Камус – шкура с ног сохатого, оленья или коня. Так вот, пимы – это что-то вроде обрезанных торбасов с матерчатой голяшкой, в общем, камусные бродни. Они очень теплые, мягкие, не скользят, но боятся воды и требуют ухода; придя в избушку, охотник снимает их и, если намокли, сушит в не очень жарком месте, чтоб не сохлись. На носки пимов пускают сохачьи лбы, ворс там очень крепкий. Камусы сначала скребют скребком, потом кроят. Пимы я сшил вместе с собачьей шапкой, и мне очень хотелось пофорсить в Бахте на праздник в обновках.

База наша стояла в заброшенном поселке, от которого до Бахты было километров двадцать по Енисею. Кроме меня, на станции жило еще четверо, среди них пожилой, лет пятидесяти, человечек по имени Леша, от рождения маленький, безбородый, с высоким детским голосом. Лицо мальчишеское, но в морщинках, брови сросшиеся, а глаза мохнатые, и выражение пчелиное. Родился таким вроде бы из-за того, что отец лупил смер-

тным боем беременную мать. Были они сами с Кубани, но куда-то их сослали, где-то они жили-работали, и там Леша и родился. Занесло на Енисей, прижился, рыбачил, охотился, по экспедициям таскался – ушлейшим стал, хитрал во все тонкости, силой обделил Бог – брал внимательностью, хитростью, осторожностью. Мужики сибирские – крепкие, размашистые, горлопанистые – презирали: «А... этот, маленький...»

Задок широковатый, плечики узкие, ручка изуродованная, с отгяпанными двумя пальцами, рукопожатие – зажимаешь какой-то прохладный неправильный комочек ли, обрубочек, с трудом он как-то, щекотно зажимается, и рука приспособливается, ловит, ищет знакомое, привычное, удобное и не находит. Когда одевался зимой в тайгу ли, в дорогу, папаяливал теплое, фуфаячку, суконную куртку, и много одежды получалось, и даже перепоясанный выпячивался грудкой, как воробышек. Кличка у него была Заяц.

Собрались мы с Зайчиком в Бахту на Новый год. В Енисее прибывала вода, и на полдороге мы врюхались в наледь, да так, что усадили «Буран» по подножки. Место поганое – торосы, вокруг вода, а надо на берег. Корячились, вдрызг измочив ноги и боясь опоздать к празднику, так и не пробились, бросили «Буран» и пошли пешком. Морозец хоть и несильный, но градусов под тридцать. По берегу бурановская дорога, твердая, укатанная, и вдали мерцает Бахта огнями. Заяц чуть подмочил ноги, а я набродился как следует и в своих раскисших пимах спасался только быстрым шагом и изо всех сил шевелил пальцами. У Зайца болела нога, да и человек пожилой, все время отставал, отдыхал, и я предложил: «Ты шкандыбай потихоньку, а я в Бахту побегу, переоденусь, возьму у мужиков «Буран» и тебя встречу». И тут Заяц начинает рассказывать историю про двух братьев, попавших точь-в-точь в такой же переплет: у одного болела нога, другой пошел за «Бураном», а первый замерз. Естественно, кроме раздражения и насмешки, эта шитая белыми нитками история ничего у меня не вызвала. Как я злился на него за страх, как насмехался и возмущался лукавством, дескать, чо уж придумывать, сказал бы прямо – не бросай, а то замерзну, дак нет – сочинил байку со страха, не поенился, а главное, за дурака держит, думает, поверю! Ну Заяц! Пришли мы в Бахту вместе. Пимы снимали с меня втроем и вместе со штанами – ледяными гармошками. «Буран» вызволили через день. Заяц в Бахте напился и шумел.

Во время гулянки Заяц докапывался до какого-нибудь здорovenного мужика, тот поначалу терпел, пожимал плечами, переводил на шутку, а потом молча выкидывал Зайца с крыльца. Заяц плакал, ругался, дрался и в конце концов убежал «к собачкам», дескать, только они его и понимают. С похмелья болел, отлеживался несколько дней.

От постоянного приспособления, унижения стал хитрым, пронырливым. Все шнурил, выслеживал, распутывал следы, кичился своей дошностью, способностью разгадать, кто что делал, кого добыл, куда ходил. Убили сохатого, приехали ночью. Он на берегу, не успели глазом моргнуть – уже в лодке, мешки с мясом ощупывает. Бывало шуганут – злоба, обида уходит вглубь, копится, вырывается по пьянке скандалом.

Баба Шура, тоже одинокая жительница заброшенного станка, была связана с Лешей старой дружбой-враждой. Коротая долгие зимы, знали друг друга насквозь, ссорились до ненависти, часто из-за пустяков, мирились – деваться некуда, в одной деревне живут, все равно ходить друг к другу, выручать то тем, то этим. Оба маленькие, вечно в фуфайках, рукавицах – гномы, лешие ли какие. Бабка не любила Лешу за хитрость, лживость. В порыве ненависти, брезгливости вскричала раз, что, мол, противный, мелкий, «косточки, как у зайца», так бы и придавила, чтоб «хрустнули». Рассказывала с презрением, как он однажды засадил в торогах нарту и со зла и бессилья «все уши собакам изгрыз».

На станцию Зайца устроил начальник, человек надутый и своеобразный, раз в году наведывавшийся сюда из Москвы, как в свое имение. И в

экспедиции, и местные мужики его не любили за барство, бутафорство – все строил грозного, но справедливого отца-начальника, за глупые выходы – приезжая, первым делом поднимал «вопрос о собаках»: все, кроме его собственной, должны были быть привязанными под страхом расстрела. Был один заведующий станцией, смоленский мужик из охотovedов. Его сука, на редкость рабочая лайка, попала в особую немилость, пришлось ее увезти в соседнюю деревню, потом контрабандно вернуть и держать тайно на чердаке. Начальник прознал, требовал выдать, басил: «Я не одну собаку застрелил!». Славик, заведующий, вывел жену, детей, собак и корову и сказал что-то вроде: «Бей уж всех тогда!».

Зайца Слава на дух не переносил. Начальник оформил Зайца охотинспектором, но, естественно, курицам на смех, потому что физически тот был к работе такой непригоден – «Вихря» продернуть не мог, ездил на «Ветерках». Слава по весне караулил на озере уток, и, когда возвращался домой, его подкараулил Заяц, составил на него протокол. Слава взъярился, отобрал у того ружье, пнул как следует. Я вошел к Зайцу, когда он пищал по рации: «Принимайте меры! Д. совсем распоясался, руки распускать начал, у меня вырвал из рук ружжо, а меня выбросил под угор! Да! Да! Как поняли? А меня выбросил под угор, прием!». Мужики потом передавали друг другу уже в перепутанном виде: «Десятый! Слышал – егершка-то в М., дак, грит, кто-то ему руки вырвал и под угор выбросил!»

Фамилия начальника было Сырко, и все за глаза звали его Сыром. Сыр давно знал Зайчика, опекал. Заяц платил Сыру верностью и уважением и находился в глупой роли: все сидят экспедиционной оравой и костерят Сыра, и вроде он не согласен и в душе протестует, а неудобно перед ребятами – не поймут да и не нальют. Все называют начальника Сыром, а он придумал Сэром, вроде и от народа не отделяется, и уважительность сохраняет.

Наблюдал, подмечал, докладывал начальнику, за что бывал хвален: «Пиши мне все как есть, Лексей Евдокимыч, правды не бойся, я тебя всегда пойму и поддержу». Проташенный начальником силой в местную инспекцию, работы не делал, и раз приехали настоящие инспектора и устроили Зайцу разнос. Лихие, примчались на двух лодках, один с эскаэсом, другой с «Макаровым».

– Так. Ну что тут, что за такой егерь, где работа? Гнать его к едрене матери!

Все происходило прилюдно, за столом, за бутылкой.

– Значит так, Лексей Евдокимыч, будем работать? А? Что? Ладно, давай так! Дадим тебе лодку – «Прогресс», «Вихря» дадим. А? Справишься? И тут Евдокимыч говорит честно и обреченно:

– Скажу прямо – не справлюсь.

Умчались. Который с «Макаровым», мясистый, быстрый и сам наслаждающийся своей боевитостью, с леопардовой гибкостью прыгнул в свою, крашенную судовой краской «Обушку» и особенно лихо стеганул по весенней воде, поиграв вправо-влево штурвалом: вроде как рулевой трос проверил, почти как самолет повел, а убитый Лексей Евдокимыч проводил его взглядом и цокнул восхищенно:

– Лучший инспектор района!

Старел, все труднее было и лодку стаскивать-затаскивать, и мотор дергать, да и река серьезная, и погода сил требует, ловкости и хребта дюжего. И вот уже и с рыбалкой закрутился, и с охотой, а ведь знал, любил, чуял с крестьянской дотошностью, цельностью. Ускользает все, а молодые только в силу входят, и он видит, как кто рыбачит, что несет в мешке. И вот бегают, выглядывают в бинокль, злятся и переживают, и все видят и тоже усмеваются, и еще меньше уважают, больше презирают.

И злоба растет уже самому во вред, уже сам собой не управляет. Был в экспедиции один начальник отряда, Б., с которым они дружили. Б. относился к Зайцу с осторожной заботой и тактом, помогал, поддерживал. У Б. был кобель, злой и кусачий. Кобель оставлялся на зиму на станции. Заяц

кобеля уважал, поскольку уважал хозяина. Когда осенью экспедиция во главе с Б. уехала, кобеля этого кто-то из нас сдуру отпустил, и он укусил тетю Шуру, напрыгнув сзади, чуть не сбив с ног. Бедная, стояла посреди улицы и плакала, беспомощно объясняла, показывала: «И за это-то место он меня имал, и за это имал!». И тут Заяц, у которого после отъезда экспедиции что-то накопившееся сорвалось, злорадно спустил своих кобелей, и они стали давить этого Норда невзирая на всю Заячью дружбу и любовь.

Недавно я узнал, что история про замерзшего мужика была по правде. Выходили из тайги в сильный мороз два охотоведа-практиканта, и один из них провалился. Приползли в избушку, где не было то ли ни щепки дров, то ли печки. Не то сил на поиски сушняка и разведения костра не было, не то голова не соображала. Сухой оставил мокрого и пошел в деревню за подмогой, мокрый замерз. А всего-то надо было поджечь избушку и возле нее обогреться.

Потом Заяц написал про меня Сыру, что я чуть не вморозил казенную лодку, и я взъярился – стукач, мол, гад, а еще ходит здороваается. Поехали в Бахту, попали там на попойку и поругались вдрызг. Заяц кричал: «Да не писал я, хоть убей меня!». Было стыдно, и этот замешанный на похмелье стыд стал какой-то горкой в моем неприятии Зайца, и вскоре отношения стали тихие и снисходительные, бывает, злоба и раздражение так отравят, что уже не жизнь. Вскоре я переехал в Бахту и вышел из замкнутого мира маленького поселка, навещая который, заходил к Зайцу, и спрашивал о здоровье, и пил чай в знак того, что не забываю, дорожу прожитыми вместе годами. Когда он, совсем состарившись, собрался уезжать, стычки, ссоры сжались в памяти, удалились и осталась только потребность в уважительном завершении отношений.

Помню экспедиционный праздник еще в первый мой год на Енисее. Праздников ждали с нетерпением, многое выплескивалось, разрешалось на них, и наутро каждый чувствовал себя освободившимся от груза. Заяц сидел с кем-то на крыльце и говорил: «Самое страшное на свете – это одиночество». Слова эти показались мне ненастоящими, а тон пафосным, наигранным. Все раздражало – уверенность, цепкость, бойкий, авторитетный голосок-колокольчик. Говорил всегда уверенно, держал эдакий общающий тон: будто ему-то уж все видно, известно, понятно, что если есть о жизни какая-то горькая и жестокая правда, то уж кто-кто, а он-то к ней ближе всех. Любимое присловье: «А я сразу сказал!» – или: «Я знал, х-хэ!» Манера по-своему наперекор ставить ударение, особенно если слово чужое, привнесенное, и он принимает, конечно, но с поправкой: «Юкон» (кобель), «стаБильно». Енисейское наречие впитал без остатка: «добыват», «капканья», «горносталя». Еще говорил: «Дременится», – когда странным миражом всплывало над многоверстной гладью судно ли, берег и чудилось не знамо что.

Знали все прекрасно Зайца и почему-то требовали от него невозможного. Сам я честно думал: как же так, ведь убогий, значит, ближе всех нас к Богу, значит, святым должен быть, всепонимающим, а не злобным, не обижаться на свою долю, а принимать со смирением и смирению нас учить. Откуда такая оголтелость, самоуверенность, гордыня, как смел я судить его? Авдуг и сейчас к кому-нибудь так же отношусь, не желаю простить, понять, не могу себя окоротить, так же огульничаю. И почему, когда учимся пониманию, прощению доводим отношения до такого состояния, что самим тошно? Правильно ли, что делим людей на милых нам и не милых, будто звериным чутьем, по запаху различаем наших и не наших, и если уж наш, то прощаем все, а если не наш, то всех собак спускаем? Почему любим, когда по нраву нам скроен человек, когда породу нутрянную имеет и нас питает цельностью, а если нет того, не прощаем? Выходит, у кого и так богато внутри, его еще догружаем любовью и уважением, а у кого неуютно, плохо – и любовью, и пониманием обделяем, отнимаем последнее?

Снова перед глазами Лешино лицо, скуластенькое, зубы редкие, рот в улыбке разъезжается широко, а он его стягивает, собирает на место, весь в сборочках, в морщинках. Вижу его сросшиеся на переносье бровки, глаза в густых ресницах и вспоминаю очень похожего мужичка, встреченного на пароходе. Правда, был он чуть побольше, но голос такой же резкий, уверенный, так же свое гнет, щебечет, рассказывает историю: как на Тунгуске охотился и был у него камень, на котором он сидеть любил, и как болезнь, простуду в него натянуло с этого камня. Сидим в ресторане, мимо берега проплывают и снег идет, кто-то удивляется, а он совсем по-Заячьи возмущенно, хватко и заправски отрезает: мол, вы чо, такие-то?.. Пока удивляетесь, х-хе, его уж, этого снега туда, в берег, в хребет – накидало по самые не балуй! Все сечет, все понимает – знай наших маленьких мужичков, раньше всех все видим сверху, выше всех вас на сто голов!

И вот такая штука удивительная эти людские типы – будто пимы с одной колодки! Дальше образ по нарастающей пошел, еще один дед у меня знакомый появился – охотились рядом: с той же колодки, те же брови сросшиеся, скулы, глаза мохнатые, отчего взгляд всегда озабоченный, тот же голос и манера та же, и самоуверенность, и что самое удивительное – так же ударения по-своему, врасык со всеми лепил: «зАповедник». Откуда такая выкройка! Или уже дременится мне?

Из дневника. Тынен

27 нбр. Ровно две недели, как меня здесь не было. Я ушел на Остров, потом на Молчановский, волнуюсь, потому что уже очень хотелось наконец увидеть Толяна, которого тогда не повидал. Прихожу – снег все присыпал. Думаю, ладно, будто и не прислушиваюсь, и не жду никого. Включил приемник погромче, на нары прилег, и вроде как грохот какой-то, вроде в приемнике, вдруг – нет, за дверью Нордик ревет (а Алтус на дороге остался, лаять некому). Выхожу – Толян, куржак в бороде, разворачивает Нордик за лыжи. Нордик длинный, весь в снегу, лыжи вдоль засунуты, в багажнике поняга. Толян говорит: «Сразу тебе задницу мылить? Ты к седьмому сюда собирался. Тут медведи повывлезали и стали нашего брата охотничка хряпать. Двух сх...кали».

А медведь задрал одного наверху где-то и другого в Пакулихе. Напарник видит – не вернулся мужик (тот по дороге пошел). На следующий день искать побежал. Собака заорала, тут и медведь. Заклевал он его с тозки кое-как, подошел, а его напарник в снег закопанный лежит, и рука рядом валяется. Снегов-то мало, а морозы стоят, вот медведи и повывлезали. Нда. А с соболями у всех беда, у Витьки вообще четыре штуки.

Левченко рассказывал по рации, как с головой искупался в Бедной. Устинова увезли в Туруханск – кровью закашлял. Тетю Шуру тоже, оказывается, увезли. Осень.

Толян говорит сучке, когда она виляет хвостом и бьет по косяку: «Избушку срубись», а если наступит ей на лапу, а она взвизгнет: «Не ходи босиком». Однажды Таган лизнул на морозе сковородку, она прилипла к языку, а он завизжал и забегал с ней вокруг избушки, пришлось затащить его в избушку и поливать сковородку кипятком.

Поехали на Бедную за моим Нордиком и посылку взяли. Там китайская водьяра-самогонка, пельмени и шанги с морковью и черемухой.

Потом я поехал на Метео, потом на Ворота. До Ворот добирался целый день. В нарточке бензина бак здоровый от вездехода и канистра, и продукты, да шмотки, да приемник. В торосу кое-где снегу по пояс, об торос полоз у нарты лопнул на сгибе. Бензин бросил, продукты взял, добрался до избушки с фарой. В избушку нарточку затащил, оттаял, отвинтил обломок, а полоз дюралевый, дрели нет, прокопал дырки в нем

топором, скрепил с полозом внахлест, а спереди дощечкой надставил. Хорошо в порядок приводить что-то, а не на нарах валяться.

На другой день, то есть сегодня, залил бак, загрузил понягу – и вперед. И вот я здесь. 12 градусов, и то хлеб. Чай с брусничкой, хлебец, сухарики. Махрятина с Метео Генкина – дрянь преестественная. Да... Выезжаешь в темноте и приезжаешь в темноте.

28 нбр. Тепло кончается, это Таймыр поддавал пургой своей. Яснова-то, звездочки, за 20, луна в кольце, крылышко ряби. Почему так нравится «работать» со снегом? Как хорошо он принимает форму – прокладывание дорог, огребание около избушки, даже лыжня, ведь дело самое безнадежное – снегопад, и все прахом, не говоря уже о весне. Вот человек – любит все бесполезное.

Еще думал о том, что охота, промысел, хоть и называется словом «работа», на самом деле совсем что-то другое, что-то гораздо более сильное, сверхработа, запой какой-то. Ну какая это работа – везти-корячиться груз по порогам или биться на снегоходе со снегом? Работа – это что-то размеренное, с обеденным перерывом.

Портки, бродни с запахом выхлопа. Что-то свирепое в этом выхлопе, в скорости, в заиндевелом заднем фонаре, в рифленном следе.

Состояние тоски по всему, ясности, выпуклости, небывалой точности, какое и нужно, чтобы писать.

Что-то делать, что красиво, хоть и просто жизнь. Везти воду, например, в морозный день с ярким солнцем и синими торосами, когда плавильные сугробы отбрасывают длинные тени, и бьет вбок белая струя выхлопа, и слышно, как потрескивает, замерзая, ведро. Или колоть дрова...

Отрезал газету для самокрутки, ножницами, лишнюю полоску небольшую, а она так странно, трепеща, медленно улетела вниз под стол.

Что есть счастье? Вдруг по радио раздастся мелодия, и забрезжит что-то, не счастье, конечно, но что-то вроде его окрестностей. Жизнь среди природы может приблизить человека к счастью. Люди... Красоту, усталость, невзгоды надо делить с людьми.

Звон кустика, ветки о лезвие топора.

1 дек. Зима, значит. Приехал в Ворот с грузом. Ехал-ехал, доехал почти, в Ручей стал сворачивать, и крикнул хомутик нижнего крепления рулевой тяги. Повезло, что близко уже. Короче, возился, возился, руки все изрезал, они черные, в копоты, кровь густая на Нордик капает, стоп, говорю, пошел в избушку. Утром Нордик пригнал, мотор снял, ключ подточил, гайки отвернул, хомутик кое-какой сделал из обода от бочки, мягкий правда, как масло, дырки топором вырубил, привинтил, а сверху проволокой закрутил толстой.

Глухарек с риском, чай с брусничкой, а на ужин Лесков.

Пешком по лестнице

1

На вид он оказался старше, чем я представлял, чем знал по фотографиям и телевизионным передачам. И как-то крепче, шире, ниже. Лицо было сильно испещрено морщинами, но больше всего запомнился большой слезящийся глаз, в котором стояла влага, и он от этого казался неподвижным. Весь облик его был сбитым, характерным, узнаваемым, будто эти черты тысячи раз встречались в лицах случайных попутчиков в самых дальних поездках и на затрапезных вокзалах. Народной была и его речь, но если когда-то давным-давно по радио ее грубоватая эпичность казалось нарочитой, то теперь, когда я сам прожил столько лет за Уралом, она стала настолько близкой и понятной, словно в ней была зашифрована вся моя сибирская жизнь. Тембр голоса, то, как по-красноярски

произносит он слова, – все это напоминало речь капитанов с пароходов, тепловозных машинистов, охотников, трактористов, а облик этих людей мешался с его собственным обликом и обликом его героев и отливался в одно единое крепкое ощущение. Одет был Виктор Петрович в брюки и какую-то, кажется, зеленую кофту, отчего имел особенно домашний вид.

Встретился мы с Виктором Петровичем на Астафьевских чтениях в Овсянке, куда я приехал прямо из Бахты. Добирался сначала на теплоходе, ползущем по осеннему дождливому Енисею, а в Енисейске ночевал в холодящей гостинице под тремя одеялами, потом трясся целый день на автобусе в Красноярск, потом на электричке до Овсянки. В буквальном смысле с корабля я попал на бал. С дороги знаменитая овсянковская библиотека оказалась прекрасным замком. Сама Овсянка по астафьевским рассказам о детстве представлялась тихой деревней, притаившейся меж тайгой и рекой, а теперь выглядела размашисто и разномастно застроенным поселком, прилепившимся к трассе.

На втором этаже замка-библиотеки в специальной гостевой зале уже заседал Виктор Петрович с небольшой компанией. Меня проводили, представили, усадили за стол, Астафьев велел налить чуть не стакан водки (как охотнику), весело объяснив окружающим: «Он тут охотничат у нас». Мне, голодному с дороги, и водка и закуски были лучшей наградой.

На чтениях Астафьев был вечно окружен толпой и к нему было не пробиться. Помню, сказал он, что «если честно – на чтениях мы мировых проблем с вами не решим, но главное, что вы все можете друг с другом попить водки и пообщаться». Так оно и вышло. Сам Петрович, как его звали в красноярском окружении, особо не пил, уже здоровье не позволяло, и главным было просто продержаться на встречах. Еще запомнилось, что при общем (несмотря на неважное здоровье) веселом и балагурском настрое Астафьева, когда надо было сказать что-то ответственное с трибуны залу, он говорил точнейшими и краткими словами. Предложил послать телеграмму от всех участников встреч в Овсянке Василию Быкову, находящемуся на чужбине, – так «мы его маленько поддержим».

2

Потом, в начале зимы, с красноярской журналисткой Натальей Сангаджиевой мы посещали Виктора Петровича в Академгородке. Поразила квартира (сделанная из объединенных двух) в пятиэтажке без лифта. Я представил, как Виктор Петрович поднимается пешком по этой лестнице к себе наверх, и еще представил расселенных по шикарным писательским домам и дачам маститых столичных литераторов, и вскипело раздражение, обида...

– Проходите, ребята, – отворил дверь Виктор Петрович, – а это чо за поклажа? Неси ее тоже, – сказал он про авоську с рукописью книги, которую я поставил было в прихожей.

В гостиной стоял огромный светлого полированного дерева стол для гостей и рядом рабочий стол – тоже большой, с каким-то зеленым сукном, все чуть старомодное, с размахом сделанное и какое-то классически писательское. Именно так я представлял в детстве писательские апартаменты.

До этого я видел его только на людях, а тут в разговоре он поразил какой-то необыкновенно человеческой интонацией, понятными и близкими чувствами. Он рассказал про всякие официальные встречи, мероприятия, где его просят присутствовать, даже подарки дарят, (по обязанности, а не от души) и как стыдно так вот сидеть, исполнять значительную роль. Он потер голову, под седой чуб подлезая ладонью, и, морщась и краснея, выдавил: «Сты-ыдно...». И так верилось тому «сты-ыдно», казалось, что неловко этому выдавшему виды человеку не только за один случай, а за все, творящееся на Земле.

Потом подивился, как запросто кто-то говорит, мол, мы, писатели: «А я и сам-то себя писателем с трудом называю – неловко», – и я подумал, что сам так же чувствую.

Шел ноябрь, и Виктор Петрович спросил, почему я не на охоте. Я ответил, что приболел, а он спросил-предложил:

– А нельзя как-нибудь потихонечку?

– А как потихонечку-то? Лежит бревно – его надо или поднять совсем, или уж не трогать, или собаки хрен знает где соболя загнали – разве не побежишь?

– Да, конечно, нельзя потихонечку... – И потому, как он снова сморщился, было видно, что знает он все это прекрасно, что за секунду проиграл в голове и это бревно, и тайгу, и человека с уходящими силами, и снова поверилось и в его слова, и в интонацию какого-то последнего понимания жизни, ее сложности, невозможности одолеть нахрапом.

Потом спросил: «Как дальше жить собираешься? Все в Бахте?». И сказал, что надо перебираться ближе, в город, – если литературой заниматься. Рассказал о своей жизни, как и где он жил: на Урале, потом в Вологде, а потом сюда вернулся, на родину. Как дом этот купили. Еще речь зашла о том, как к Сибири прикипаешь, и он согласился, вот, говорит, люди пишут об этом, уехавшие в другие концы России. Я сказал, что, когда Енисей начинаешь сравнивать с другими местами, они проигрывают, и Виктор Петрович согласился: Урал вроде похож на наши места, тоже вроде тайга, горы, вода, а не то.

А я думал про Бахту, что, когда уезжаешь, кажется, будто предаешь что-то важное, и вдруг Виктор Петрович сказал, что, когда зимой проезжает Овсянку по дороге в Дивногорск, видит свой дом и чувствует, как будто предал что-то.

Напоследок Петрович побалагурил. Рассказал, как был в окрестностях поселка Бор в Туруханском районе на Енисее, где у него живет игарский однокашник. Друзья его отвезли в Щеки – знаменитое и очень красивое место, оставили рыбачить, а сами отъехали. Стоит Петрович с удочкой, вдруг лодка, в ней мужичишко зачуханный. Глядит подозрительно, странно смотреть ему на эту удочку – место здесь осетровое, и непонятно, то ли правда с удочкой рыбачок, то ли нечисто дело, рыбнадзор замаскированный. Разговорились.

– Астафьев? Да ты чо! Да не может быть! Врешь! Скажи: «... буду!»

– ... буду.

– Ну ладно тогда.

И мужичок достает из бардачка «Царь-Рыбу», рваную, замусоленную, мокрую:

– Подписывай!

А потом Виктор Петрович ехал на рыбнадзорском катере, и у капитана тоже была «Царь-Рыба», и он ее тоже подписал.

– Поэтому я могу сказать, что мою книгу читает весь речной народ – от самых отпетых браконьеров до рыбнадзорских начальников! – весело подытожил Виктор Петрович.

Рукопись книги Виктор Петрович оставил у себя, мол, может, придумает что-нибудь, и сказал Наталье:

– Ты здесь все ходы и выходы знаешь. Помогии ему, Наташа, а то так и будет всю жизнь с этой авоськой ходить.

На чтениях екатеринбургский художник Михаил Сажаев все крутил диктофон с записями знаменитого Петровичевого балагурства. Астафьев что-то лепил про Овсянку, как мимо нее весной несет по Енисею всякий хлам: «Тарелки несет, холодильники, машины, бляха муха...» Говорил

со своими интонациями, с непечатными добавками, и байка воспринималась тогда как просто хохма, а потом, когда вдумался, оказалось, что за смехом этим стоят и горечь, и боль за загаженный Енисей, природу, вообще всю нашу планету. Переживал он, говорил и писал о захоронении радиоактивных отходов под Енисеем, о испоганенной тайге, о том, что человек – самое вредное животное: пока все не изгадит, не срубит сук, на котором сидит, не успокоится. Говорил всегда беспощадно, как есть, ширью своей не помещался ни в какие ни круги, ни партии, лепил направо, что думал, болея и переживая, но никогда не ненавидя.

Вокруг Виктора Петровича вращалось огромное число людей. Были друзья, были лжедрузья, но каждый считал, что именно с ним у Астафьева самая особая и самая близкая дружба. Каждый хотел внимания, каждый чего-то требовал. Один парень вошел к Виктору Петровичу, когда тот смотрел футбол. Решительно подошел, выключил телевизор и сказал:

– Виктор Петрович! Немедленно садитесь работать! Россия ждет вашего слова!

4

«Царь-Рыбу» я читал студентом как раз перед первой экспедицией на Енисей. У городских экспедиционников «Царь-Рыба» была настольной книгой, чуть ли не Библией, как в свое время у геологов куваевская «Территория». Астафьеву писали письма, благодарили. Местные охотники из читающих тоже преклонялись, а мужики попроще критиковали, нагоняли скептицизм. «Хе-хе! «Я сел на куст шиповника» – посмотрел бы я на тебя!». Каждому хотелось выпятиться как таежнику, поучить писателя, но бок о бок с этими амбициями жила и великая гордость за своего земляка. Многие были твердо уверены, что Астафьев живет где-то рядом в енисейском поселке. Помню, зашел в компании охотников разговор о «Царь-Рыбе», и один мужик, который всегда все путал и перевирал, заорал:

– Астахов! Я знаю! Знаю! Он в Ярцеве живет!

Один мой друг все читал в журнале дурацкую повесть про то, так мужики разводят в тайге в клетках соболей и летают туда тайком на оставшемся с войны самолете. Я сказал: «Пашка, ты че всякую ерунду читаешь? Взял бы «Царь-Рыбу!»

А Пашка ответил:

– Да ну! Там неправильно написано! Не было в Ярцеве никакого Командора – специально мужиков спрашивал!

Но главная претензия была про рыбалку на самолетах – поскольку все были самоловщики, природоохранный пафос рассказов не разделялся. Говорили, что перегнул палку, что не бывает столько снулых (подлежащих выкидыванию) стерлядок, если вовремя «смотреть» самолов, все хорошо будет. Задевало, что не воспевают автор браконьерскую жизнь, а судит ее. Но это все давно было, после выхода книги, а с той поры уже и мужики пообтрепались и как-то привыкли, что Астафьев – классик, и теперь в голову не придут никому такие разговоры. Наоборот, всегда говорят: мол, Астафьева по телевизору видел, горько говорил, но хорошо.

Недавно зашел ко мне подвыпивший мой друг – начальник метеостанции – и рассказал, что в тайге в избушке долго думал о том, как «снять бы нам фильм по «Царь-Рыбе» и как сыграл бы он тогда в этом фильме Акимку. «Ведь Акимка – это я!» – почти выкрикнул Валерка, и в глазах его блеснули слезы...

Еще встречались с Виктором Петровичем на юбилее литературного музея. Играл известнейший красноярский скрипач в сопровождении парня-гитариста. Когда Виктор Петрович вошел, скрипач сделал шаг вперед

и, глядя на него, с силой и радостью заиграл Свиридова, а Виктор Петрович, обернувшись к присутствующим, торжественно улыбнулся и громко сказал: «Музыка пошла!»

Потом в перерыве Виктор Петрович сразу давай говорить про «Ложку супа»:

– Густо, крепко (написано – он имел в виду), но пьют ведь у тебя всю дорогу, и если книжка вся из таких рассказов, то каково читателю, когда одна водка-то? У меня в «Царь-Рыбе» тоже пьют, но со смыслом.

– Но это же правда все чистейшая про моего соссда, что пьет он.

– Мало ли, что в жизни правда, в книге своя правда должна быть.

– Но ведь Енисей его спасает в конце! – продолжал отстаивать я рассказ, а Виктор Петрович сказал, что если б не спасал, тогда совсем бы грустно было: «Вот концовка все и спасает».

И добавил, что про тугуна можно было и поподробней, потому что не только городские, а и на Енисее-то не все эту рыбку знают. Рассказал, как в Енисейске угощали, а тугун соленый был, несвежий, и не знали гости, какой он свежий, как «хрустит на зубах»:

– Напиши про тугуна!

И это его «надо написать поподробней», «не все еще эту рыбку знают» обожгло чем-то старомодным, писательски-просветительским, каким-то таким замешанным на чувстве долга отношением к своему делу, чем-то таким, что уже давно не в ходу. И снова вспомнились «Затеси», работу над которыми он не прекращал всю жизнь, и слова про пьянку в моей повести – что надо о читателе подумать.

Потом Виктор Петрович показывал музей, с радостью, с гордостью – ведь могут у нас все сделать не хуже, чем где-то там за границей. Рассказал о том, как дом ведь этот сначала хотели городские власти ему подарить, он: «Да вы чо?».

Тем временем с подачи Виктора Петровича заварилось дело с книгой, для которой он вроде бы даже согласился написать предисловие, – такой он был отзывчивый человек. Рукопись я отдал в Управление культуры, и уже зашел разговор о типографии, но хорошего того человека, который всем занимался, сместили с должности.

Потом стала готовиться книга в Москве, весной я рассказал о ней Астафьеву по телефону, он ответил что-то обнадеживающее, а вскоре заболел, и, кроме беспокойства за его жизнь (почему-то была твердая уверенность, что он выкарабкается), была мечта прислать ему книгу, где в конце последнего рассказа был отрывок про тугунов, и все вспоминалось его: «Это чо за поклажа?» и «будет всю жизнь с авоськой ходить».

Из дневника. Тынел

3 декабря. Хорошо подъезжать к засыпанной избушке после битвы с дорогой. А когда избушка мирная, свет лампы, приемник, жарится что-то – мне одному ни к чему этим наслаждаться, да и нельзя этого сделать. Все-таки порой не хватает второго человека и не в трудовые минуты, а в спокойные.

6 дек. Приехал с Майгушаши. Хороший день. Подмораживает, 25. Звезды. Дорога хорошая, в воду не влезал нигде, у избушки только дуром хватанул и то не видел в молоке бугра и ямки. Добыл трех соболей там. Сегодня приехал сюда, привез ведро, глухаря мерзлого забрал, трубы, из чума войлок, Нордик – как ишак навьюченный, из поняги лапа соболиная торчит.

7 дек. Остров. Приехал с Ручьев. Не был здесь кажется с 17-го или 18-го. Уходил через Молчановский, а приехал с Ручьев. Очень хорошо. Все засыпано. Как говорил Толян: люблю подходить к избушке, чтоб все засыпано было.

Слушал радио: там бузят, что-то передают, музыку какую-то, из Лос-Анджелеса, говорят. Блин, думаю, Лос-тебе-Анджелес! Вышел – Нордик стоит в снежной пыли, я из него напильник принес.

9 дек. Мороз. Нордик поливал из чайника, чтоб завести. Ходил в сторону Молчановского к Толянову посланию. Короче, взбаламутила эта записка мою спокойную жизнь, а я вчера еще стих сочинял. В общем, мы собирались в деревню числа 25-го ехать. Я еще думал, дотерпит он или нет. А ему все надоело, соболей нет, «хандра заела», домой охота, давай, говорит, подваливай после 15-го.

11 дек. Ручьи. Приехал с Острова. Утром заводил Нордик с трудом, еле с места сдвинул. Сюда приехал – минус сорок четыре.

Январь, 18 числа. Пришел запускать, захлопывать капканы, значит. Почему поздно – после Нового года мороз прижал, до пятидесяти восьми. Потом поехали. Поломались Нордики. Пошел с Холодного, а мороз, на Мето переночевал, утром без двух пятьдесят. Да еще хиус, ветерок то есть, в морду. Дошел до Черных Ворот, ноги стало прихватывать, но не успело, зашевелил, так, пощипало слегка. Пока печку растапливал на Воротах, палец в бродне пыталось прихватить, но я быстро разулся и растер его. Потом пошел на Молчановский, потом тайгой на Остров, дошел хорошо, хоть и бродь. Пришел сюда, вроде и тепло, и пока нормально все, борщ сварил, избушка любимая, приемник.

21 янв. Пришел с Майгушаши. Минус 22. Добыл там всего одного соболя.

И хоть охотанынче совсем хреновая, день все длинней, и в 9 уже синё, можно идти. Весной запахло, южный ветер и ясный денек после облачности, теплый, с щедро-синим небом. Блажь в воздухе. Аутром вчера, когда шел хребтом, все было совершенно синим, и кухта, и снег. Вечерами там, на Майгушаше, делать было нечего, смотрел на часы, торопил жизнь, спасался мыслями о прожитом, перебирал, будто ящички выдвигал из старинного комода, сколько всего! Писать надо. На Ручьи пришел, поднимался к избушке, радовался: отличное место и любимая избушка. Хорошо, когда стены желтые, для меня здесь дворец, все есть, приемник и прочее. Завтра проверю короткую дорожку, скину снег с крыши, уберу шмотки на лабаз и попробую рвануть на Остров. А там...

Не доходя до Майгушаши есть скалка у Тынепа, по ней течет вода струями, она замерзла голубыми прядями. Глянул на свою диковинную обмороженную рожу в зеркало – словно сбежал.

25 янв. Утро в деревне. Сажусь за «Лес». А вроде только из лесу.

Лица Геннадия Соловьева

О Гене Соловьеве и писано, и думано, а уж с самим Геннадием переговорено – сколько лет прожито!

Гена другой. Не пьющий, не бедовый, а, наоборот, крепкий и работающий. Он классический охотник-промысловик, мечтавший мальчишкой о тайге и охоте. Жил в южном Красноярье, то в Боготоле, то под Канском, любую возможность искал для охоты, а после армии уехал в Туруханский район, жил в разных местах, пока в конце концов не осел в Бахте, где был подходящий участок и школа для трех его сыновей и где мы вместе работали охотниками.

Более работающих людей я не встречал. Пребывание в тайге было для него праздником, а охота – любимым делом, не мешавшим оставаться прекрасным плотником, столяром, жестянщиком, механиком, рыбаком, скотником, крестьянином и просто отличным товарищем. Мало того, что он все умел, он ощущал себя носителем этого умения и поэтому всегда охотно помогал советом, причем как бы с запасом, с избытком, и огорчаясь, если совет оказывался кому-то не по плечу. Был он всегда лучшим

охотником района, гвардейцем промысла, не курил, почти не пил и не пьет.

Держал двух коров, рыбачил, добывал больше всех пушнины, вырастил трех сыновей, которых грозно называл «лоботрясами», и без конца передельвал печку в бане, добываясь пара, никогда его не устраивающего. Он был вечно в работе, разрывался между хозяйством и тайгой, чувствовал хребтом каждый день уходящей жизни и свое старение – он 1947 года – ощущал как некую нелепость, потому что здоровье у него отменное, мозги на месте и только напитывают знания да ясности. Кажется, наоборот, жить да жить такому человеку Земле на пользу, ан нет – и волосы и редуют, и седеют, от глаз морщинки все туже пучком стрелок собираются, глаза садятся, да кожа на висках все прозрачнее – в белизну с синевой.

Гена ото всех отличается, он другой породы, другого замеса, как бывает батарейки с усиленной емкостью или какие-нибудь спецмашины, все в нем наивысшей пробы, превосходной степени – даже занудство, и если большинство людей барахтается как попало в жизни – как выходит, лишь бы выжить, – то тот еще и думать успевает.

Кроме рабочего, полезного, есть в Геннадии некая художественная, что ли, добавка, без которой его представить немислимо. Он пропитан промышленным охотничьим, ушедшим, набранным из старых баек, историй, слышанных от разных дедов да товарищей. Например: два мужика еще давно решили промышлять в одном глухом углу тайги. Пришли, и почему-то остался один из них в избушке. Сидит он вечером, собаки под нарами. Слышит скрип-скрип, шаги по снегу. Собаки ноль внимания. Дверь открывается. Входит босой мужик в шинели. Говорит: «Уходи отсюда, из моей тайги. А то худо будет». Был сильный ветер ночью, и, конечно, никаких следов наутро не оказалось. Потом явился напарник, история повторилась, пришлось убраться. Историй таких полно.

Еще есть в Гене старина кулацкая, крепко-хозяйственная, причем если охотничко-старинное у него вроде обложки – в рассказах, словечках, то кулацкая старина – нутряная, в движениях, хватках. В раздражении к безалаберности, разгильдяйству, в бережливости, даже скупердяйстве. Но не от жадности, а от жалости к затраченным силам, к выращенному, собранному и сохраненному хлебу, к добытому мясу, рыбе. От старинной купеческой тяги к копейке, сто раз описанной: да, есть кой-какой достаток в доме, но не думайте, что просто так это все, за этим труд стоит. И нечего добром разбрасываться – прокидываетесь. Аккуратность, бережливость и с инструментом, и с техникой. Этому дам рубанок, а тому нет. Никогда ничего на виду не валяется, чтоб не клянчили. Но зато, когда много чего-то вдруг, особенно дармового, кто-то, к примеру, подшипники подарил двести пятые, почти сотню, тут наоборот – охота их раздать, чтобы не отсвечивали, в дело пошли, работали, уже жалко, что висят, бездельничают. А мотор какой-нибудь пылится в запасе, и пускай, еще придет ему время. На «Буране» по деревне не поедет – пешком пойдет. Еще свои секреты бережет, чем-то делится, а чем-то нет: мол, вам скажи, дак вы всех соболей передадите. Это и игра, и правда.

В одежде тоже аккуратность, сам подошьет, где надо, подлатает, каждую вещь под себя переделает. Другой и сам так думал, но поленился. Обычно в таежной одежде ходит, с ножом из рельсовой пилы, а то возьмет вдруг откуда-то ловые сапоги достанет, рубаху, портки в темно-синюю полопочку и белую кепку. Все заправленное, чистое, плотное.

В тайгу поедешь с ним, окажется, что все не так делаешь, не так жарить, те так паришь, не так крышкой накрываешь, не так сеть смотришь, как здесь смотрят, и всему свои объяснения, своя история...

Пока выходит из Гены почти зануда какой-то, но есть у него и другое лицо, охотничье, но не баечное, старинно-промысловое, а жизненное. Лихость своя: нож метнуть и попасть точно, чтоб воткнулся и замер, мел-

ко дрогнув, через лесину перемахнуть мягко и мощно, подъехать с шиком на лодке или снегоходе. Тут все боевое, быстрое, горячее. И понятное. В тайге, на реке, если что не так, орет, материт, главное – на это внимания не обращать. Охотничье не отделяется от рыбацкого, крестьянско-хозяйственного, сенокосного, плотницкого, столярного, все стороны мужицкой жизни изучены досконально, развиты и прилажены к себе. В компании, в дороге с незнакомыми может быть остроумным, обаятельным, знает вкус к общению – и здесь умелый.

Есть у Геннадия лицо товарищеское. Товаришшы... В старинном понимании слова. Как в сече или на миноносце. Почти армейская отзывчивость на твой приход, просьбу. Может и отказать, но понятно и необидно. Одно время я жил у Гены, другое – Гена у меня, все в порядке вещей. Еще очень строгая разборчивость, свои – только охотники.

В нашей молодой охотничьей компании был мужик Гениного возраста – Дмитрич, с которым они состояли в отношениях и близкой дружбы, и конкуренции одновременно. Охотник тоже с богатым опытом за плечами, Дмитрич, существуя рядом с Геной, олицетворял некую парность, странный закон, по которому одному и тому же явлению жизнь дает на всякий случай две параллельные версии: Пушкин – Лермонтов, Достоевский – Толстой. Они с Геной хоть и крепко дружили, но на людях без конца препирались и так подшучивали друг над другом, что их перепалки давно стали законным спектаклем. У обоих были подрастающие сыновья, и однажды на охоте все оказались на связи: Дмитрич с Петькой и Гена с Денисом. Разговаривали друг с другом сыновья, а отцы, лежа на парах, продолжали свое единоборство уже через сыновей, подсаживая то каверзнейшие вопросы, то меткие ответы, и было удивительно, как молодой увалень Денис под руководством отца на редкость остроумно препирался с ушлым Петькой.

Сборищ охотников Гена никогда не пропускал, всегда сидел до утра, терпя и дым, и шум ради общения, и очень не любил, когда встреча превращается в бездумную, обычную пьянку. Однажды в городе в гостях Гена выпил непривычное количество коньяку и, покрасневшись, блестя глазами, потребовал гитару. Перестроив ее на семиструнный лад, запел грубоватым подрагивающим баском что-то старинно-сибирское – кабацкое и разбойничье, потом тюремное, а потом что-то про совращение молодой девушки – с подробностями, которые Гена рубил грубо-невозмутимо, жертвуя приличиями ради правды.

И из этой семиструнной гитары, из подрагивающего мужественного и даже канонического баска проступает еще одно Генино лицо – лицо лирическое. В нем Генины сочиненные в тайге стихи-песни, которые он читал без всяких реверансов и стеснения и которые сначала не записывал, а потом по моему совету стал все-таки записывать в тетрадь. В стихах этих есть безусловный талант, и достанься такой хоть кому из тех безликих, но профессиональных писчиков стихов, что берут крепкой задницей да неспособностью к другим занятиям, такой бы прославился за год.

Чайка уныло кричит над водой,
Машет серпом крыла,
И запоздалая баржа волной
Стылые бьет берега.

Эта концовка Гениного стихотворения, написанного с первого раза и безо всякого редактирования. Что в последней строчке нет рифмы, ему не пришло в голову. Зато какой классический дольник и как точно передано настроение енисейской осени – эта торопящаяся самоходка, и волна, задумчиво окатывающая обледенелую гальку, и опаздывающая из-за непомерной речной шири! Откуда Гена взял себя? Как скроил?

Бывало, видя мои литературные мученья, он предлагал сюжеты, и были прекрасные моменты, когда мы негромко и не спеша обсуждали,

как лучше построить концовку, и была у обоих одинаковая заинтересованность сохранить, воплотить то прекрасное, что нас окружало, и было ощущение небывалой прочности и полноты происходящего, слияния жизни и так называемой литературы.

Гена очень ценил коренные ли, точные словечки, прибаутки, любил старину и вообще все сибирско-енисейское. И, помогая мне, подыскивая оборот, случай, подробность, делал это так же серьезно и дотошно, как искал в ящике запчасти или подгонял косяк. А я уже не чувствовал ни праздности, постыдности своей профессии, а только ее нужность Гене и другим мужикам.

Я допроявлял в рассказе знакомые черты Гены, Витьки, Толяна. Они стояли перед глазами, но в словах еще только намечались, брезжили, и я сплавлял, прокладывал их снегами и облаками, бензином и опилками, и Гена видел и себя, и ржавые лиственницы на берегу, и валяющуюся по волнам лодку – и все вдруг казалось вбитым на века в какую-то студеною твердь, и мы оба, и я и Гена, укреплялись и в себе, и в своих ощущениях реки, тайги, товарищей, переоткрывали их и начинали любить еще больше. И казалось порой, что я исполнитель, а Гена – неподкупный и суровый заказчик и что перед ним я будто отчитываюсь, как перед какой-то единственной правдой, и что она, эта правда, прямо здесь, рядом, стоит.



Анатолий НАЙМАН, Галина НАРИНСКАЯ

Процесс еды и беседы

100 КУЛИНАРНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ

Глава VII. Супы овощные

О, о, о, овощи!
Какая силища!
Что за чудовище
вползло в хранилища!
*Из призывов ЦК КПСС к 7 ноября
(Первая половина XX века)*

Никита Хрущев, послесталинский начальник страны, в 1960-м году объявил по радио и в газетах, что в 1980-м в ней наступит коммунизм. Это не подтвердилось, сразу подверглось критике шепотом, впоследствии бесконечное число раз было высмеяно. Например, в анекдоте: «Правда» 1980 года – «В номере газеты за 1960 год допущена опечатка. Вместо «коммунизм» следует читать «Олимпийские игры»». «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» – хит середины XIX – середины XX столетий. Мы с дней нашего отрочества жили на подступах к коммунизму и считали это такой шуткой. «Хорошо живете, товарищи колхозники», – пошутил Хрущев (шутка 1959 года). Мы закладывали пищевой фундамент коммунизма, а именно овощехранилища.

В сентябре была «картошка», в октябре-ноябре – овощебазы. Двести миллионов населения минус класс крестьян выкапывали клубни, дергали корни, срезали кочаны и затем «разбирали» их в местах упокоения – бетонных саркофагах, прообразах чернобыльского. Тысячеголовые капустные монстры, горбатые картофельные динозавры, лежбища моркови. Гангренозные, в проказе, в наростах. Штат сортировщиков на зарплате и коллектив грузунов на добровольных началах, держащиеся с одинаковым достоинством, обращали на нашу возню ноль внимания фунт презрения: мы были сезонная шваль и галочка в графе выдуманной ведомости, а они – необходимый и неизменный фермент мирового круговорота веществ. Превращу ваши города в овощехранилища, угрожали ветхозаветные пророки, и мы не испытывали недоумения, почему они выбирали именно эту кару: в библейские могильники гниющей клетчатки погружались наши пальцы, глаза, ноздри. Грузовики, прошедшие три капремонта, развозили товар по магазинам «Овощи-фрукты», мы приносили эти овощефрукты на наши кухни... Если не шли на рынок!

На рынке овощи были ровно те, что в третий день творения. Те, что выращивал на приусадебном участке несчастный Каин, порешивший брата, когда обнаружил, что предпочтением пользуется его мясомолочная продукция. Те, которые хоть на одной грядке хоть однажды в жизни сажал, поливал, пропалявал и срывал самый недеревенский горожанин. Мы имеем в виду – у нас, в СССР, где в войну и послевоенные годы без «под-

собного» (он же «дачный», он же «незаконно захваченный» – вдоль железной дороги и под линиями электропередач) участка было просто не выжить. Вы проходили летом вдоль чьего-нибудь огорода? Вы вдыхали аромат, распространяемый созревающими свеклой, репой, огурцами в облаке благоухающих укропа, петрушки, кинзы, сельдерея, базилика? Вы согласны, что этот дух пронзительней и дурманней любого ресторанного? Приглушенный перевозкой, но зато усиленный концентрацией на квадратный метр прилавка, он стоял над рыночными рядами – проветренный, промытый, профильтрованный особым запахом чистоты: сырой земли и созданной ею растительной органики. Источая его, рынок выносил приговор коммунизму, испускавшему запах карболки.

Томатный суп-биск (bisque) на 6 порций.

Этот суп имеет долгую и славную историю, а называется биском оттого, что по цвету напоминает биск из омаров или крабов.

Разрежьте на мелкие кусочки помидоры в таком количестве, чтобы весь объем составил 2 стакана. Добавьте 2 чайных ложки сахара и тушите 15 минут. Протрите сквозь сито.

Налейте в кастрюлю 4 стакана молока, всыпьте полстакана панировочных сухарей (лучше если вы их сделаете сами из подсушенного белого хлеба), положите полголовки лука, воткните в луковицу 6 палочек гвоздики, подкиньте веточку петрушки, небольшой лавровый листок. Все это подогревайте на маленьком огне. Выньте все пряности, а загустевшее молоко протрите сквозь сито.

Перед самой подачей на стол соедините обе массы, молочную и томатную, нагрейте до кипения, посолите, поперчите и понемногу втирайте ложкой треть стакана сливочного масла.

Люди, имевшие дело с возделыванием земли, живут в ином, нежели не имевшие, ритме. Земля – вне времени, она всегда просто почва; глина; слякоть; грядка. Овощ, созревший в земле, соединяет в себе время, истраченное на созревание, – и необъяснимо усвоенное клетками время земляное, стоячее. Съедая овощ, люди даже далекие от земли получают несомый его клетчаткой энергетический разряд, нейтрализующий земную суету, выводящий из нее. Суп же из овощей и вообще делает за нас половину работы, потребной на еду: мы принимаем в себя эту пищу уже разогретой, размягченной, отчасти расчлененной, уже словно бы прошедшей через желудок очага. Независимо от нашего желания или нежелания это моментально помещает нас в компанию людей, согласных с природой, знающих, что она такое, во всяком случае, не оторванных от нее. Компания довольно замечательная. В процентном отношении в ней на порядок меньше болтунов, не говоря о том, что ее болтуны отличаются от обычных, как сороки на дереве от сорок на экране телевизора. Это огромная разница – болтает городская пустышка или хоть сколько-то воспитанная деревней, знающая что-то реальное, если не фундаментальное, – не почерпнутое из сериала.

Да хоть и дачник, если он нет-нет, а раза три-пять-десять за сезон ходит по лесу за грибами: увидит, как они ножкой уходят в подземелье, а шляпкой раздвигают мох. Если он почувствует, как беспредельно гриб независим, как всегда оказывается не там, где его ждут, не такой, как его представляли. С каким великолепным безразличием относится к тому, как алчно на него бросаются, потом скоблят, моют, режут, жарят и жуют. Вот говорят: трюфели, трюфели. Едали мы трюфели. Продажные твари – вот они кто. Каждый раз, как ешь, обязательно кто-нибудь тебе в ухо: «Тыща долларов килограмм», а другой: «Да уже, я слышал, две». Перигор (Франция) на них двести лет делает деньги, как Псков (Россия) на раках. Вкус замечательный, нечего сказать, но у молоденького боровичка не хуже, а у майского строчка так и лучше. Проникновенней.

Грибной суп.

Грибной бульон может быть использован как основа для большого числа супов: с перловкой, с лапшой, с фасолью, грибных борщей и щей.

Обычно его готовят из сухих, лучше всего белых, грибов. Их хорошо моют, замачивают и варят в той же воде с луком и морковью. Готовые грибы снова промывают, нарезают соломкой, обжаривают в масле, опускают в процеженный грибной бульон и дают провариться еще минут 10. Процеживать надо очень тщательно, лучше всего через хорошее бумажное полотенце, уложенное на дуршлаг.

Но настоящий деликатес – это суп из свежих белых грибов. Видели фильм Феллини «Сладкая жизнь»? Хотите попробовать сладкую жизнь земли? Хорошо промытые грибы режем тонкими пластинами, кладем морковку, луковичку, заливаем холодной водой (из расчета полтора литра воды на полкило грибов). Когда морковь готова, бульон процеживаем, а грибы обжариваем на сливочном масле. (Надо дать жидкости хорошо стечь с грибов.) Опускаем грибы в бульон, даем еще немного повариться.

Не следует добавлять в него никаких специй, чтобы не убить его собственного запаха и вкуса.

подавать можно с лапшой – лучше домашней. Ее варить отдельно, положить в тарелку и залить бульоном. Последнее – ложка сметаны.

За овощным супом появляется иной масштаб разговора. Даже поэтов не заносит в эмпирию, они предаются гармонии, досконально поверенной алгеброй. Одним из лучших в мире огородников был Гораций, одним из первых аграриев – Вергилий. Через Гете в тот же клуб вошел Державин. Что значит пушкинское «Летний сад – мой огород»? Только то, что он мог выходить в него так же запросто, как в спальном халате с крыльца барского дома в огород сельца Михайловского. Фет – соединивший в одном лице специалиста по сельскому хозяйству и землевладельца кулацкого типа. Толстой за плугом (фотография). Множество фотографий Пастернака, в майке вскапывающего весенние грядки (так и стоит перед глазами монументальное полотно «Пастернак, сажающий пастернак» – трава такая огородная, полевой борщ). Но тогда уж и Мандельштам, собирающий урожай миндаля, и Цветаева, срезающая цветную капусту. Есенин – тот вообще. Хлебников в пшенице. Ахматовой, написавшей «на коленях в огороде лебеду полю», уж не знаем, какую культуру и придумать: хмель, наверно. Надеемся, всем ясно, что в таком кругу а) не треплются, б) разговор самый незначительный не отличается от самого значительного, в) участники безвестные ничем не уступают именитым.

О чем вы станете в таком составе застолья разговаривать? Любители овощных супов – это племя мужчин и женщин, как правило, выше среднего роста, сухоощавых, с приветливыми лицами, но сдержанным проявлением чувств. Они выглядят молчаливыми – хотя это отнюдь не так: они просто ждут, что кто-то другой скажет что-то лучшее, чем могут сказать они. Часто не дожидаются: за любым столом найдется говорун, которому больше всего на свете доставляет удовольствие сам процесс речи. Также, как им процесс внутреннего внимания к произносимому и внутреннего его обдумывания. Тютчевское «молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои» – это не только совет не разбазаривать (включая и нынешний смысл слова – разбалтывать) «таинственно-волшебных дум», а и наслаждаться их неразбазариванием. «Любуйся ими – и молчи» – и любуйся молчанием, наполненным ими.

Чечевичная похлебка «Софья».

Полтора стакана чечевицы залить холодной водой и дать постоять не менее 3 часов. Слить, вновь залить чечевицу холодной водой, чтобы она покрыла ее на 2 пальца. Дать закипеть, снять пену и варить при очень слабом кипении. По мере разбухания понемногу добавляйте холодной воды, отчего,

во-первых, чечевица быстрее разваривается, во-вторых, вы добиваетесь нужной вам консистенции супа.

Пока варится чечевица, пассеруйте на оливковом масле мелко нарезанную луковицу; когда лук слегка порозовеет, прибавьте морковь, натертую на крупной терке, и минут через 10 два-три нарезанных на мелкие кусочки помидора, предварительно сняв с них кожицу. Потушив еще минут 5, опрокиньте все это в кастрюлю с уже готовой чечевицей. Проварите вместе несколько минут. За минуту до того, как снять с огня, опустите дольку чеснока, размятого с перцем.

В тарелки положите мелко нарезанную зелень, посыпьте похлебку тертым пармезаном. (Замена сметаны пармезаном и отличает суп «Софья» от всех прочих его вариаций.)

Овощной суп настраивает на разговор *поверх* молчания, на выговаривание того, что в молчание не вместились, – а никак не *взамен*. «Взрывая, возмутишь ключи: *питайся* ими – и молчи». Вот именно: питайся духом, который передает тебе материя поглощаемого, и молчи о духах более мелких, мелочных, дешевых, суетливых, сиюминутных. Они уже оттеснены от стола спокойствием, равновесием и неизменностью, заключенными в корнях и сердцевине, точнее, в сердцевине корней. Овощные супы – основа поста и основа вегетарианства, и никакой их приверженец-гурман, будь он при этом безбожник и как угодно плотояден, не может этим пренебречь. Они, знаешь ты или не знаешь, хочешь или не хочешь, – дисциплинируют натуру, подталкивают ее в сторону «духовного», «божественного». У постящихся – несколько гася воображение, у вегетарианцев – несколько разжигая. Первые, зная, что им еще сорок девять, сорок восемь, сорок семь дней, да хоть и один, хлебать все ту же баланду, уже не могут себе представить, что бывает что-то кроме нее. Вторые, напротив, представляют себе бесчисленных зайчиков, птичек и коровок, которых они, предпочтя травку, избавили от смерти.

Минестроне («сокровище итальянской кухни»).

Может быть подан как основное блюдо – в комбинации с зеленым салатом и вкусным – французским или итальянским – хлебом с хрустящей корочкой.

На 6-8 порций залейте чашку хорошо промытой белой фасоли 2 литрами воды, доведите до кипения, варите минуты две, закрыв крышкой, снимите с огня и дайте постоять не меньше часа. Затем на маленьком огне варите при очень слабом кипении, пока фасоль не станет мягкой.

Порежьте на мелкие части небольшой кусок соленой жирной свинины – приблизительно кубик со стороной 2,5-3 сантиметра. (Если вы хотите, чтобы суп был строго вегетарианским, можно обойтись без него, заменив оливковым маслом.) Потушите вместе с мелко нарезанной головкой лука, очень мелко нашинкованной петрушкой (столовая ложка) и долькой чеснока минут 10. Помешивая, добавьте банку (сто грамм) томатной пасты, 2 стакана кипящей воды, дайте покипеть на очень маленьком огне еще минут 15 и высыпьте в кипящую воду чашку нарезанной – не слишком мелко – капусты. Дайте капусте немного повариться и вылейте в эту кастрюлю фасоль вместе с водой, в которой она варилась. Доведите до кипения и бросьте чашку мелких макарон. Поварите минут 7, посолите и поперчите. Объем сваренного супа должен быть литра 3 – если в процессе приготовления жидкость выкипела, добавьте воды до этого объема и вновь доведите до кипения. Суп должен быть густой. Перед подачей щедро посыпьте в каждую тарелку тертого пармезана.

Это необходимый и достаточный рецепт минестроне. Но вы можете использовать разнообразные комбинации овощей: свежие помидоры, морковь, стебли сельдерея, репу, зеленый горошек, сладкий перец, цуккини.

Что касается специй, можно добавить лавровый лист и немного тимьяна.

Овощной суп значит много больше средства умерщвления плоти и спасения меньших братьев. Он еда, а не диета, он способствует не закрыто постному и серьезно вегетарианскому выражениям лиц, а живому и веселому. Насколько ярко и внушительно свидетельствуют искусство и литература о радости, получаемой от разгула страстей, настолько неубедительно и беспомощно – о веселье воздержания. Восторг аскетизма, как это передал бы Рабле, – где его описание? А между тем он существует, мы знаем румяных, всегда в хорошем настроении, всегда готовых от души рассмеяться – всегда сдержанных людей, и хотя их меньшинство, но и мы, большинство, пусть считанные разы, пусть в продолжение короткой минуты, проходили через подобное состояние. Оно находит на человека не в монастыре и не в специальном ресторане растительной пищи, а за обычным обедом вроде описанного тремя абзацами выше.

В оксфордских колледжах есть понятие «высокого стола», *high table*. Без десяти семь вечера звонит колокол, все *феллоус*, ученый штат, откладывают то, чем занимались, надевают черные мантии и сходятся в вестибюле перед высокими дверьми. В семь они открываются изнутри *батлером*, дворецким, и, возглавляемые деканом, вы проходите мимо выстроившейся челяди внутрь, в большой зал с поднятым на пару этажей против обычного потолком, с витражами на окнах и знаменами на стенах. Посередине стоит на возвышении, как на низкой, в одну ступеньку, сцене, тяжелый многометровый стол со свечами, окруженный тяжелыми высокими стульями. Декан произносит *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen* – вы садитесь, и слуги начинают обносить блюдами. Первым может быть, хотя и необязательно, суп-пюре, то есть, как правило, протертый овощной.

Суп-пюре из спаржи.

Сварите полкило спаржи в воде объемом 2 стакана. Процедите и сохраните овощной бульон (эту самую воду, в которой спаржа варилась). Срежьте концы стеблей, чтобы положить их в суп позже. К спаржевому бульону добавьте оставшиеся стебли (черенки), головку лука (мелко нарезанного) и стакан воды. Дайте покипеть 5 минут и протрите все это сквозь сито или в кухонном комбайне.

Растопите 2 столовые ложки сливочного масла, прибавьте 2 столовые ложки муки, слегка обжарьте и постепенно добавляйте молоко, постоянно помешивая. Поварите минут 5, пока не образуется густая масса без комков. Разведите ее спаржевым супом, вылив в него еще 3 стакана молока и/или сливок. Посолите и поперчите по вкусу.

В тарелки положите верхушки спаржи и залейте супом, украсив его зеленью. Каждую тарелку можно посыпать тертым пармезаном.

За высоким столом начинается обед – и начинается разговор. Собственно говоря, это и есть вершина рабочего дня и вершина коллегияльного творчества. В принципе, если у тебя нет желания делать исследования, писать статьи и книги, ты можешь за толстыми стенами колледжа пролежать на диване в своем кабинете хоть всю жизнь. Но на обеде ты должен показать, *кто ты есть*, все должны это видеть, отметить, оценить и вспоминать назавтра и через много дней. Это и есть твоя *работа*: на благо науки, университета, общества, человечества. То же и за ланчем, но ланч происходит между одним делом и другим. А «*high table*» – самоцель. Так, во всяком случае, это происходит в колледже Олл Соулс, мы провели там год, год обедали и рассказываем, что видели.

Гаспачо (на 4-6 порций).

Интересный испанский суп для летнего обеда.

Раздавите дольку чеснока, смешав с половиной чайной ложки соли. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, 5 разрезанных на куски помидо-

ров, головку лука, мелко нарезанную, по четверти чайной ложки перца и паприки, полторы столовых ложки уксуса и полтора стакана кипяченой холодной воды. Дайте постоять час, а потом в течение очень короткого времени прокрутите в кухонном комбайне – так, чтобы не превратить гаспачо в супшоре. Помешивая, постепенно всыпайте тертые сухари – четверть стакана, лучше домашнего приготовления.

Разлейте по бульонным чашкам, положив в каждую кубик льда.

В отдельные сосуды положите мелко нарезанные свежие огурцы, зеленый сладкий перец, тоже измельченный, и маленькие сухарные кубики-*croûtons*.

Вы перебрасываетесь репликами, какая-то твоя подталкивает другого к неожиданной мысли, чья-то подталкивает тебя. Мантии, свечи, заходящая молитва на латыни переводят происходящее во время, общее для Интернета и Средневековья, курортного пансиона и келейной сырости. Размеренность речи, обмена мнениями ни подгоняет его, ни дает ему лениться. Старинные портреты на стенах начинают принимать участие в беседе. Ньютон какой-нибудь, какой-нибудь Чосер. Атмосфера за столом уважительная, но вовсе не всегда благостная, по большей части ясная, но не то чтобы согласная. Не запрещается сморозить нелепость, не запрещается ее высмеять. Разговор может перейти на личности, но ни в коем случае не впрямую. «Как это, – обращается на безукоризненном английском *приглашенный феллоу*, швейцарец-антипчик, возмущенный только что высказанной местным философом концепцией, к соседу-историку из Испании, – как это в стране с такой вялой сенсibiliзированнойностью мог появиться Шекспир?» Ответа не требуется. Отвечает философ, он обращается к математику, такому же как он подданному Ее Величества: «Не правда ли, странно, что иностранцы так неспособны к нашему языку?» Слуги в чем-то фрачном черном и белых манишках, демонстрируя беспристрастность скользящими улыбками и безмолвием, разыгрывают сцену все-таки из Шекспира – не сообразить только, из какой пьесы.

Не забыть добавить: повар – француз. Век, два, а в Великобритании где два, там, естественно, и три, а где три, там, по несгибаемой логике, и четыре – кулинарию определяли страшные кухонные английские мужики: но (см. главу «Омлеты и яичницы») сколько можно терпеть! Британская консервативность – величина неизменная только по отношению к подвижности устоев прочих стран – в абсолютном измерении она явственно уменьшается, скрепы и узлы потихоньку разбалтываются, и в конце концов дело доходит до таких вольностей, как кухня «лягушатников». Кухня – да, но основы застолья не колеблются: те, кто садится за обед, олицетворяют собой сочетание некоей степени воздержности и конкретных знаний того, как прокормиться. И как вести в прокорм изысканность. Потому что, не забыть добавить, хотя это и так ясно, суп – объедение. Даже объедение. Впрочем, такая направленность и тяга универсальны и повсеместны: например, мы сами ели виноград, выращенный в Калязине, на Свистухе. Столько-то градусов широты-долготы, «наше северное лето – карикатура южных зим», грубая кожа, максимум косточек минимум мякоти, определенная кислотность, но – виноград! Хочешь – на десерт, хочешь – в давилню и по бочкам: чтобы через несколько лет вино-торговцы обоих полушарий бились за восхитительное красное и белое *Calyasino (mis en bouteilles à Svistoukha)*.

Французский луковый суп.

Растопите в кастрюле столовую ложку масла и пассеруйте в нем тонко нарезанный лук (общим объемом не больше стакана), пока не станет мягким. Всыпьте пол чайной ложки сахара и столовую ложку муки: помешивая, продолжайте обжаривать одну минуту. Налейте 4 стакана воды (или бульона, или консоме), добавьте соль, перец и варите на очень маленьком огне не меньше полчаса. Если понадобится, прибавьте еще воды, чтобы объем супа был 4 ста-

кана. Подсушите в тостере 4 ломтя багета. Положите в 4 глиняные миски по ломтю, залейте супом, щедро посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку при температуре 200°, чтобы сыр растопился и стал золотистым. Перед подачей на стол можете слегка посыпать пармезаном каждую порцию.

Глава VIII. Рыба

Стол – это престол.

Николай-угодник – Марии Михайловне; во сне

Стол на кухне был оставлен с вечера неубранным: грязные тарелки после гостей, остатки чего-то в кастрюле, на блюде, в вазочке. Хозяйка спать повалилась без задних ног – невестка и племянник как пришли в пять, так и ушли в двенадцать. Николай-угодник, в затрапезе, на клюку двумя ручками опираясь, встал посередине ее сна в четвертом часу ночи («Господи, избави мя окамененного нечувствия») и говорит, хоть ротик и закрыт: «Марь-Михална! Стол – это престол». Вскочила, все перемыла, спрятала, легла обратно, вмиг заснула – а его уже нет.

Если так – а у нас сомнений нет, что *воистину так*, – то картина мира меняется радикально. Наше проникновение в мир и мира в нас сейчас сводится к совокуплению с себе подобными и истреблению всего, что вокруг. Первое, как ни поверни, хоть каким-нибудь бочком да выйдет на смертный грех прелюбодеяния, второе – на такой же убийства. Тогда как что-то загадочно нам говорит, что есть куда более безгрешная – и *натуральная!* – возможность: обмениваться не семенем и силой, а плотью и энергией. Соитием не половым, а гастрономическим: чтобы мы сходились и соединялись друг с другом и со всеми, а одновременно и со всей природой, путем ее поедания – имея в виду компенсировать этот ущерб конечной отдачей ей в пищу самих себя со всеми потрохами.

Сказать, каждый знает, можно *всё* – сделать-то как? Поесть травки, а съеденным быть костно-мышечно? Не считайте нас совсем уж демагогами: мы демагоги, но не такие. Даже оставив в стороне волка и ягненка, нелицеприятно показанных нам Эзопом, Лафонтеном и дедушкой Крыловым, чем мы хуже птички, лопающей живую муху, или кошки – живую мышку? Это закон природы, сквозь который проглядывает другой, высший: *так заведено, стало быть, так и есть*. И, только одно живое существо поедая, мы не ощущаем нравственной неловкости, не испытываем этой двойственности, раздвоенности сознания между тем, что делаем *неправильно* – и что притом не выходим из *нормы*: когда это рыба. Есть таинственная заединность человека и рыбы: один он на земле знает, что, как появились рыбы на свет, так и живут, никогда никто не был ими недоволен, никогда ничто их не уничтожало. Ни Потоп, ни серный дождь с огнем, ни землетрясение. И ни один бог, какой он ни строгий и ни грозный, никогда полностью не запрещал их в пищу. Напротив: что у вас там, семь хлебов и немного рыбок? – давайте сюда, накормим людей. И уже воскреснув: дети, что у вас там, мед и печеная рыба? – давайте вместе съедим. А их святейшества и преосвященства, те с особым излучением веры и довольства своим всемогуществом объявляют постом: завтра *разрешено вкушение рыбы* – имея в виду конкретного, многократно изученного ими осетра.

Отчетливый, а вместе с тем не раскрывающий своего смысла рисунок на чешуе. Скульптурность и чистота внутренностей, по которым, в отличие от внутренностей птиц, никогда не гадалось – уже потому, что рыба не приносится в жертву, а по какой причине – не обсуждается. ИХ-ТЮС, *рыба* – как по-гречески читается монограмма имени Иисуса Христа (И-Х-Б[ога]-С[ын]-С[паситель]), вводящая нас во вселенский круг взаимосвязей: ловцы рыб, становящиеся ловцами людей, из которых Пер-

вым был он сам, позвавший их на ловлю. Все эти печати и знаки этапов Великой Истории, участницей которой была рыба, побуждают к разговору об истории вообще. Рыбный стол – идеальный повод и непобедимый импульс для такого разговора.

Вкусовые качества рыбы – вкусной, как, вероятно, никакая другая еда на свете, – зависят – как вкусовые качества никакой другой – от свежести. Только что выловленная и сразу приготовленная, и она же замороженная и перед готовкой размороженная – лишь отдаленно напоминают друг друга. Свежую надо только не испортить, над мороженой надо потрудиться. Поэтому вначале обозначим основные принципы обращения с рыбой, а потом приведем несколько рецептов, используя которые, можно и мороженую превратить во вкусное и интересное блюдо.

Рыбу можно 1) жарить на сковороде, 2) запекать в духовке или 3) на гриле и 4) варить в очень малом количестве воды.

1) Жареная рыба.

Если вы жарите не крупную рыбу целиком, то, помыв ее, обязательно как следует обсушите бумажным полотенцем. На большом листе бумаги смешайте – из расчета на полкило рыбы – полстакана муки и панировочных сухарей с чайной ложкой соли. Обваляйте рыбу и жарьте в растительном масле или в смеси со сливочным на большом огне, пока она не станет с двух сторон золотистой.

Если жарите куски рыбного филе, предварительно опустите каждый во взбитые яйца; затем – как описано выше.

2) Запеченная рыба.

В духовке хорошо запекать рыбу весом от 1,5 до 2,5 кг.

Подготовленную и обсушенную бумажным полотенцем, ее обмазывают сметаной и растопленным сливочным маслом, смешанными с равным количеством воды. Оставшуюся смесь используют в дальнейшем, чтобы время от времени слегка поливать ею рыбу в духовке.

Рыбу помещают в нее при температуре 200°. Время, когда вынимать, зависит от величины рыбы и интуиции кулинара. Главное – не пересушить, не переварить, так что придется пробовать вилкой. Из опыта следует, что рыба весом 1,5 кг должна находиться в духовке минут 30.

Готовую рыбу положите на разогретое блюдо, сделайте надрез вдоль хребта, затем разрежьте на куски нужного размера.

Просто и эффектно – сделать запеченную рыбу с начинкой. Для этого хорошо вычищенную брюшную полость начините на 2/3 объема фаршем, заколите разрез деревянными зубочистками или зашейте – и запекайте.

Фарши:

– начинка из сухих хлебных крошек:

1 стакан хлебных крошек, 2 столовые ложки растопленного масла, половинка небольшой луковицы, мелко нарезанной, соль, перец;

– грибная начинка:

на каждый стакан хлебных крошек – полстакана нарезанных тонкими ломтиками шампиньонов, предварительно в течение 5 минут протушенных в масле;

– начинка с петрушкой:

слегка потушенная в масле мелко нарезанная петрушка, в объеме от 1/4 до 1/2 стакана добавленная в начинку из хлебных крошек;

3) Рыба на гриле.

На гриль идут куски рыбного филе или целая рыба не очень больших размеров.

Вымытую и обсушенную рыбу погружаете в оливковое масло. Солите, перчите, слегка посыпаете мукой, распластываете вдоль хребта и кладете на решетку кожей вниз. Если не слишком толстая, переворачивать, чтобы обжарилась кожа, не обязательно. Готовится не больше 15 минут.

Аккуратно, используя две лопатки, перенесите рыбу на подогретое блюдо.

4) Рыба, сваренная в малом количестве воды...

Это самый лучший способ приготовления рыбы, когда она свежая: такой, как судак, сиг, кефаль, сом, треска. Однажды наш друг-римлянин, умопомрачительный гастроном, пригласил в ресторан. На вопрос «какой?» ответил «дорогой». Поискал в справочнике, набрал номер, привел, дверь заперта на ключ. Позвонил в звонок, произнес нечто, возможно, пароль, открыли, впустили. Заказали на закуску *frutti di mare*, а главное блюдо – судака по-польски. Бутылку рислинга. Фрутти как фрутти, вкусно, но не сногшибательно. Рислинг.. – видимо, это и было то, что называется рислинг, потому что все рислинги, выпитые прежде, вспомнились как его имитация. Того же рода, что крабовые палочки относительно краба. И принесли судака. Мы судака по-польски сто раз ели: в исполнении повара «Националя» в Москве, в 60-е годы – а там была первоклассная кухня. Но эта на тарелку легла рыба такая – как бы поточнее сказать? – *сладостная* и при этом такая *честная*: вот она, как я есть – что даже не была в укор той. Ну, крикет и лапта – не сравниваем же. Да что «легла»? что «была»? – и сейчас, когда пишем, возвращается на язык вкус и хочется ручки поцеловать: другу-римлянину, повару ресторана, швейцару, рыбаку, который поймал, всем, кто видел, как мы ее ели, и от переполнения чувств – себе самому. Ну и заплатил он что-то такое, что на нынешние, да, помнится, и на тогдашние, деньги не перевести, и даже нам показалось, что и счета не приносили, а так шепнули что-то ему на ушко, и он отсчитал, сколько полагалось, а потом на Кампо деи Фьори признался, что сколько бы ни сказали, хотелось, чтобы сказали больше. Закажи Рембрандту свой портрет, получи что-то вроде «Купца в лисьей шапке» – и какой гонорар ему платить, а? А про что мы в тот ужин говорили – ни про что не говорили. За окном был Рим Иваныч, вот он и рассказывал Историю. А мы на все лады повторяли строчку Бродского «Рыбы, рыбы, рыбы, рыбы» – потому что первый сорт строчка, и смешная, и Бродскому с его картавым ры-ры-ры не произнести, и итальянец наш его переводил, и все мы его прекрасно знали, и любили, и жаль, что он тоже не сидел с нами, не ел судака, не запивал рислингом. Музыки в ресторане не было, в какую-то минуту ни с того ни сего захотелось пригорюниться, а пригорюнившись, запеть песню про маки на Монте Кассино, красные от крови погибших там в 1944 году поляков, польскую песню, но, кроме «вшистки маки», никаких слов мы не знали и еще больше жалели, что нет с нами Джузеппе, он в польском был, как рыба в воде, и знал все куплеты. Итак,

рыба, сваренная в малом количестве воды.

Сначала приготовить бульон. Растопите в кастрюле столовую ложку сливочного масла, добавьте петрушку, мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей (по столовой ложке каждого), тушите 3 минуты, потом положите три горшины перца, одну палочку гвоздики, кусочек лаврового листа, чайную ложку соли, 2 чашки сухого красного или белого вина (можно вместо вина столовую ложку уксуса), налейте 2 литра воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и кипятите 15 минут.

В кастрюлю с широким дном кладете решетку. Заворачиваете рыбу или куски филе в пергамент (чтобы потом легко было вынуть), укладываете на решетку и заливаете бульоном, так чтобы он доходил до середины рыбы. Плотно закрываете крышкой и варите на таком маленьком огне, чтобы бульон почти не кипел. Варить 6-10 минут в зависимости от объема.

Осторожно вынимаете и подаете с растопленным маслом, лимоном или соусом – одним из следующих.

Соусы к рыбе.

1) *Голландская подливка* (Hollandaise).

Замечательна тем, что, кроме рыбы, в самый раз и к овощам, равно как к телятине и курице.

Сбросьте в небольшую кастрюлю 3 яичных желтка и взбейте. Добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, полстакана растопленного сливочного масла или маргарина, 2 столовые ложки горячей воды, четверть чайной ложки соли и щепотку кайенского перца. Поместите кастрюлю с этой смесью в другую, с горячей водой, и взбивайте, пока соус не загустеет. Имейте в виду, что, остывая, он станет еще более густым. Выход должен быть – приблизительно стакан готового соуса.

Его можно разнообразить, добавив в готовый соус немного хрена, или петрушки и укропа, или очень мелко нарезанных и слегка отжатых свежих огурцов, или столовую ложку томатной пасты.

2) *Французский соус для камбалы, трески, палтуса (Aioli; хорош и к овощам).*

Возьмите 8 долек чеснока и хорошо разомните с четвертью чайной ложки соли. Положите в небольшой сосуд, смешайте с 1 яичным желтком, прибавьте немного перца. Возьмите стакан оливкового масла и постоянно помешивая, влейте, капля за каплей, 3 столовые ложки его и сок 1 лимона. Затем, продолжая помешивать, долейте оставшееся масло.

3) *Соус тартар.*

Для рыбы, для креветок, для мидий.

Хорошо смешать 3/4 стакана майонеза, половину луковицы, мелко нарезанной, по чайной ложке каперсов, очень мелко нарубленного маринованного огурца, мелко нарезанных маслин и петрушки. В эту смесь влить столовую ложку мягкого уксуса – винного или с польным эстрагон (таррагоном).

4) *Масляный соус.*

Растопите 2 столовые ложки масла и добавьте 2 столовые ложки муки, пол чайной ложки соли, немного перца. Помешивайте на сковороде, пока масса не станет однородной, затем, не переставая мешать, вливайте понемногу стакан воды или рыбного бульона. Прокипятите минут 5, добавьте столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки сливочного масла.

Можете обогатить этот соус двумя взбитыми яичными желтками, добавленными прямо перед подачей на стол. Чрезвычайно его украсит полстакана измельченных вареных креветок. Можно смешать с ним 2 сваренных вкрутую и размятых вилкой яйца.

5) *Огуречный крем (наскоро).*

Почистить и мелко порубить огурец. Положить на бумажное полотенце, чтобы слегка обсох. Переложить в миску, посолить (четверть чайной ложки соли), слегка поперчить. Прибавить полстакана предварительно взбитой сметаны. Добавить специи по вкусу.

Рыба, предоставив себя в распоряжение истории как фотоленка, оказалась еще и идеальной поверхностью, отражающей ее, истории, протекание. Что такое история? Это произвольно выбранные и, вполне вероятно, недостоверные факты, изложенные в более или менее произвольно выбранной последовательности. Так их проще описать как *процесс*, то есть находящимися в движении, руководимом каким-то если не законом, то, во всяком случае, порядком. Чтобы это получалось или хотя бы выглядело сколько-то убедительным, необходим *фон*, отвечающий двум взаимоисключающим требованиям: он должен быть неподвижен, чтобы не бликовать на картину истории; и в то же время столь же достоверным, что и история, а не подставленным намеренно, искусственным, абстрактным.

Он должен быть реальным. То есть тоже протекающим, движущимся, играющим – просто со скоростью, неизмеримо более низкой, чем у истории, для нее (и для нашего глаза, ее наблюдающего) почти незаметной. Это может быть картина Высшего замысла, раз навсегда исполненного, но и продолжающего исполняться применительно к ничтожной продолжительности нашей жизни. Или геологического развития, растянутого на миллионы лет. Или хотя бы Иерусалима – который был *всегда*. (Но не Рима – «вечного города», принадлежащего, однако, к городам с

историей и тем профанирующего саму концепцию вечности). На худой случай пусть фоном будет *современность* – которая неизвестно, что такое, и в то же время всем понятно что.

Фон должен быть плотный, светлый и ровный, как стена, точнее, экран на стене. А еще тоньше – экран, которым завешено зеркало. Тем самым зеркало ничего бы не отражало, но мы бы при этом знали, что *может* отражать. Оно и завешено должно быть, чтобы не отразить чего-то, что не история. Стоит отразиться чему-то еще, и истории – в том виде, как мы ее сложили и признали, – нет. Зато если бы на него попадала *только* история, лучше не придумаешь: экран-зеркало!.. И вот, представьте себе, есть такое – отвечающее всем нашим надобностям и условиям. Это – рыбы в огромной Воде планеты. В миниатюре, как образец, что-то похожее можно увидеть в Венеции, можно в Петербурге – где вода, в которой отражается только история и немножко нейтрального неба, содержит также и рыб, пусть сонных, полудохлых, но все равно принадлежащих к бессмертному, «вечному» океану.

(Из истории рыбы в России. Чутьем, отнюдь не классовым, догадывались о некоторых мистериальных предназначениях рыб даже большевики. В середине 1970-х, на подходе к развитому социализму, когда запасы старорежимной говядины и свинины подошли к полному ауту и финишу, в столовых и магазинах был объявлен еженедельный рыбный день – четверг. То есть в аккурат между постными средой и пятницей, когда, казалось бы, рыбку как раз и поест. Летним вечером шел по Ленинградскому проспекту некий московский историк (совпадение), конкретно занимавшийся русским XIV веком, противостоянием Митяя и Кипрана, которое, как известно, кончилось на Константинопольском рейде, где корабль Митяя застрял и сам он помре. Семья историка была на даче, и он, неухоженный, оголодал. Из дверей магазина «Рыба» его окликнули и пригласили войти повар в белом колпаке и две официантки в белых халатах. Предложили съесть котлету из китового мяса, бесплатно, но с условием написать дегустационный отзыв. На пластмассовый столик в углу постелили белую скатерку, принесли шипящую котлету, он откусил, проглотил, однако до конца не справился и, успев произнести коротко: «Ворвань!», – извергнул кита на собравшихся, как в свое время кит извергнул Иону.)

Итак, взяв в левую руку широкую рыбную вилку, а в правую тупой рыбный нож, приступайте к истории. Берите любой ее фрагмент, а хотите – общий обзор. Ну что, например? Ну, например, что английский король Ричард III был не злодей-убийца, не урод-горбун, как у Шекспира, а стройный добрый человек. Оклеветанный Ланкастерами. Прежде всего Генрихом Тюдором – которому, чтобы обтяпать свои гнусные делишки по захвату трона, как раз и было необходимо заточить в Тауэр и убить двух мальчиков, племянников Ричарда. Ричарду они не мешали ничуть. Ланкастеры победили и сказали продажному кардиналу, как нужно эту историю рассказывать. Его свидетельства дошли до Томаса Мора, который на них сослался и которому доверяла вся Англия – через полвека так же, как при жизни. Шекспир только повторил за ним, а что сказал Шекспир, то, как известно, ни отменить, ни оспорить. Обо всем этом весьма убедительно написала одна английская дама, Жозефина Тей, но вы можете на нее не ссылаться. Просто расскажите. На фоне форели, очередной кусок которой вы подносите ко рту и которая видела события непосредственно, а не узнала по чьим-то наветам, фальсификациям и позднейшим сомнительным вставкам, совершенно неважно, сколько тут правды, сколько неправды. Произнося «Ланкастеры», прибавьте: «Алая роза». «Белая» были Йорки, но на вас не ляжет тени, если скажете наоборот – их постоянно путают. Генрих объединил в гербе Тюдоров обе, тут сбиться нельзя. Он

же учредил «Звездную палату» – по тем временам гестапо и КГБ, взятые в соотношении стакан на стакан (на тюремном языке «стакан» – карцер), хорошо посоленные, прокипяченные и насколько возможно темперированные.

Отсюда разговор немедленно и неостановимо перекидывается на историю террора. Египетские казни, нашествие готов и междоусобицы готтентотов, инквизиция, Варфоломеевская ночь, гильотина и ночь длинных ножей тут как тут, хотя большую часть времени, понятно, забирает недавняя эпоха: ЧК, ГПУ, НКВД. Не старайтесь уравновесить эту сторону работы «органов» похвалами их доблестным шпионам («разведчикам» – на языке пресс-служб): у кого-нибудь из гостей обязательно сидел отец или расстрелян дедушка, вспыхнет спор, перейдет, неровен час, в скандал. Попытка *отдать должное* чистоте чекистских рядов, давших нынешнему времени потрясающе информированных и неподкупных руководителей «высшего эшелона власти», тоже ни к чему хорошему не приведет – это не коммунальная квартира, переделанная новыми русскими под ночной клуб: кой-какой запашок лейкоцитно-эритроцитный застоялся, надо бы проветрить. Много времени может занять.

Но как хозяйева вы, да и некоторые гости как гости, естественно, хотите смягчить кровавый настрой, всякие мученья и слезу исторических описаний – в конце концов это застолье, настроению надлежит быть приподнятым. Спешно перебираете в голове темы, на которые перевести беседу, – и с растерянным удивлением обнаруживаете, что история – это история постоянной жестокости и всевозможных ее практик. Начать с добычи пищи – ах, мужчина, охотник! Ах-мужчина-охотник оказывается главным зверем: клыки и когти разнообразных копий, стрел и стволов 16-го и крупнее калибров бьют с безопасного расстояния, собаки приносят дичь. (И опять-таки, опять-таки: рыба, беззвучно и плавно заходящая в сеть, – какая мирная, мягкая в этом патриархальность!) Античность: гладиаторы против львов. Средневековье: Ричард или Генрих, кто бы ни задушил племяшей, – ангелы по сравнению с ребятами из комитетов аутодафе. Новое время: Французская революция – XX век, просим. Не сворачивайте на будущее – в пандан к прошлому, как пить дать, накатит апокалиптическое грядущее. И не пеняйте говорящим, что, мол, узко берут: *широкий* исторический охват, *узкий* – это охваты все той же жестокости. Вы видели, как оса набрасывается на карамору? Вы относите это к сфере биологии? Но это история – не образ, символ и эмблема человеческой, а она сама, наша с вами, нам биологически предшествующая и нас биологически завершающая. «Из мертвой главы гробовая змея шипя между тем выползала; как черная лента, вокруг ног обвилась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь»... И еще: обратите внимание – чем вкуснее поедается рыба, тем безжалостней рассказы... Не огорчайтесь, приятного доберете за десертом.

Единственное, чем можно в капкане этой тематики попробовать повеселить публику или хотя бы самому повеселиться, это фольклор о тиране, набор баек, более или менее одинаково известных остальным, но от этого не теряющих ни свежести, ни смака, ни актуальности. Все – об остроумных репликах «державца полумира» по принципу «а мог бы зарезать»... Сталин на кремлевском приеме протягивает драматургу Вирте портсигар, предлагает папиросу «Герцеговина Флор», свой любимый сорт. «Не курю, товарищ Сталин, бросил». – «Да? А у меня силы воли не хватает». Тот все понял, пошел домой и умер... Сталин на кремлевском приеме неожиданно выходит из боковой дверки в залу, там гости танцуют, только Большаков и Храпченко стоят разговаривают. Министр кино и министр театра. Проходит мимо них: «А вы почему не танцуете?» – «А мы танцуем, товарищ Сталин». Один другого обнимает за талию и начинают кружиться в вальсе. Потом идут домой, всё понимают, один через

полгода, второй через двадцать пять лет – оба умирают... Министр образования подарил Сталину шариковую ручку, тот говорит: «Да? А меня учили писать чернилами с промокашкой». Тот все понял, написал пером «уточка»: «В моей смерти никого не винить», – выпил флакон туши «Красный треугольник»... Берия сидит в пыточном подвале, вокруг кто стонет, кто что, а он книжкой поглощен. Входит Сталин: «Всё мингрельские сказки читаешь, старый романтик?» Тот все понял, пошел домой, отравил Сталина, хотел и Хрущева, но тот все понял, сказал: «Распоясался ты, Лаврентий», – и Берия умер. Потом и Хрущев умер... Сталину на XVII съезде подарили тульское ружье, он из него прицелился в делегатов, они всё поняли, и все умерли... Сталин поднял рюмку, посмотрел на Орджоникидзе и говорит: «Серго». Тот все понял, пошел домой и застрелился.

Вместо Сталина можно подставить Тамерлана, или Нерона, или Навуходносора, или лагерного сержанта-украинца по кличке Иван Грозный, или самого Ивана Васильевича. Но вообще наш совет – русской истории избегать. Документирована она слишком вольно, поправлена всеми идеологическими цензурами, начиная с церкви, интерпретируется во всем 360-градусном диапазоне. То есть можете к слову сослаться и на Карамзина, и на Татищева, но придерживаться старайтесь линии, близкой к сказочной, непроверяемой. У одного, мол, чеха XVI века есть, мол, рассказ одного странствующего перса, как тот читал в одной старинной индусской рукописи, что в веке V на территории Минска жило племя рогатых хвостатых гомо сапиенс высочайшего ай-кью. Что это признано самим академиком – пусть будет соответственно нашему предмету – Рыбкиным, так что белорусы не хухры-мухры-песняры, а древнейший народ рафинированной культуры. А что Рыбкин был не из шутников, см. в главе «Гарниры». Словом, «травите». Жил в недавние годы писатель Пиккуль (кулинарная фамилия: пиккули, pickles – соленья, маринад: как правило, мелких овощей) – вот в его манере. (Нотабене. Не увлекайтесь идеей заговоров. Заговоры всё объясняют, но оставляют чувство неудовлетворения: в силу их природной секретности они нераскрываемы, в силу нераскрываемости непобедимы, в силу непобедимости все участники их, как организаторы, так и жертвы – марионетки.)

Неудержимо разговорчивы бывают едоки младших братьев рыбы: мидий, моллюсков, раков, креветок, лобстеров (то же – омар), лаггустов (кузены лобстеров). А как же иначе – они нарочитая еда, праздник еды, как бы ее *вимо*: хмелят и развязывают языки. Речь становится близка к инстинктивной, мало отличаясь от безмолвного сопения над ними, присасывания и причмокивания. Говорить можно, как за вином: что хочешь. Отдайся говорению, смешивай эпохи, путай события, коверкай имена людей – лобстер все спишет. Как война. Лобстер – это катаклизм, останки катаклизма, почти ископаемое – но какое свежее. Выходя на лобстера, мы отрываемся от действительности, уносимся прочь от обязанностей, долга, ответственности. Почти.

Как варить лобстера.

Довольно крутая операция, как и все, что с ним связано: не для слабонервных. Но когда речь идет, как у нас в начале этой главы, об интимной близости и взаимопроникновении, пусть гастрономических, без насилия, согласитесь, не обойтись.

Наполнить большую кастрюлю водой (6 литров), довести до кипения, посолить (4 столовых ложки соли). Опускайте лобстеров живьем, каждый раз давая воде закипеть. Уменьшите нагрев, закройте крышкой и дайте постоять на огне при очень слабом кипении 15 минут – для маленьких лобстеров, весом около полкило; 20 минут – для средних, от 600 г до 1 кг; и 40 минут – для очень большого. Если хотите подать горячим, то сразу вынимайте и дайте стечь воде.

Как очистить лобстера от панциря и вынуть мясо.

Положить на спинку, выдернуть клешни, отделить хвост от тела. Разломить плавательную перепонку. Воткните вилку в основную часть мяса хвоста и вытяните его одним куском. Уберите черную жилку, проходящую по всей длине. Разбейте панцирь. Мясо лобстера находится в четырех карманах, к которым прикреплены малые клешни. Зеленая часть (печень) и коралловая (молока и икра) съедобны, от остального следует отказаться.

Клешни разбивают молоточком и вынимают мясо. Малые клешни используйте как гарнир и украшение.

Вареного лобстера можно подавать горячим с растопленным сливочным маслом и лимоном, или холодным с майонезом.

Лобстер в духовке (1 маленький или половина большого на порцию).

Убить лобстера, воткнув острое лезвие между туловищем и панцирем возле хвоста, чтобы разъединить спинной мозг. Положить на спину и сделать глубокий разрез вдоль всего, включая хвост, туловища – используя для этого тяжелый с заостренным концом нож или специальные ножницы. Вынуть черную жилку и желудок. Разбить клешни деревянной колотушкой.

А дальше кладите в духовку на решетку панцирем вниз и сбрызните оливковым маслом. Минут через 20 мясо должно стать коричневым. Подавайте с растопленным сливочным маслом.

Итак, ломайте панцирь лобстерам. Погружайтесь в реальность форм, которые вы называете чудными, чудовищными, чудесными – иначе говоря, нарушающими эстетику форм, которые вы же провозгласили *правильными*. А вся эстетика-то эта воспитана вашим взглядом друг на друга и в зеркало. Теперь подойдите к зеркалу с лобстером в руках и посмотрите не *собой* на него, на то, что вы снисходительно определяете у него как «бусинки глаз» и «усики», увидите не «неуклюжий» панцирь, не пренебрежительно профыркиваемые вами «клешни» и «эпилептически», с вашей точки зрения, выгибающийся хвост, – а *им* на себя. Обнаружьте желе *ваших* глаз, едва прихваченное роговицей, хлопающие коротенькие шторки век, аляповатую дырявую пирамидку носа, который, если честно, никакой не нос, а *курячье гузно*, в лучшем случае *шнобель*, торчащий пергамент ушей, мятые губы, вымя подбородка, заросший клочком реденькой шерстки *кумпол*, лоб, голый, как донце хирургической лоханки, невнятный обрубок шеи, за просто так занимающий место, лапы рук с сосисками пальцев, бурдюк брюха... Глядите, глядите, как совершенен и прекрасен он, омар, и как чудный, чудовищны, чудесны вы – человек.

Обратим ваше внимание, что для характеров более мягких, чем у палачей-лобстероедов, но не менее охочих до того же сладкого мяса, море выращивает других чудищ из этого десятиногого ракового семейства, более скромных по виду и размеру, однако не менее изысканных, а именно креветок.

Креветки в кляре.

18 больших креветок: количество зависит от величины экземпляров – расчет ведется на 6 человек.

1 л оливкового или кукурузного масла.

Кляр. Стакан муки (210 г), четверть стакана пива (60 мл), 3 яйца. Смешиваем в миске муку и пиво так, чтобы получилась густая, без комков, масса. Добавляем желтки по одному, постоянно перемешивая тесто, затем солим по вкусу. В отдельном сосуде взбиваем белки и осторожно перемешиваем их с тестом. Даем кляру постоять минут 30.

В глубокой сковороде сильно разогреваем масло. Погружаем креветки по одной в кляр, а затем кладем на сковороду по несколько штук сразу, но не тесно друг к другу. Жарим около 3 минут, пока не станут золотистыми. Переворачиваем и жарим на другой стороне еще 2 минуты. Вынимаем шумовкой, вык-

ладываем на бумажное полотенце и размещаем на разогретом блюде. Повторяем то же с другими креветками. Подавать следует очень горячими.

(Такой же кляр можно использовать для нарезанных разного сорта овощей и кусков соленой рыбы.)

А теперь ешьте их, ешьте креветок, лобстера, ешьте упругую торпеду рыбы, наслаждайтесь ими – но признайтесь себе и даже восхититесь, сколь эстетически *справедлива* конечная, отчасти эсхатологическая картина их ужина, растворения ими вас, красавцами – диковин, формой – расплывчатости. «И в распухнувшее тело раки черные впились». Это снимок не ужаса, отнюдь, а красоты – если красота все-таки не Энгр, а Гойя, не парижский Салон, а наскальные рисунки, не настенный коврик с горделивым лебедем, а голландский натюрморт со столом, заваленным только что пойманной рыбой.

Ешьте, дополняйте историю жестокости – но признайте, что это лишь половина целой. Другая ее половина – это рыбы и крабы, стоящие в двух параллельных стенах воды, как в двух аквариумах, как в двух уставленных одно против другого зеркалах, и глядящие на вас, когда вы в виде евреев исходите из Египта. А когда море сомкнется, поедающие вас – на этот раз в виде нерасторопных египтян. Но это когда еще, а сейчас – ваше время.

Ограничимся четырьмя рецептами. Число их легко довести до сорока четырех и до четырехсот сорока четырех, но как приготовить осетрину на пару², в общем, понятно без рецепта. Почему эти четыре, а не другие – потому что у авторов есть свой индивидуальный вкус, и иногда им хочется ему потрафить.

Филе в папильотках.

Для каждой порции положите филе камбалы на тонкий ломоть ветчины размером немного больше, чем сам кусок филе. Уложите на листе промасленного пергамента или фольги. Наверх каждого куска – немного масла, соли, перца, тмина и петрушки, можно шапочку шампиньона. Заверните так, чтобы сок не вытек из сделанного вами рулончика. Разместите на сковороде или противне и пеките в духовке при температуре 200°. Подавайте прямо в бумаге или фольге с соусом из растопленного масла с лимонным соком.

Филе палтуса или камбалы с маслинами.

2 очищенных от кожуры помидора, 3 столовых ложки оливкового масла, 6 кусков филе рыбы по 200 г каждый, 1/4 стакана сухого белого вина, 18 штук маслин в рассоле, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, горсть нашинкованных листьев базилика. Маслины можно употреблять как черные, так и зеленые.

Разрезать помидоры пополам, убрать семечки, а мякоть порезать на кубики, положить в дуршлаг, слегка посолить, дать стечь в течение 30 минут. Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне, положить куски филе и жарить по 2 минуты с каждой стороны. Добавить вино, маслины и посолить. Уменьшить огонь и еще на 3 минуты оставить на сковороде, осторожно перевернув рыбу один раз. Добавить уксус, помидоры и посыпать базиликом. Закрывать сковороду крышкой, убрать с огня и дать постоять 1 минуту, чтобы ароматы перемешались. Разложить рыбу на подогретом блюде, полить соусом со сковороды и немедленно подавать на стол.

Палтус по-креольски.

На смазанный маслом противень положите кусок палтуса в килограмм весом, посолите, поперчите и покройте толсто нарезанными ломтями помидора (5 штук), порезанной на небольшие куски половинкой зеленого перца и нарезанным луком (1 небольшая головка). Запекайте в духовке при температуре 200° около 20 минут. За это время три раза поливайте рыбу соком с противня и растопленным маслом (в общей сложности треть стакана).

Рыба, запеченная целиком, с травами.

2 столовые ложки оливкового масла, 2-3 лимона, нарезанных кружками.

1 рыбина – около 2 кг.

Соль, перец, по столовой ложке разнообразной мелко нарезанной зелени, как то: укропа, петрушки, орегано, тмина.

1 столовая ложка натертой лимонной цедры.

1/3 стакана сухого белого вина.

Разогреть плиту до 180°. На большую сковороду налить оливковое масло и разместить кружки лимона так, чтобы они покрыли дно. Посолить и поперчить рыбу. Обсыпать ее зеленью и лимонной цедрой изнутри и снаружи. Положить на сковороду (на лимонные кружки) и добавить вина. Поставить в нагретую духовку на 30 минут. В течение этого времени один раз перевернуть рыбу и несколько раз полить жидкостью, накапливающейся на сковороде. Рыбу положить на блюдо, полив образовавшимся соусом, а лимоны убрать.

(Продолжение следует.)



Михаил ХОЛМОГОРОВ

Реквием по «Беломору»

Нами
оставляются
от старого мира
только
папиросы «Ира».
В. Маяковский

Спрос рождает предложение.
Смотря чей.

Мой спрос убивает предложение. Года три назад спосил удобнейшие летние ботинки, матерчатые, без синтетики. И дешевые. Сняты с производства повсеместно. Обхожусь теперь дорогими итальянскими штиблетами на парад и синтетическими вьетнамскими тапочками на каждый день. Или вот стеганые теплые рубашки. Их занесло в Россию первыми порывами рыночного ветра. Моя честно отслужила четыре сезона. Теперь нет нигде. Ни за какие деньги.

Последний удар нанесла любимая фирма «Дукат», впрочем, она нынче «Лиггет-Дукат». Продавцы на табачном оптовом рынке вдруг вскрутили цены на московский «Беломор» в пять раз. С чего это?

– А их сняли с производства. Торгуем остатками.

Тяжелая страница российской истории захлопнулась перед моим носом, обдав пылью десятилетий, смешанной с табачными крошками.

«Беломор» – не просто папиросы. Это раритет.

Папирос «Ира», оставленных Маяковским от старого мира, я не застал. Видимо, шутка поэта чем-то не угодила – едва Владимир Владимирович покинул сей мир, за ним отправились и любимые папиросы. Да Бог с ней, с «Ирой», было довольно много других. Мой отец курил «Дели». Но в ту пору мы все, как один, вверглись в борьбу с низкопоклонством перед границей, и белые пачки с золотистой полосой поперек провалились в историческую прореху. И взрослые перешли на «Беломор». Пачки были цвета «блю-жандарм», и по заказу ОГПУ на них изображалась трасса Беломоро-Балтийского канала им. товарища И.В.Сталина, где, к умилению Максима Горького, «черти драповые», т.е. доблестные чекисты, перевоспитывали такие отбросы социалистического общества, как филолог Лихачев или поэт-футурист и театральный режиссер Игорь Терентьев. Последний по сему случаю оставил стихи:

Кремль!
Видишь точку
внизу?
Это я
в тачке
везу
Землю
социализма.

Выпущенный на волю с орденом Трудового Красного Знамени, через два года Терентьев был расстрелян.

А в середине 50-х, когда пустили в строй другой каторжный канал (Волго-Дон, стройку социализма), и пачка обрела современный вид: карта СССР с обозначением основных пунктов перевоспитания нытиков и маловеров.

Но папиросы были чрезвычайно популярны. «Беломорина» воспета как в блатном фольклоре, так и в вольной советской песенной лирике. «Куришь свой «Беломор», – припомнилось без начала и конца, но с голосом Майи Кристалинской впридачу. А начиная с известной картины Петра Белова пачка «Беломора» стала непременным атрибутом соц-арта.

Иностранцы, как известно, из России в качестве лучшего сувенира вывозили черный хлеб и «Беломор». Рассказывали такой случай. Один француз, аспирант МГУ, пристрастился к нашему «Беломору», курил только его и однажды у табачного киоска начисто забыл название папирос. И он попросил:

– Дайте мне эти... эти... М-м-м... О! «Освенцим»!

Сам я начал курить не с «Беломора». Мы его тогда презирали. В моду входили тихие сумерки с блюзом из радиолы, кофе и бокал сухого вина при свечах. Девочки курили болгарскую «Фемину» – иноземно длинные слабые сигареты с позолотой на мундштуке в алых коробках, мальчики – отечественный «Дукат» в золотых пачках по десять штук ценой в семь рублей. Потом «Дукат» сменили на болгарский «Джебел», «Шипку» или «Вегу» в изящных выдвигаемых коробочках, как и «Дукат», по десять штук в пачке. Представьте себе, в такой тихий, интимный вечер при свечах кто-то вытащит грубый «Беломор» – как пошло!

А распределение я отбывал на Колыме. Сеял в вечную мерзлоту разумное-доброе-вечное. Там такой состав воздуха, что почему-то сигаретами любой крепости никак не накуришься. Зато всюду продавался ленинградский «Беломор», и даже не фабрики имени некурящей Крупской и, наверное, потому отвратительный, а Урицкого. Вернулся я курильщиком «Беломора».

А тут и в моде потянули иные ветры. Вошел в обиход легкий эпатаж. Они там сидят за гардинами при свечах, им блюзы ухо ласкают, а тут входись с беломориной в зубы! Это уже пижонство высшего класса!

«Беломор» был уже не отменного качества, но вполне сносным, лучше «Байкала», «Прибоя», «Бокса» и «Красной звезды». Что немудрено: те сорта в народе именовались «гвоздиками» не только за внешний вид, схожий с известным скобяным изделием, но главным образом из-за сучьев, которые попадались в табаке едва ли не каждой папиросы. Между «гвоздиками» и «Беломором» располагались по табели о табачных рангах папиросы «Норд». В битве с космополитизмом «нордик» устоял, только название перевели на язык родных осин – «Север». А уже над «Беломором», как надворный советник над коллежским ассессором, возвышался «Казбек». Еще б ему не возвышаться! Как-никак, а коробку с черным джигитом на фоне гор писал не кто-нибудь – академик живописи Евгений Евгеньевич Лансере. А дальше – подарочные «Богатыри» с репродукцией популярной картины тоже академика живописи Виктора Васнецова, вся в черно-синих треугольниках «Эстрада» и черно-зеленых – «Герцеговина флор». Вот, кстати, странность: за то, что Махатма Ганди не повел освобожденную от колониализма Индию по социалистическому пути, отыгрались на папиросах и ликвидировали «Дели», а борьба с наемником американского империализма и кровавым палачом югославского народа Тито никак не отразилась на судьбе «Герцеговины флор». Вкусы вождей неисповедимы.

В конце 70-х мы вляпались в «пятилетку качества». Курильщики быстро это почувствовали на себе. Сначала исчезли «гвоздики» для бедных:

извольте раскошиться на «Север», дескать, «Север» более высокого качества. Но и «Север» быстро исчез. И самым доступным куревом стал «Беломор» и его недолгий близнец «Лайнер». А что «гвоздики»? Это сорта отменили, а сам институт «гвоздиков», а также комков мятой бумаги, клочьев пеньковой веревки и какой-то мелкой взрывчатой смеси остался неколебим. Вся эта гадость забивалась в «Беломор», на пачке которого тожественно возвещалось: «Папиросы высшего качества класса А». В Москве «Ява», некогда беломорный монополист, поделила производство и рынок с «Дукатом», но мы все-таки гонялись за «явским». Было такое поверье, будто на «Яве» «Беломор» лучше. Но это – легенда, оба хороши.

Раздобыв по талонам шампанское и под речь первого российского президента пустив пробки в потолок, одним прекрасным новогодним утром проснулись мы в России рыночной. И едва ли не первыми кинулись в объятья приватизации табачные фабрики.

Тут что-то странное стало твориться с моим «Беломором». Оказалось – и это правильно! – что рынок терпеть не может товаров плохого качества. Не по сердцу ему папиросы, набитые черт-те чем. «Ява» приняла средство радикальное – она просто-напросто закрыла производство папирос всех сортов.

«Дукат», который превратился в «Лигет-Дукат», пошел вроде бы по иному пути: он перестал забивать в «Беломор» всякую дрянь, и папиросам со времен недоразвитого социализма вернулось давно позабытое отменное качество. Правда, почему-то в радиусе двух-трех километров от самой фабрики купить их было невозможно, и, пока не образовался у Киевского вокзала оптовый рынок, приходилось рыскать в поисках по окраинам.

Года два назад возникла новинка – сигареты «Беломор». Что-то неспокойно стало на сердце. Не к добру это, ой, не к добру! Не заменят сигареты с фильгром настоящего курева. И крепость не та, и не прикусишь с шиком мундштук острым зубом....

Не напрасна была тревога.

Один чиновник прославился фразой: «Центр не для бедных людей». Он теперь вырос и стал членом правительства всего города. Исчезновение столичного «Беломора» подводит к развитию его мысли: «Москва не для бедных людей». По своей врожденной незлобivosti я желаю хорошему чиновнику процветания и карьерного роста. Слежу за ним издали с азартом и тревогою. Что-то будет, когда он вырастет во всероссийский масштаб?



Старое, но не устаревшее письмо

Копию публикуемого письма Марка Лазаревича Галлая (1914 – 1998) мне передала его вдова Ксения Вячеславовна, разрешив распорядиться им по моему усмотрению (меня с автором письма связывали долгие дружеские отношения). И так как письмо это – отклик на мемуарную книгу А. Голованова «Дальняя бомбардировочная...», печатавшуюся три десятилетия назад в журнале «Октябрь» (1969, №7; 1970, №5; 1971, №9, 11; 1972, №7), – я решил, что самое подходящее место для публикации – тот же журнал «Октябрь», но уже сегодняшний, которому, мне кажется, должно быть близко многое из того, о чем пишет Галлай. Может быть, стоит сказать и о том, что тогда мы с Галлаем обменивались впечатлениями от только что прочитанных воспоминаний А. Голованова, я знал, что он решил написать маршалу письмо и какую цель этим преследовал. Но об этом чуть позже – сначала об адресате письма.

До Великой Отечественной войны Александр Евгеньевич Голованов (1904-1975) был одним из самых опытных летчиков гражданской авиации. Незадолго до начала войны он был назначен командиром особого дальнебомбардировочного полка и ему было присвоено звание подполковника. Во время войны Голованов заслуженно стал одним из самых видных авиационных военачальников – командовал дальнебомбардировочной дивизией, затем АДД (авиацией дальнего действия), 18-й воздушной армией; в 1944 году ему было присвоено звание главного маршала авиации. Голованов видел в своей жизни многое и многих (в том числе тогдашних политических и военных руководителей страны) и сумел об этом живо, с множеством хорошо запомнившихся ему подробностей рассказать.

Но редактировалась и печаталась его книга во времена для мемуарной литературы крайне неблагоприятные. После смещения Хрущева возмущаемые Суловым идеологические службы всячески старались притушить сказанное на XX съезде КПСС, реанимировать сталинщину и обелить Сталина. Свирепствовала цензура – и общая, и особенно военная. Очень рьяно защищал сталинские порядки тогдашний главный редактор «Октября» Кочетов, один из основных столпов в литературе тоталитарного идеологического режима. Видимо, рукопись Голованова редактировали в соответствующем взглядам главного редактора журнала направлении.

Этим манипуляциям посвящено письмо Галлая, весьма уважительное к А. Е. Голованову, которого он знал лично. В последней книжке Галлая «Я думал: это давно забыто», вышедшей уже после его кончины, есть одно место, где речь идет о Голованове, которое тоже свидетельствует об этом уважении. Галлай, совмещавший в 1943 году работу летчика-испытателя со службой в дальней бомбардировочной авиации, рассказывает, как был сбит над Брянском, вместе со итурманом добрался до партизанского отряда, откуда был вывезен на «большую землю». Прочитав это место: «Летали мы в составе авиации дальнего действия, командующий которой генерал (в будущем главный маршал авиации) А. Е. Голованов, испытывая острую нужду в опытных летчиках, добился у Сталина разрешения своих сбитых и вернувшихся из вражеского тыла летчиков не отдавать в бериевские «лагеря поверки», а ограничиваться расследованием всех обстоятельств дела непосредственно в части. Так и мы с Гордеевым доложили о своих приключениях, написали подробные рапорты – и продолжили служить». Однако уважительное по отношению к Голованову письмо Галлая беспощадно к выявленным им отступлениям от исторической правды. Из наших разговоров той поры знаю, что Галлай прекрасно понимал, что многое в книге Голованова, вызвавшее его возражения и полемику, возникло в результате давления редакторской и главлитовской цензуры. Со-

временного читателя могут, правда, удивить его ссылки на высокие партийные документы, поскольку главный импульс причисления истории на сталинский лад (вытравлялось все о политических просчетах Сталина и тяжелых военных поражениях в первый год войны, о волне необоснованных репрессий, обезглавивших перед войной вооруженные силы) исходил именно из этих инструкций, но в идеологических схватках тех лет эти документы были как бы общим оружием – порой таким образом властями напоминали о том, что они недавно (после XX съезда) говорили и от чего нынче всячески открещиваются. Галлай надеялся, что при отдельном издании книги (оно, увы, не состоялось) Голованов учтет некоторые его замечания – как мне говорил, для того и писал ему письмо.

Теперь несколько слов об авторе письма. Марк Лазаревич Галлай (1914-1998) – Герой Советского Союза, доктор технических наук, заслуженный летчик-испытатель, который летал на самолетах 124 типов и назначений; в энциклопедическом словаре о нем сказано: «испытания первых сов. реактивных истребителей, дальних бомбардировщиков (вт. ч. реактивных стратегических), вертолетов и др. Испытания на флаттер». Стоит обратить в справке внимание на слово «первых» – оно ключевое в биографии этого незаурядного человека. Во время первого полета немецкой авиации на Москву 22 июля 1941 года Галлай в ночном бою был немецкий бомбардировщик. Он был первым «инструктором-методистом по пилотированию космического корабля» (так называлась должность, на которую его пригласил сам Королев) первой группы наших космонавтов, знаменитой «шестерки первой очереди». В авиационном мире он был человеком известным, с безупречной профессиональной и человеческой репутацией. А Константин Симонов, с которым Галлай познакомился еще в предвоенные годы, когда первый был молодым поэтом, а второй начинающим летчиком-испытателем, писал, что в «широком понятии «наше поколение», или, точнее, «наше поколение советской интеллигенции», Галлай был для него «одним из самых конкретных выражений этого понятия». Его талантливые мемуарные и документальные книги: «Через невидимые барьеры» (1960), «Испытано в небе» (1963), «Первый бой мы выиграли» (1973), «С человеком на борту» (1985), «Небо, которое объединяет» (1997) (первые три были напечатаны в «Новом мире» Твардовского) – создали ему громкое литературное имя «советского Сент-Экзюпери».

Публикуемое письмо отличается органическим соединением двух этических начал: свойственной профессии первоклассного летчика-испытателя дотошной и скрупулезной точности и исповедуемой писателем высокой гражданской ответственности, отвергающей любые конъюнктурные отступления от исторической правды – приписки, умолчания.

Могут сказать: все это было три десятилетия назад, «дела давно минувших дней, преданы старины глубоким» – стоит ли к этому возвращаться? Увы, приходится возвращаться, необходимо возвращаться, потому что по сей день историческая правда у нас не в почете и не перевелись желающие снова объявить Сталина «великим полководцем всех времен и народов» и спасителем Отечества, как это сделал в своем недавно вышедшем в свет двухтомном сочинении Владимир Карпов, которым торгуют нынче на всех уличных столиках. Еще в силе «патриоты», жаждущие реставрации «светлого прошлого», добивающиеся восстановления на Лубянке памятника Дзержинскому. И, видно, возможности у них все еще немалые. Их стараниями в минувшем году в день Победы по центральному телевидению как оскорбление всем мертвым и живым участникам войны был прокручен фильм 1950 года «Падение Берлина», одиозное, бездарное, насквозь лживое культовое изделие М. Чаурули и П. Павленко, о котором даже в выпущенном в застойные времена энциклопедическом словаре «Кино», где, когда дело касалось такого рода материи, допускались лишь самые деликатные формулировки, вынуждены были написать: «Стремясь к монументальности, этич. широте в воссоздании важных страниц истории Сов. гос-ва, Ч. пост. ф., отмеченный чертами парадности и декоративности, что привело к упрощению или неточной интерпретации событий, к смежению акцентов...». И в Волгограде сейчас государственные чиновники в который раз затевают «движение» под лозунгом возвращения городу «исторического названия» – нет, конечно, не Царицына, а Сталинграда. И активисты-«эгономовцы» на митинги выносят как иконы портреты генералиссимуса в парадном мундире.

Нет, публикуемое письмо не устарело...

М.Л. ГАЛЛАЙ – А.Е. ГОЛОВАНОВУ*Москва, 13 декабря 1972 г.*

Многоуважаемый Александр Евгеньевич!

К сожалению, при обсуждении Ваших записок в ЦДСА 1 декабря выступавшие так неуважительно относились к регламенту, что многим желающим, в том числе и мне, сказать свое слово не удалось. А сказать мне было что. Поэтому я и решил написать Вам это письмо.

Ваши записки произвели на меня сильное впечатление, а их содержание – за единственным исключением, о котором скажу далее, – вызвало чувство одобрения и понимания.

Вы написали о многих важных и интересных вещах, причем написали очень конкретно, оперируя больше фактами, чем рассуждениями. Это надежно привлекает к Вам читателя.

В записках Вы ошутимо показываете всю меру лежащей на военачальнике большого масштаба ответственности за свои решения, принимать которые приходится не на основе элементарных расчетов (типа «дважды два – четыре»), а, как выражаются сейчас, «в условиях неполной информации». В этом отношении очень показательно описанная Вами проблема выпуска АДД в боевой вылет при сомнительном метеопрогнозе. Каждому летчику понятно, что, если бы Вы ориентировались на «бесспорные» прогнозы, АДД сделала бы, наверное, раза в два меньше успешных вылетов, чем удалось фактически.

Вообще у Вас много такого, что мог рассказать летчик, и только летчик: та же, например, посадка Молодчего в темноте с неработающими моторами! Или этот чертов «заколдованный» Калининский мост – мне он тоже памятен!

Насколько я могу судить, зря во время обсуждения некоторые выступавшие опровергали лидирующую роль АДД в освоении и широко (именно широко – в этом все дело!) внедрении передовых методов радиосамолетовождения. Я считаю, что эти выступавшие неправы. Никто ведь не утверждает, будто до создания 212-го полка радионавигация была никому не известна (кстати, нет такого утверждения – ни прямо, ни косвенно – и в Ваших записках). Но то, что за время войны наша авиация пережила подлинную «революцию в самолетовождении», – бесспорно. И не менее бесспорно, что лидером в этой революции была АДД.

Не усмотрел я в Ваших записках и признаков ведомственной неприязни к ВВС, в чем Вас тоже обвиняли при обсуждении. Правда, есть у Вас критическое освещение некоторых конкретных деятелей ВВС – но это же совсем другое дело! Кстати, мне очень понравилось и показалось весьма справедливым Ваше убеждение, что отдельный поступок, пусть даже достойный порицания, – это еще не весь человек. И что взаимоотношения на работе определяются, прежде всего, самой работой, а не разного рода взаимными амбициями. В этом смысле, мне кажется, очень важен эпизод Вашего первого знакомства с Новодрановым, а потом оценка его последующей деятельности. Думаю, что именно так надо воспринимать и большую часть других приводимых Вами фактов, в том числе и фактов, касающихся тех или иных – иногда удачных, иногда неудачных – действий и высказываний руководителей ВВС. Во всяком случае, я как читатель предвзятости с Вашей стороны по отношению к ним не почувствовал.

В целом я считаю, что Ваши записки – значительное явление нашей мемуарной литературы, и с интересом ожидаю их продолжения.

Из замечаний, которые, по моему мнению, автору следует учесть при подготовке книги к отдельному изданию, серьезный характер имеет только одно, но чрезвычайно важное – касающееся изображения в Ваших записках личности Сталина. В этом вопросе я решительно согласен с точкой зрения докладчика на обсуждении 1 декабря.

Конечно, я ни минуты не сомневаюсь в правдивости Вашего изложения каждого отдельно взятого эпизода, в котором участвует Сталин. Но подобра-

ны эти эпизоды у Вас односторонне: все, что характеризует его с положительной стороны – работоспособность, отличная память, умение быстро разобрататься в ранее незнакомом вопросе, способность взять себя в руки при самых тяжелых обстоятельствах, – все это рассказывается у Вас подробно, с постановкой всех точек над «и». А то, что свидетельствует об упущениях, ошибках и особенно тяжелых прегрешениях Сталина перед нашим народом, дается в виде легких, туманных намеков.

В результате получается «перекос», противоречащий не только известным партийным решениям (кстати, вновь подтвержденным XXIV съездом), не только характеристике Ленина («груб, нетерпим...»), но даже тому, что Вы сами же в своих записках пишете. Характеристику Сталина нетрудно существенно – причем далеко не в его пользу! – расширить, не прибегая для этого ни к каким другим источникам, а только «раскрывая скобки» в написанном Вами же.

В самом деле.

История АДД, по существу, начинается с того, как Смушкевич уговорил Вас обратиться к Сталину («Октябрь», №7, 69 г., стр.155), ясно понимая, что сам он «не имеет сейчас такой возможности и вряд ли на его докладную обратят серьезное внимание». Мы знаем, что, к несчастью, он был прав, – вскоре его арестовали и, как многих других честных и заслуженных людей, расстреляли. Чувствуя, что его личная судьба практически решена, он продолжал думать о деле, об интересах нашей авиации и обороноспособности страны. И сумел, остановившись на Вас, сделать выбор, лучше которого, как показало дальнейшее, не приходилось желать...Все это, повторяю, мы знаем. Но знаем не от Вас, не из Ваших записок. А полагаться на то, что эрудированные читатели сами восполнят недосказанное и ликвидируют образовавшийся перекося, увы, приходится далеко не всегда. Подтверждением тому является то же суждение 1 декабря – помните, как один из первых выступавших наивно вопрошал: «А действительно, почему Смушкевич сам не обратился с этим вопросом к Сталину?»

Где же тут терпимость Сталина, его умение слушать людей, о которых Вы пишете?

Допускаю, что он, будучи, без сомнения, человеком незаурядного ума, понял, что во время войны иначе вести себя нельзя, – противник грозный, и силами Ежова или Берии его не одолеешь. Отсюда и парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: несравненно большая демократичность и терпимость Сталина во время войны по сравнению с тем, что было до и после нее.

Вы рассказываете далее, что мужа Вашей сестры расстреляли как врага народа, что на бюро Иркутского обкома у Вас отобрали партбилет якобы за связь с так называемыми «врагами народа» (№7, 69 г., стр.160), то есть что трагедия всего народа коснулась непосредственно и Вас. И тут же добавляете: «Нити всех бед, как я считал тогда, тянулись к Сталину».

Почему – «как я считал тогда»?

А как Вы считаете сейчас?

Я хотел на обсуждении спросить у Вас, но Вы сами в своем заключительном слове (в котором говорили очень сердечно и искренне) ясно сказали, что ответчиком № 1 за все черные дела 37-го и последующих годов считаете Сталина. Получается, что фраза в тексте искаженно отражает точку зрения автора и требует уточнения вроде: «...считал тогда и продолжаю считать сейчас». Кстати, партийный взгляд на это дело, отраженный в Курсе Истории КПСС (издание третье, 1970 г.), также прямо связывает с культом личности Сталина имевшие место нарушения партийной и советской демократии и гибель многих оклеветанных и невинно пострадавших честных коммунистов и беспартийных советских людей. Двусмысленное «как я считал тогда» ставит эту четкую точку зрения под сомнение.

Вы пишете, что «у Сталина было в обычае не только спрашивать с людей, но и заботиться о них» (№7, 69 г., стр. 164), в другом месте записок говорите почти дословно то же самое: «Строгий спрос по работе и одновременно забота о человеке были у него неразрывны» (№5, 69 г., стр.196), а в третьем месте

даете развернутый рассказ «о некоторых личных чертах Сталина и стиле его работы» (№5, 70 г., стр.190, 191). У неподготовленного читателя возникает облик Сталина в виде строгого, требовательного, но бесконечно справедливого, скромного («я простой бакинский пропагандист...»), гуманного человека. Самое сдержанное, что можно сказать о таком литературном портрете – это что он однобокий. А для того, чтобы справедливо оценить сталинскую «заботу о людях», тоже нет нужды выискивать конкретные примеры где-либо вне Ваших записок. Достаточно перечислить упоминаемых Вами же людей, как известно (к сожалению, не из Ваших записок), ставших жертвами сталинского произвола: Смушкевич, Берг, Вознесенский, безымянный авиационный конструктор (видимо, Туполев), Проскуров, Шахурин, Осипчук – честные, талантливые, преданные Родине люди, о которых Вы отзываетесь с уважением и симпатией. Да и такие персонажи, как Павлов или тем более Рычагов, при всех допущенных ими ошибках и промахах вряд ли заслуживали физического уничтожения.

На обсуждении в ЦДСА Вы говорили, что злодеяния Сталина относятся не к тому периоду, который охвачен опубликованной частью Ваших записок. Почему же? Смушкевич или тот же Берг пострадали как раз в это время. Да и нельзя, мне кажется, понимать хронологическую последовательность мемуаров так формально. Говоря о человеке, упоминать об его прошлом и будущем вполне естественно, а в данном случае – просто необходимо! Иначе возникает тот самый «перекос».

Страшным цинизмом повеяло на меня, когда я читал (№ 5, 70 г., стр. 194, 195) о Вашем разговоре со Сталиным по поводу объявленного «врагом народа» авиаконструктора («Ты веришь?» – «Нет, не верю». – «И я не верю!»). Если он сам «не верил», то чего же, спрашивается, ждал?! А если бы конструктор не приехал к Вам и у Вас не было бы повода начать со Сталиным разговор на эту тему, тогда что же – так и продолжал бы сидеть человек, в виновность которого Сталин «не верил»? Увы, да – продолжал бы! Как продолжали многие, многие другие – аж до XX-го съезда...

Ведь если вдуматься, то в освобождении этого конструктора, как и в освобождении «шпиона» летчика Мансветова (№ 5, 70 г., стр.193) и других людей, по поводу которых Вы обращались к Сталину и «всегда получали положительные решения» (№5, 70 г., стр.194), – во всем этом содержится тот же произвол! Правда, на сей раз произвол, направленный в добрую сторону, вроде помилования Екатериной Второй Гринева в «Капитанской дочке», но тем не менее произвол. А ведь нынешний читатель не представляет себе, какой процент составляли такие «монаршей милостью» помилованные люди по отношению ко всем невинно пострадавшим. Вы же рассказываете только о помилованных, причем так, будто миловал Сталин, а сажал – неизвестно кто, на манер эдакого стихийного бедствия.

Слов нет, Ваше собственное стремление использовать всякую возможность, чтобы выручить из беды невинного человека, как и благородное поведение в комиссии ЦК по делу Новикова, о чем Вы говорили в ЦДСА, характеризует Вас как человека глубоко порядочного, смелого, принципиального и душевного. Словом, такого, каким в течение многих лет мы знаем, любим и глубоко уважаем Вас (кстати, мы, знающие Вас летчики, считаем характеристику Вашей личности, помещенную после завершения публикации Ваших записок в журнале «Октябрь», вполне справедливой и объективной – в этом мы не согласны с докладчиком на обсуждении в ЦДСА). Но речь сейчас идет не о Вас. И не о тех немногих людях, которые имели возможность действовать так же, как Вы. Напрасно Вы удивляетесь, что таких людей было немного, – их малочисленность тоже отражает грозную обстановку, созданную Сталиным вокруг. И на Ваш вопрос: «Рычагов был не единственным человеком, который, имея свое мнение, молчал и согласно кивал головой или даже говорил «правильно»...Почему?» – нетрудно ответить, напомнив о судьбе самого Рычагова. Но, повторяю, речь сейчас идет о другом – о позиции Сталина – «хочу казнь, хочу милую» (чаще, конечно, «казнь»), о которой Вы пишете почти с умилением.

Пресловутая деловитость Сталина тоже, как следует из Ваших записок (точнее, из анализа содержания Ваших записок, который вместо Вас приходится выполнять читателю), проявляется им далеко не всегда. Вот он справедливо разъясняет Вам, что «с нами будет воевать Германия, и это нужно твердо помнить... всю подготовку сосредоточить на изучении военно-промышленных объектов и крупных баз, расположенных в Германии, – это будут главные объекты для Вас. Это основная задача, которая сейчас перед Вами ставится» (№ 7, 69 г., стр. 165). Казалось бы, все ясно. И командир особого полка, которому сам Сталин ставит задачу и которому придает такое значение, что даже вопрос о воинском звании командира этого полка дебатировался в кабинете Сталина, – такой командир должен бы при первом сообщении о начавшейся войне вскрыть пакет и вести полк на цель № 1. Но он узнает толком о начавшейся войне и о том, что объявленная тревога – не учебная... только по радио, вместе со всем населением страны. А задание для полка получает еще сутки спустя, да и то не такое, для которого полк предназначался (№ 7, 69 г., стр. 169). Оказывается, «вообще» полку придавали большое значение и неоднократно занимались им в самых высоких инстанциях, а вот конкретно – недоделали. Невольно в голову приходят весьма убедительные обобщения...

Вопроса о причинах того, почему гитлеровцы застали нас 22 июня 41 г. врасплох, Вы касаетесь не один раз. Сначала даете понять, что Сталин был сбит с толку успокоительными уверениями генерала Павлова (№ 7, 69 г., стр. 167), хотя такой непогрешимо мудрый политик, каким выглядит у Вас Сталин, должен был бы если не разобраться правильно, кто из его советчиков прав, а кто нет, то по крайней мере, столкнувшись с сомнительной и в то же время жизненно важной для страны ситуацией, как-то подготовиться и на тот случай, если события развернутся в направлении, с его точки зрения, менее вероятном, – так сказать, «не ставить все деньги на одну ставку». Так что списать тут главную долю ответственности на Павлова трудно. А далее Вы ставите вопрос прямо: «Почему войска не были приведены в боевую готовность?.. По укоренившейся за многие годы версии, все как будто упирается в Сталина, а так ли это?.. Ведь, как известно, после получения из Москвы распоряжений Военно-Морской Флот был приведен в боевую готовность...» (№ 7, 69 г., стр. 168). На поставленные Вами вопросы отвечает не какая-то «версия», а ряд вполне официальных, многократно апробированных источников, начиная с уже упоминавшегося Курса Истории КПСС (где говорится о «допущенных просчетах в оценке возможного времени нападения на нас гитлеровской Германии и связанных с этим упущениях в подготовке к отражению первых ударов»), продолжая известным однотомником «Краткая история Великой Отечественной войны» под редакцией Баграмяна, Болтина, Епишева и ряда других видных военных деятелей и кончая множеством записок и мемуаров, включая и Ваши собственные. Что же касается Военно-Морского Флота, то он действительно был приведен в боевую готовность согласно полученным «из Москвы» распоряжениям. Но что значит – из Москвы? От кого именно? Как мы знаем из записок тогдашнего наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова (опубликованных несколько лет назад в том же журнале «Октябрь»), эти распоряжения командование флота дало на свою ответственность, вопреки общей установке: «не провоцировать...» Представьте себе на минуту, что Гитлер по каким-то причинам отложил нападение на нас еще, скажем, на неделю, и ответьте самому себе, как в подобном случае обернулась бы для командования Военно-Морским Флотом его инициатива?

Тональность, в которой Вы рассказываете о том, как Сталин «подводил теоретическую базу» под такие вопросы, как «организация артиллерийского наступления или создание мощных резервов...», как он учил артиллеристов ведению артиллерийской подготовки («...и разъяснял, почему»), как «имел твердую точку зрения относительно того, как должны организовываться войсками подготовка и прорыв обороны противника» (№ 11, 71 г., стр. 182, 183), – вызывает в памяти в свое время не раз слышанное и читанное: «величайший полководец всех времен и народов», «корифей всех наук» и т.п. Вы в других местах записок показываете, как во время войны Сталин формировал свои

точки зрения по различным авиационным вопросам, слушая мнения специалистов, в том числе и Вас. Почему же надо думать, что артиллеристов и общевойсковиков он «учил»? Кстати, в конце книги Вы весьма реально описываете, как складывалось решение Ставки по поводу окруженной под Сталинградом вражеской группировки (№7, 72 г., стр. 144). И, между прочим, такой стиль работы вызывает у читателя гораздо большее доверие и одобрение, чем «вещание истин с Олимпа».

Я хотел бы, чтобы Вы поняли меня правильно. В отличие от некоторых шибко активных «борцов с последствиями культа личности», я ни в коем случае не призываю Вас вообще не рассказывать читателю о личности Сталина. Наоборот! Хорошо это было для нас или плохо, но Сталин был, и выкинуть его из истории невозможно, да и не нужно. И объективный рассказ об этой фигуре представляет большой интерес. Но именно – объективный! Построенный на изложении всех известных автору, а не односторонне подобранных фактов; на понимании ситуации, в частности того, насколько остро нужны были Сталину во время войны военачальники (как и руководители в других областях) Вашего калибра; на учете того, отмечавшегося К.К. Рокоссовским и другими мемуаристами, факта, что Сталин обладал редким умением, когда надо, обворозить собеседника. А тут уж ему это было надо, как, пожалуй, никогда ранее или позднее!

Почему вопрос об объективном показе личности Сталина представляет мне и, конечно, не одному мне, но многим, многим нашим современникам таким жизненно важным?

Казалось бы, не все ли равно? История знает так много несправедливых посмертных репутаций – путь будет еще одна, ничего страшного?.. К сожалению, так рассуждать в данном случае не приходится! Мне кажется, что – сколь это ни парадоксально – сторонники «посмертной реабилитации» Сталина, время от времени подающие голос, и люди, которые считают такой поворот дел крайне опасным для нашего общества, исходят из... одного и того же соображения. И те и другие понимают, что «реабилитация» Сталина – это одновременно и реабилитация тех методов, нравов, той общественной атмосферы, которые он насаждал. Люди, опасаящиеся такого поворота дел, высоко ценят господствующие сейчас порядки, при которых человек, не знающий за собой каких-либо преступлений, спит спокойно, а идя открывать дверь на неожиданный ночной звонок, думает: «Интересно, от кого бы это может быть телеграмма?» А человек, в чем-то виноватый или не справившийся со своими обязанностями (как тот же Рычагов, например), ожидает не расправы, а справедливого, законного взыскания... Чего хотят сторонники возвращения к старому – не знаю. Трудно представить себе, чтобы они жаждали произвола (разве что рассчитывают, что окажутся не теми, кого бьют, а теми, кто бьет)...

Как видите, речь идет далеко не просто о справедливой или несправедливой оценке личности умершего двадцать лет назад старика!

И простите меня за применение «цитатного» метода доказательств, но не могу не вспомнить того места из отчетного доклада ЦК на XXIV съезде партии, где говорилось, что среди некоторых наших литераторов имела тенденция «свести многообразие сегодняшней советской действительности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в прошлое в результате работы, проделанной партией по преодолению последствий культа личности».

Заметьте, многоуважаемый Александр Евгеньевич: «бесповоротно отодвинуты»! И если нет смысла возвращаться к этим проблемам, чтобы вновь проделывать уже проделанную работу, то, наверное, тем более не надо возвращаться к ним, чтобы эту работу подвергать ревизии.

И далее в том же докладе ЦК говорится: «Другая крайность, также имевшая хождение среди отдельных литераторов, – это попытка обелить явления прошлого, которые партия подвергла решительной и принципиальной критике, законсервировать представления и взгляды, идущие вразрез с тем новым, творческим, что партия внесла в свою практическую и теоретическую деятельность в последние годы».

Мне эта точка зрения кажется не только разумной, но просто единственно возможной. И к «представлениям и взглядам, идущим вразрез...», конечно же, относится и былой взгляд на Сталина как на непогрешимого, всезнающего, справедливого и высокогуманного деятеля. Не надо вновь этот взгляд пропагандировать!

Я очень надеюсь, многоуважаемый Александр Евгеньевич, что Вы прочтете и обдумаете написанное мной спокойно, без запальчивости, не предвзято. И что согласитесь с необходимостью, говоря нашим летным языком, вывести Ваши интересные и содержательные мемуары «из крена».

Вы пользуетесь высоким авторитетом и искренней симпатией среди летного состава, особенно среди тех его представителей, которым, подобно мне, посчастливилось лично общаться с Вами – в дни войны и в дни мира, на земле и в воздухе. Нам будет очень горько, если Ваше имя станет ассоциироваться в сознании людей с поддержкой непрогрессивных, не соответствующих полной исторической правде, бесповоротно осужденных нашей партией тенденций.

От души желаю Вам доброго здоровья и успеха в доработке первой книги Ваших мемуаров, а также в написании их продолжения.

Глубоко уважающий Вас

М. Галлай.

Публикация К.В. ГАЛЛАЙ



Веселый сосуд для страдания

•
Валерий Попов. ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ. Повести. М., «Вагриус», 2002.

•
Все три повести петербургского прозаика Валерия Попова, вошедшие в книгу, – «Очаровательное захоlustье», «Ужас победы» и «Грибники ходят с ножами» – внесюжетно связаны личностью главного героя, его мировоззренческой стабильностью, способностью оборачивать трагическую напряженность жизни в легкую и ироничную ткань существования.

Герой умеет создавать свой собственный мир-укрытие, где охранник – ирония; действительность допускается в этот мир уже в безоружном виде, и тогда герой активно и безбоязненно воспринимает ее, приравнивая к своей судьбе.

А судьба главного героя Валерия Попова – такая же, как и автора, – быть писателем. И имя герою автор дает свое – Валерий Попов, правда, в повести «Ужас победы» немного укорачивает фамилию, оставляя две первых буквы – По.

Герой, мудрый и наивный одновременно, пытается войти в ошестинившийся конфликтами мир, как Иванушка-дурачок во владения Бабы-Яги, но в результате вместо прекрасной царевны получает лишь тумачи и неутешительное знание о жизни, что, впрочем, не убавляет его неизлечимого оптимизма. Едет ли он в провинцию с друзьями-писателями налаживать там счастливый быт, как в повести «Очаровательное захоlustье», или принимает крещение для того, чтобы вершить чудеса и изменить мир к лучшему, как в «Ужасе победы», – результат оказывается одним и тем же: полный провал, грустное осознание неразрешимости социальных конфликтов, будь то стол-

кновение с политическим идиотизмом 70-80-х годов в нашей стране или с бездуховной и набирающей все большую силу прослойкой бизнесменов, которые считают, что могут купить все, даже писательский талант («Грибники ходят с ножами»).

Но для героя важна сама активная попытка изменить действительность, не подлаживаясь под нее, попытка сохранить в себе веру в писательское предназначение.

Буква для героя – некий символ, опора, единственно верная основа бытия. «Только в Букве – мой Бог! И ничего иного не надо мне! Буквой можно все сделать... все изменить!» Это из повести «Ужас победы». Или вот еще: «В сущности, мое дело – продавать людям Буквы, пытаюсь их (людей) при этом обогатить!» И несмотря на патетическую ироничность этого восклицания сокровенная связь героя с Буквами действительно существует, связь необходимая и подчас мучительная: «Да-а-а... Буква не всегда благо... по отказываться уже нельзя!» Подпольная типография, которую он обнаруживает, становится, по сути, его второй, скрытой от всех, подлинной жизнью. Там, где живут Буквы, там герой – писатель Валерий По – обретает себя.

Но буквы тоже заражаются хаосом действительности, и преодолеть его нелегко. Баня, куда герой отправляется помыться, превращается в банк, где делать ему совершенно нечего, – метаморфоза, произошедшая с одной буквой, изменила привычный уклад жизни. «Таперича заново учу буквы и грязный хожу!» («Грибники ходят с ножами»). И так во всем – привычные и обыденные, на первый взгляд, события под взглядом героя, остро чувствующего абсурдность миропорядка, приобретают фантазмагорический оттенок. Ответственные же за все эти превращения – Буквы.

Но Буквы не пассивны, они наполнены той же активной энергией преодоления, что и писатель Валерий По, однако без постоянного гармонич-

зирующего диалога они отбиваются от рук. «Теперь я должен их (Буквы. – А. Е.) кормить – по крайней мере духовно! Чем?!» Да, действительно, чем? Это одна из основных проблем, которую ставит для себя герой, – и выход находит: просто посмеяться над абсурдом, пронять улыбкой понимания неугомонный хаос, задать жизни свой ироничный тон. И здесь, на этом стыке трагичности происходящего и его иронического осмысления, резкого несоответствия тона и смысла, возникает некий гротеск несовместимости, что создает особую атмосферу в прозе Попова – задорной безнадежности, забавной трагичности. Такой своеобразный оксиморон работает как прием, формирующий индивидуальный путь постижения мира, создающий новую, способную противостоять жесткости реальность.

«Можно размазаться по помойке, как мусор... а можно – с чем-то ярким сравниться. То есть не из луж страдание свое пить, а из сосуда. Книжки – такие сосуды! Вот. В них все то здорово сделано. Страдание оформлено... в красивый сосуд». Так мыслит герой-писатель. Для самого Попова – «страдание оформлено» в веселый сосуд. Весело – о страдании, легко – о неподъемном – вот, похоже, писательская позиция Валерия Попова, основная особенность его стиля. И поэтому вполне объяснимы постоянная эмоциональная взбудораженность текста, обилие в нем восклицательных и вопросительных знаков. В книге нет ни одной страницы без восклицания или вопрошания, что, с одной стороны, придает стремительность и напор словесно-смысловому потоку, с другой – создает интонационное однообразие. Стилистическая аффектация изрядно утомляет, в текстах становится тесно, остро ощущаются интонационные тиски. Возможно, поэтому у Попова не встретишь глубокого проникновения в личные отношения героев или тонкой пейзажной зарисовки – у него кисть другого размера, способная класть только бодрые крупные мазки.

Кроме того, думается, здесь существует проблема текста в его вариативности, смысловой многогранности. В тексте, как в городе: есть главные улицы, есть маленькие переулочки – нервы

вдумчивости, притяжения читательского внимания. И именно с их помощью сохраняется целостность сюжетного движения. В городе Валерия Попова только одна улица – главная. Никаких ответвлений, никаких раздумий. Идти по ней интересно двадцать, тридцать страниц, но дальше происходит насыщение и хочется побродить в застрочном мире, в сокровенных глубинах текста. Однако проводника туда нет. Этот текст, как батут: легок, пружинист, но неизбежно откидывает при соприкосновении. Внутрь не пропускает.

Или вот в живописи: есть цвет, а есть тон, перетекание одного тона в другой, создающее атмосферу картины, ее эмоциональную волну. У Попова же нет тонального перехода одного состояния в другое, да и самих состояний немного. У героя, в сущности, во всех трех повестях одно настроение: он бодр, весел и невозмутим, в какие бы ни попадал переделки. Похоже, внешний событийный ряд попросту поглощает внутренний мир героя, заслоняет его.

Наряду с действенно остроумными и меткими выражениями, например, оригинальным переосмыслением известной поговорки: «Да, слово не воробей. Слово – сокол. Если привяжется – заклюет», встречаются и весьма сомнительные остроты, рифмованная чушь: «Вместо кофе с молоком принесли кофе с молотком!» Да, конечно, это слова героя, а герой может сказать что угодно, но не надо забывать, что герой – писатель, написавший «Собачью смерть», одну из глав, кстати, лучшую во всей книге, в повести «Грибники ходят с ножами».

Главное для автора – диалог. В основном из диалогов и состоит ткань этих повестей. Герои беседуют постоянно и обо всем, динамично и сжато, умно и иронично. И, хотя беседы героев нельзя назвать философскими, почти всегда вторым планом в них слышатся отвлеченные вопросы – о добре, о справедливости и т.д. Явственно прослеживается идея, общая для всех трех повестей, – духовного противостояния меняющемуся на глазах миру, идея преодоления его неустроенности силой писательского дара.

Наверное, можно отнести Валерия Попова к продолжателям тради-

ции русской классической литературы по линии от Салтыкова-Щедрина до Зощенко. Гротеск в сочетании с ироничностью, бесстрашное погружение в пространство абсурда и внутренне-текстовое преодоление его и – что особенно характерно, по-моему, для творческого метода Валерия Попова – усиление акцента на неразрешимость конфликтности бытия. И вместе с тем герою даны светлая, оптимистическая гамма переживаний и способность совершенно искренней уживчивости в этом напряженном, скудном на любовь и понимание пространстве.

Анастасия ЕРМАКОВА

Другой Набоков

●
НАБОКОВ О НАБОКОВЕ И ПРОЧЕМ. Интервью, рецензии, эссе. Редактор-составитель Н.Г. Мельников. Издательство «Независимая Газета», 2002.

●
 «Меня всегда привлекало изучение писем, разговоров, мыслей, различных особенностей характера ... великих писателей... К тому смутному, общему абстрактному облику, который удастся охватить первым же взглядом, примешиваются... неповторимые характерные черты, сугубо индивидуальные, точно найденные, все более отчетливые и дышащие подлинной жизнью; ...а в тот час, в то мгновение, когда вам удастся ухватить в нем нечто неповторимое – особую улыбку, какую-нибудь царапину, скорбную морщину на челе... портрет начинает дышать и жить, образ найден», – писал Сент-Бёв в период создания своих «Литературных портретов».

Перед нами книга, в которой осуществлена попытка нарисовать образ Владимира Набокова с помощью его собственных размышлений о самом себе и о главном деле его жизни – литературе. Представлено почти полное собрание интервью писателя, многочисленные эссе, рецензии и критические заметки. На русском

языке все это собрано впервые, да и на других языках подобной книги пока не существует. Издательство «Независимая Газета», по-видимому, поставило своей целью создать наиболее полную «набоковиану» в нашей стране.

В разделе интервью представлены два, данных писателем до мирового признания (в 1932-м и 1940 гг.). Все остальные взяты с 1958-го до февраля 1977 г., в период двадцатилетнего неослабевающего интереса к русскому гению во всем мире. О том, как вел себя писатель во время таких бесед, можно узнать из некоторых прощительных воспоминаний: «Его прозрачно-голубые, но холодные глаза спрятаны за стеклами очков, на лице постоянное выражение подозрительности и осторожности; он притворяется, что не понял слов собеседника, и заставляет его повторить или же уходит в сторону, чтобы выиграть время, а когда ответ подготовлен, быстро и уверенно наносит удар ясными, точными словами» (С. Константины).

Наиболее искусным интервьюерам (Мартину Эсслипу, Бернару Пиво, Герберту Юлду, Альфреду Аппелю, Роберту Хьюзу) удавалось войти в доверительные отношения с престарелым мэтром, вызвать его на откровенность, импровизацию, неожиданное признание. И тогда завеса тайны над загадочной личностью приподнималась и перед ними предстал человек совсем не такой, каким его представляли многочисленные читатели. В книге можно проследить, как с течением времени, утверждая свою литературную личность, Набоков все более и более энергично подавлял в разговоре собеседника, добываясь полного господства и единоначалия, превращая диалогический жанр в собственный монолог. Впоследствии, вытравив чужие реплики, Набоков превращал свои ответы в миниатюрные эссе, каждое – со своим подзаголовком.

Как верно пишет автор предисловия, «подняв до невообразимой высоты языковую стилистическую планку в художественных произведениях, он не захотел опускать ее и здесь, в рамках маргинального для высокой литературы жанра. По тонкости словесной отделки, смелости метафор и сравнений, богатству и выразитель-

ности интонаций – от едкого сарказма до элегической грусти – набоковские ответы интервьюерам не уступают лучшим образчикам его филигранной прозы».

Перевод некоторых из них на русский язык – иногда просто произведение искусства. Там нет случайных или приблизительных выражений. Все они соответствуют изощренному стилю и изобретательному языковому мастерству Набокова. Вот один из примеров: «Наблюдательный, многоликий и неуловимый, он взвешивает каждый свой поступок, каждое свое слово...» (Пер. Е.В. Лозинской).

Главная задача книги – воссоздать творческую личность писателя. За прозрачно-голубыми, но холодными глазами, которые видел американский журналист, автор-составитель Н.Г. Мельников все-таки дает нам возможность увидеть глаза другого Набокова, сделанные, по его собственному признанию, из русской «сырости и серости». Склонность к мечтательной любви и печали, похожей на серые русские сумерки, все-таки проглядывают в резких рассуждениях и парадоксальных ответах писателя.

Предисловие к книге не просто знакомит с особой областью деятельности писателя в качестве автора интервью и эссе. Это «сеанс разоблачения», сеанс, где осуществлена попытка раскрыть тайны искушенного мага и изощренного фокусника, каким считал себя сам Набоков. Стремление к свободе оценок, беспристрастию, строгой переоценке признанных положений говорит о том, что перед нами литературовед нового поколения. Независимый, ироничный, избегающий поверхностных определений, Н.Г. Мельников смотрит на творчество Набокова не как на что-то запретное для критики, гениальное и недостижимое, а как на объект научного исследования. Говорят, что Дмитрий Владимирович (сын писателя) обиделся, назвав тон предисловия «развязным». Но ведь гений и должен быть подвержен перепроверке каждым новым поколением. Устоит – честь и хвала! И пока Набоков выдерживал все удары.

Три эпиграфа к портрету писателя – Ницше, Уайльда и Поля Валери – обещают интеллектуальное наслажде-

ние. И ожидание не обманывает нас. «Перед нами предстает «другой Набоков» – не только удачливый создатель сенсационных бестселлеров, но и до тошный исследователь, эссеист, ученый, теоретик перевода и литературный критик.

С юмором Мельников пишет о том, как относился Набоков к собственным интервью. «Первую скрипку должен был играть не какой-нибудь газетный щелкопер со своей банальной отсебятиной...» Убирая придуманное и банальное, не замечая набоковских мифов, Мельников тем не менее твердо идет, снимая, как археолог, пласт за пластом, к определению истины. И в конечном итоге находит ее. Отрадно, что в нашей стране, где творчество писателя по-настоящему начало осваиваться лишь в последние годы, формируется подлинное русское набокоеведение, независимое от мнений зарубежных авторитетов.

Именно обширное предисловие служит руководством к тому, как понимать интервью, эссе, критические статьи. Фотографии, шаржи, рисунки сопровождают читателя во время чтения всей книги. А сама она превращается в увлекательный и разнообразный интеллектуальный лабиринт, из которого не хочется выходить.

Вторая часть состоит из двухсот страниц эссе, рецензий, заметок. Большинство из них также издано на русском языке впервые. Все это снабжено подробными научными комментариями, точными, беспристрастными и несмотря на некоторую язвительность вполне корректными.

Это начало серьезного, непредвзятого исследования творчества писателя. Н.Г. Мельников не боится процитировать весьма резкие и насмешливые оценки западных критиков, с которыми, видимо, он согласен, таких романов писателя, как «Ада» или «Смотри на арлекинов!». Он позволяет себе с недоверием отнестись ко многим эпатажным декларациям самого писателя, понимая, на какую аудиторию они были рассчитаны. Правда, иногда автор увлекается. И тогда в порыве исследовательского задора, предполагая, что истина начала приоткрываться ему одному, делает самоуверенные заявления: «Продолжая наш сеанс с полным разоблаче-

нием, можно было бы заметить...» Все-таки полного разоблачения не получится. Писатель, рассказав о себе, казалось бы, почти все на семистах страницах, все же вновь ускользнет и от читателя, и от своего проницательного комментатора. При этом читатель не только не утратит интереса к его таинственной личности, но, узнав многое, захочет знать еще больше.

Вдоволь «наразоблачавшись», Мельников вдруг отказывается от «разоблачительного пафоса» и соглашается с тем, что писатель почти всегда говорил в своих интервью и статьях правду, хотя и прикрывал ее искусно «красивыми узорами» фантазии: «В конце концов стилизованная литературная личность Владимира Набокова, возникающая на страницах предисловий, эссе и интервью, – не менее интересное и художественно совершенное творение, чем его прославленные романы и рассказы».

Л.Н. ЦЕЛКОВА

Ковчег

СОЧИНЕНИЯ ЕЛЕНЫ ШВАРЦ.

В 2 тт. СПб., «Пушкинский Фонд», 2002.

В советское время выход двухтомника (вслед за однотомником) означал повышение писателя в чине – производство, положим, из генерал-майоров в генерал-лейтенанты. В наше время единой для всех табели о рангах со строгой системой субординации нет – и слава Богу. И все-таки выход в «Пушкинском Фонде» двухтомника Елены Шварц – событие значимое. И не только потому, что в руках у читателя наконец полный авторский свод поэта, все, что он после тридцати пяти лет работы счел достойным представить на суд публики.

И сам выход двухтомника, и то, что он сразу же был замечен СМИ, в том числе электронными, – знак успеха. А успех Шварц (я говорю об успе-

хе за пределами круга поклонников ленинградской неофициальной поэзии, еще в начале восьмидесятых до отказа заполнявших зал на ее выступлениях в Клубе-81) замечателен тем, что совершенно не детерминирован литературными и социальными процессами последнего десятилетия, а, напротив, состоялся вопреки им. В комичной свалке «традиционалистов», апеллирующих к советской интеллигентской поэтике (которая по недоразумению кажется им «классической»), и так называемых постмодернистов она одинаково чужда обеим спорящим сторонам. Комплекс идей, отразившийся в ее стихах, едва ли близок любителям Барта и Деррида, как, впрочем, и поклонникам Ивана Ильина или Исайи Берлина. Шварц – редкий и отрадный пример того, что собственно литературных талантов иногда оказывается достаточно для славы. Религиозная, интеллектуальная, философская составляющая поэзии Шварц ей – в этом смысле! – порою не подмога, а помеха. Во всяком случае, я знаю людей, не разделяющих того отношения к миру, которое лежит в основе поэзии Шварц, – и все же беззащитных перед ее стихами. Перед стихами семидесятых:

... Вот-вот цветы взойдут, алея,
На ребрах у ключиц, на голове.
Напишут в травнике – Elena arborea,
Во льдистой водится она Гиперборе,
Садах кирпичных, каменной траве.
Из глаз полезли темные гвоздики,
Я – куст из роз и незабудок сразу,
Как будто мне привил садовник дикий
Тяжелую цветочную проказу...

И перед строками из последних книг:

... Звезды, звезды – это только гвозди,
Вбитые из вечности в глазницы,
Четырехугольные, тупые,
Купленные в скобяной столице...

Что же нового открывает двухтомник в сравнении с однотомным собранием, выпущенным сравнительно недавно издательством «Инапресс»? Еще шире и многообразней кажется мир автора: в стихах Шварц упомянуто огромное количество предметов или явлений из абсолютно всех сфер бытия, от западной и восточной мисти-

душным «Переездом» и «Девятисвечником», этим шедевром примитивистской поэтики – «Детский сад через тридцать лет».

Стихи девяностых годов и рубежа столетий во многом отличаются от прежних: в них меньше потрясающих сознание образных конструкций, великолепного озорства, свирепочувственных зрительных образов; зато интонация стала гораздо гибче и подвижнее, эмоциональный диапазон поэта расширился: оказалось, что Шварц доступны и усталая элегическая интонация (мотивированная неизбывным иссяканием «сил жизни») – в таких стихотворениях, как «Последняя ночь» и «Заброшенная избушка», и прямое выражение мучительной боли («Sorrow», «Никого, кроме Тебя...»), и спокойная стоическая мудрость, приходящая со зрелостью. Вот как может звучать сейчас ее голос:

...Я просыпалась, плавно прозревая.
Луна текла в задымленном окне.
«Земля товарная» и «далеко до рая»,
Шептал в висок мне кто-то, напевая:
И больше нам не стыть в ее огне.

Во второй том вошли крупные вещи. Среди них «маленькие поэмы» (один из любимых жанров Шварц, восходящий по ее словам, к «Форе-ли» Кузмина), «Кинфия», «Труды и дни Лавинии», «Арно Царт», «Прерывистая повесть о коммунальной квартире». При сравнении «масочных» вещей, таких, как знаменитая «Кинфия», и «маленьких поэм», написанных от первого лица (не менее знаменитая «Черная пасха»), видно, насколько лицо говорящего в первых однозначней и очевидней (как это ни парадоксально!), чем во вторых. Проще, следовательно, и язык, потому что в основе языковой работы Шварц – управление подвижной дистанцией между автором и так называемым «лирическим героем». Поэтому, может быть, читать Шварц надо начинать с «Кинфии», затем перейти к ранним маленьким поэмам, потом – к лирике из первого тома. Впрочем, путь к восприятию большого поэта у каждого читателя свой. А Шварц, без сомнения, – очень большой поэт.

Иван БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ

Одиноким голос человека

●
Леон Богданов. ЗАМЕТКИ О
ЧАЕПИТИИ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ.
М., «Новое литературное обозрение»,
2002.

●
Этой книгой нельзя увлечься, ее можно только *принять*. Или не принять, что при нынешнем состоянии литературы не удивит: нынче правят бал триллеры и боевики, создавая желательную для рынка парадигму и выработывая у читателя рефлексываподобие выделения собаками Павлова желудочного сока. Есть интрига и куча трупов – «сок» выделяется; а в отсутствие раздражителей воспринимающие механизмы вроде как отдыхают.

В этой книге привычные раздражители, включая приемы, разрешенные к применению в «серьезной» прозе, отсутствуют. «Сегодня Масленица, давали копченую селедку. Еще Вера купила яблочного повидла в консервной банке, как килька. Блинов не пекли, слава Богу». Согласно литературным нормативам это может быть неким промежуточным описанием между двумя драматическими эпизодами. Однако драматической прозой тексты Богданова не являются, поскольку сплошь состоят из подобных фрагментов: «Пришел, посмотрел газеты за эти дни. Умер Н. А. Козырев. В «Книжном обозрении» пишут, что издан Джойс. Тринадцатого марта в «Международной панораме» показывали центр по борьбе с последствиями землетрясений в городе Кавасаки. Говорят, что между десятым и пятнадцатым сектором в районе Фудзиямы будет очень сильное землетрясение». Детали убогого советского быта, вечные проблемы с качественным чаем, который давали в «заказах», книги, что удалось достать и прочесть, новости из газет, радио и телевидения – вот кирпичики, из которых строится текст. Тогда – документальная проза? Не похоже: позиция хроникера, фиксирующего для будущих поколений подробности жизни при «тоталитаризме», абсолютно чужда автору. Исповедальная? Вряд ли, поскольку тут

отсутствует копание в своих «грехах», априори неестественное из-за предполагаемой публичности.

Эти заметки если и были рассчитаны на публикацию, то в последнюю очередь. «И что всю жизнь будешь не признан – оцени это». Перед нами редкое исключение из тотально тщеславной авторской братии, которая ради известности готова стоять на площади с голым задом и прыгать с самолета без парашюта. Что же касается составления «документов эпохи», то есть сомнения в том, что эпоха, в которую родился, жил и умер писатель Леон Богданов, всерьез его интересовала.

Его мир вроде бы очень узнаваем, но описан он не стандартным литературным языком, а потому предстает в необычном виде, удивляя читателя. Здесь нет очевидного драматизма, сюжетности – очень многого из того, что веками разрабатывала европейская литература. Но, как ни странно, *принявший* книгу испытывает стойкий интерес во время чтения, поскольку художественная динамика здесь все-таки присутствует. На страницах все время что-то происходит: покупается вино, заваривается чай, достаются редкие книги, слушаются очередные сводки новостей и т. п. Не бог весть какие события (с появлением тени отца Гамлета не сравнишь), но из них во многом и состоит жизнь. А еще масштаб (при полном, заметим, отсутствии претензий на «масштабность») создают сообщения СМИ, которые большинство из нас привыкло ощущать неким фоновым раздражителем. Происходит что-то в мире – и ладно, нас ведь это впрямую не касается!

Автора тоже вроде бы не касается, поэтому никаких геополитических обобщений мы здесь не найдем. Однако постоянное вслушивание в сообщения о природных катаклизмах и строгая их фиксация создают странное ощущение, особенно в единстве со скрупулезным описанием бытовых моментов. Это, думаешь, и есть мировой ритм: от одного подземного толчка – до другого, от одной катастрофы – до другой. Но и отчаяния, опять же, мы здесь не найдем, поскольку оно – европейская реакция на катаклизмы, а сознание автора принадлежит, думается, к совершенно другой традиции.

Восточная традиция выражается у

Богданова в естественном растворении в «потоке бытия». Европейский человек обычно энергично и страстно отыгрывает социальные роли в предлагаемых обстоятельствах, здесь же автор плывет в потоке обстоятельств, наблюдая за ними без особого интереса, но и не бесстрастно. «Знаете, сильная творческая воля – не предмет моего рассуждения. Это как бывает ток сильный и слабый, и они исследуются порознь. Сказать, что я исследую слабые художественные проявления, нельзя, но что-то такое напрашивается». Это точно – напрашивается; хотя ошибся бы тот, кто всерьез посчитал бы эти записки исследованиями. В том-то и дело, что и от европейского титанизма (та самая «сильная творческая воля»), и от пылливости западного склада ума Богданов свободен, его задача скорее – совпасть с реальностью, а не «преодолевать» ее и не «разлагать на составляющие».

Въедливый анализ и борьба со сложившимся статус-кво (в надежде, что будущее будет, безусловно, прекраснее настоящего) – основы нашей ментальности. Однако эти «столпы» спокойно можно обойти, обнаружив иное измерение бытия, причем не в каких-то экзотических местах, а совсем рядом, в твоей квартире, во дворе, в процессе письма. На этом, наверное, требуется сделать акцент: автор все время упоминает книги по буддизму, даосизму и т. п., но интерпретацией и изложением «впечатлений от прочитанного» не занимается. Зачем, когда такой тип сознания является твоей органикой?

Важное место в книге занимает ЧАЙ – топливо, порождающее энергию мысли. Автор навязчиво перебирает куски этого «антрацита»: через страницу-другую мы обязательно узнаем об очередной закупке грузинского (цейлонского и др.), который путем ряда манипуляций превращается в напиток, известный как «чифир». Что ж, у каждого автора – свой допинг, Балзак и По тоже не апельсиновый сок для вдохновения потребляли. Были в жизни Леона Богданова и наркотики, однако записки ни в коей мере не являются наркоманским бредом. Это не хаос, структура в тексте имеется, отсутствует же – прием. Хотя отсутствие явного приема иногда является самым сильным приемом.

Всегда можно вычислить, где профессионал выскакивает из собственного текста и умывает руки: мол, это не я – это мои герои. Богданов – не выскакивает, здесь везде он, его зрение, слух, работа ума, и, повторим, удивительно, что читать об этом интересно, больше того – доставляет удовольствие.

Какова была цель писателя Леона Богданова? Возможно, такая же, как у писателя Павла Улитина, хотевшего создавать «слова без прибавочной стоимости». Хотя на Улитина Богданов совсем не похож.

Подражать Леону Богданову невозможно, повторить его путь – тоже. Ведь повторение возможно только на собственном пути, когда личность переплавляет *свою* жизнь – в текст. А это всегда сугубо индивидуально. И, надо заметить, очень редко встречается.

Владимир ШПАКОВ

Золотое царство ПОЭЗИИ

●
Алексей Пурин. НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. Прага – СПб., «Urbis», 2002.

●
Книга Алексея Пурин подводит итог более чем двадцатилетнему творчеству поэта. Наряду с новыми стихами она содержит многое из наиболее интересного, что было опубликовано ранее.

Главное впечатление от книги – художническое пропикновение в суть общественного бытия, в психологию бытующего человека. При этом никакого нажима, ни малейшей декларативности. Поэт показал, как из мозаики фрагментов создается панорама действительности, от холодных казарм на крайнем Севере до жарких уголков Средней Азии и европейских городов.

Алексей Пурин – поэт узнаваемый. Он видит окружающее в особом ракурсе. И поэтика его индивидуально окрашена. Прежде всего стихам Пу-

рина свойственно лексическое своеобразие. Сплав прозаических слов и терминов с извлечениями из интеллектуально-элитарного словаря и словаря архаизмов создает не просто мгновенную зарисовку, но жестко фиксированное настроение.

Эти сочные, облые стебли тупой травы... Среди полых буглоков и пленок от сигарет остающийся – вылушен столь же, увы, – доедает рассеянню винегрет.

Или:

Вот где, вот где выдохнуть «ich sterbe» – место под секвойей клинописной, в золоте безмыслия, под ископаемой пинией реснично-кистеперой... И такой-сякой ей все никак не дорасти, до ассирийской, до раскаянья, до стеснительности кипарисов Академии, до Плотина безликого, до безлистого платана неоплатонизма...

Пурин придерживается принципов классической русской просодии. Он подчеркнуто дистанцируется от постмодернистских изысков, не уклоняется от основных правил силлаботоники и бескомпромиссно рифмует любые сложные синтаксические конструкции. При этом стихи его всегда современны, хотя он охотно прибегает к реминисценциям из античных и старинных западноевропейских источников, не говоря уже об отечественной классике. Как это удается поэту? Этот секрет заложен, разумеется, в особенностях его дарования.

В нише – такелажноволокнистый, вертикальноскрученный, как трос, – в душевой среде прозрачномгlistой, в ярости сырой, крупнозернистой – Себастьян игольчатый пророс.

Характерный признак поэтики Пурин – аллитерации и созвучия, эффект которых не только в эстетическом обогащении стихов, но и в усилении смысла звучащей картины.

Сосновый сон тесовый,
где ели – вместо туй...
Тасуй, перетасовывай,
ресницей рай рисуи!

Интересна не только лексическая система поэта, любопытна также зво-

люция этой системы. «Уснащение стиха аллитерациями, рассчитанными на чисто акустический эффект, стало раздражать», – сказала когда-то по другому поводу А.Ахматова. С годами педалирование словесного отбора постепенно сменилось у Пурина стремлением к естественности речи не в ущерб яркости зарисовок.

Что чуткая прелесть ланья –
пугливой души тюрьма?..
От жалости и желанья
вот-вот я сойду с ума.

Сильная сторона Алексея Пурина – пластичность, сочность и точность описания предметов и явлений повседневности. Лишь изредка промелькнет строчка, говорящая о жизни отвлеченно: «О, с каким же мозгом конопатым / нужно жить в отечестве моем». Уже в цикле «Евразия» мы почти причастны быгу казармы, едва ли не сами улавливаем признаки разложения незыблемой некогда твердыни, которое привело к сегодняшней катастрофической армейской действительности. Но ярче всего проявился дар поэта в его любовной лирике («Созвездие рыб»).

Кто уста целует твои? Ладонь
чья течет от шеи к бедру?..
Да, ревную. Да, я умру – лишь тронь.
А не тронешь – тоже умру.

Или:

...Все, что не ты, на стуле,
на полу оставь – и иди
вязким светом в липкий постельный улей...

Пурин живописует любовь земную, чувственную, но умеет видеть чистоту чувства, чураясь любых проявлений пошлости.

Было жалко смывать наутро
твою суть с ладоней и уст...
О, какая там Камасутра! –
смертоносно вспыхнувший куст,
перламутра звездного пудра, –
а не «коитус» и «воллост»...

Иные строки поэта надо читать с энциклопедией или глоссарием в руках. Даже подготовленный читатель не всегда без напряжения определит для себя разницу между Эребом и эфебом и усвоит перечисления вроде:

«Ах, зачем тебе, кифаред-Фамира, / этот дар Валдая, свисток Вилюя, / снегирек Рифея?» или: «Кто там – Ану-бис, Тифон, Геката?». Впрочем, весьма интеллектуально*.

Уместно сказать здесь несколько слов о чуть раньше вышедшей книге А.Пурина «Архаика», где собраны юношеские стихи, до той поры не изданные. Сознвая, что начало творчества сопряжено с пробой пера, некоторыми следами ученичества и невольного подражания, он, не торопясь с их публикацией, избежал нареканий и наставлений. Читая «Архаику», особенно интересно наблюдать становление и какую-то направленную шлифовку собственного голоса поэта.

Ноздреватый песчаник и ржавых кустов
квадрат,
повторяющий твердый квадрат
неподвижных плит.
Здесь уже даже тем, что жив, ты пока
виноват
перед мертвыми, жалко лепечешь:
«Никто не забыт!..»

Во многих стихах уже ощущается авторская сила, умение точно воссоздать и обстановку, и настроение минуты:

...Как больно отвыкать
от счастья целовать твердящие невнятно,
в потемках находить умолкнувшие... Ах,
ни шепота, ни губ, забывших шепот, пятна
почтовых штемпелей...

Казалось бы, в «Архаике» уже есть вещи узнаваемые, «пуринские», мастеровитые. Но, по-видимому, чем-то с точки зрения автора они уступают аналогичным стихам, позднее вошедшим в книги и журнальные публикации поэта.

Много и разнообразно работающий поэт чужд суетливости. Демонстрируя расцвет творческих сил, высокий уровень мастерства, Алексей Пурин предлагает читателю добротную поэтическую продукцию.

Иосиф НЕЛИН

* Даже друзья не скрывали иронии, когда, увлекшись эллинизмом, О.Мандельштам в урбанистических стихах именвал улицы стогнами.

Посттеория для постчеловека

●

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Том IV. Литературный процесс. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001.

●

Согласно одной из философских временных концепций, «стрела времени», направленная из прошлого в будущее, относится к категории энтропийного времени. Семиотическое же, или эсхатологическое время, понимание которого возникло в ранней христианской философии, развернуто в противоположном направлении, в сторону искупления того, что было. Вот и труд «Теория литературы в четырех томах», созданный силами сотрудников отдела теории ИМЛИ – редколлегия в составе Ю.Б.Борева (гл. редактор), Н.К.Гея, покойного А.В.Михайлова, С.А.Небольсина, И.Ю.Подгаецкой, Л.И.Сазоновой, – по прихоти заказывающего музыку финансированию РГНФ начинается выходить не с первого, а с четвертого тома, как бы идя навстречу не только самому себе, но и аналогичному четырехтомнику, выходившему здесь же около четырех десятилетий назад (в обычной очередности томов).

Среди главных особенностей и, по всей вероятности, достоинств нынешнего издания я бы назвал прежде всего опыт масштабного применения в отечественной филологии открытого Т.Куном и уже давно освоенного в иных научных сферах парадигмального метода мышления. Благодаря ему были найдены емкие, исполненные особой теоретической метафоричности формулы для характеристик литературных эпох, их подразделений и взаимопереходов. Читаешь оглавление второй части этой книги («Теоретическая история литературы») и испытываешь истинное филологическое наслаждение, как будто оглавление это написано каким-либо современным, переквалифицировавшимся в литературные теоретики Ларошфуко. «Древнейшая эпоха: отождествление изображения и реальности» – в этой главе миф трактуется как форма перехода от магических реалий. «Эпоха

средневековья: человек в мире монастыря, замка и города»: здесь о рыцарском романтизме литературы Замка, персонажи которой – герои в сражениях, но мученики в любви, о сакральном аллегоризме литературы Монастыря, в которой мученик уповал только на волю Бога, и о порожденном искусством Города карнавального натурализме, в котором народный смех казнил несовершенства мира, омывая его весельем, преображал и обновлял. «Особенности эпохи Возрождения: «делай что хочешь!», однако свобода используется и людьми, желающими творить зло. Ренессансный гуманизм выдвигает на первый план «титана, сражающегося с морем бед, чтоб победить их в единоборстве», а маньеризм – «подданным в мире беззаботности и вычурной красоты». «Период разочарований (кризис Возрождения): делай что хочешь? И зло?» включает в себя барокко с «гуманным скептиком-гедонистом в неустойчивом мире, французскую «Плеяду» с «жизнерадостным человеком, ориентированным на гуманизм, национальные и государственные ценности» и рококо с «праздной личностью, почитающей короля и беззаботно живущей среди изящных вещей». Эпоха нового времени – это «поиск вектора действий человека в мире», где «период надежд на долг, нормы и разум» включает классицизм с «человеком долга в абсолютистском государстве», ампир с «государственно ориентированным и регламентированным человеком в империи, охватывающей видимый мир» и просветительский реализм с «инициативным, авантюрным человеком в быстро меняющемся мире», а «период надежд на чувства» охватывает сентиментализм с «впечатлительным человеком, умиляющимся добродетели и ужасающимся злу, и романтизм, выражающий вечность зла и вечность борьбы с ним, где «мировая скорбь» из состояния мира становится «состоянием духа». «Период модернизма: убыстрение истории и усиление ее давления на человека», здесь «модерн: мир в лучах заката», «акмеизм: поэт – гордый властитель мира, разгадывающий его тайны и преодолевающий его хаос», «футуризм: воинственная личность в урбанистически

организованном хаосе мира». «Период неомодернизма: человек не выдерживает давления мира и становится неочеловечивым, благодаря «дадаизму: мир – бессмыслица и безумие», «сюрреализму: смятенный человек в таинственном и непознаваемом мире», «экзистенциализму: одинокий человек в мире абсурда». Наконец, «Период постмодернизма: человек не выдерживает давление мира и становится постчеловеком» в «поп-арте: зомбированный масс-культурой демократ-приобретатель в обществе массового потребления», «гиперреализм: обезличенная живая система в жестоком и грубом мире», «хеппинг: своевольная анархически «свободная», манипулируемая личность в хаотическом мире случайных событий», «соц-арте: социальная проблематика в свете посткоммунистических ценностей», «концептуализм: человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности». Большие сомнения в этой системе вызывает только соцреализм, где «социально активная личность включена в творение истории насильственными средствами», рассматриваемый как производное критического реализма XIX века, в котором «мир и человек несовершенны; выход – непротivление злу насилем и само совершенствование». Думается, значительными своими пластами соцреализм генетически связан в первую очередь с авангардом. В рецензируемом труде в целом большое внимание уделяется основательной, с отсылкой к разнообразным нюансам терминологической проработке. При этом, увы, не очень повезло почему-то понятию «серебряный век», которое как будто бы «ввел» Н. Оцуп. Однако до этого посредственного литератора термин в более критическом смысле использовал В.И. Иванов-Разумник (Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000).

Хорошим фоном для литературно-теоретических построений являются в книге искусствоведческие этюды, которые, однако, порой излишне замкнуты в себе, слабо связаны с основным материалом. Так, в главе о психологическом реализме (где «личность ответственна; ее духовный мир долж-

на заполнять культура, способствующая братству людей и преодолению их эгоизма») фильм М.Антониони «Блоу-ап» сопоставляется – по раздельно «важнейшего из искусств» – с «Седьмой печатью» И. Бергмана, а литературный первоисточник, рассказ Х. Кортасара «Слюни дьявола», даже не упомянут.

Любопытным опытом исследовательской экспедиции на теоретическую целину во всеоружии европейской теоретической аппаратуры стала глава о развитии литературы в неевропейских ареалах (территориально ограниченная, впрочем, только пределами Тропической Африки, поисками «настоящего африканского романа»). Правда, начальный посыл о сходстве нынешней африканской литературной ситуации с советским конструктивизмом 1920-х годов (разница «лишь» в том, что оценка литературной самобытности у них в корне противоположна) противоречит последующей картине поиска африканской национальной идеи. (Кстати, замечу, что в книге многократно высказываний от первого лица, что несколько странно для жанра коллективной монографии.)

Публицистическая категоричность сквозит в стремлении зафиксировать чуждость мировой культуре той литературы, что ищет национальную идею вокруг журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник». Это при том, что роман Л. Леонова «Пирамида», которому – в качестве образца «магического реализма» – посвящена в книге целая глава, впервые был опубликован именно в «Нашем современнике».

Порою излишне навязчиво звучит в тексте не до конца преодоленная перестроечная мыслительная парадигма: «Демократизация нашего общества и исчезновение партийной опеки способствовали тому, что вышли в свет произведения, авторы которых стремятся художественно осмыслить историю нашего общества во всем ее драматизме и трагизме (особенно значительно в этом отношении произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»).

Идея эстетики соцреализма об активном воздействии литературы на действительность оказалась правильной, но сильно преувеличенной, во всяком случае, художественные идеи

не становятся «материальной силой». Игорь Яркевич (ну и теоретический авторитет! – А.Л.) в опубликованной в Интернете статье «Литература, эстетика, свобода и другие интересные вещи» (ну и ссылка! – А.Л.) пишет: «Задолго до 1985 года во всех либерально ориентированных тусовках звучало как девиз: «Если завтра опубликовать Библию и Солженицына, то послезавтра мы проснемся в другой стране». Господство над миром через литературу – эта идея согревала сердца не только секретарей СП».

Именно благодаря новой атмосфере после 1985 г. вышли в свет «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Котлован» Андрея Платонова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и другие произведения, долгие годы оставшиеся за пределами круга чтения советского человека».

Надо было быть очень советским человеком, чтобы до 1985 года все же не прочитать «Доктора Живаго» с «Котлованом» и «Чевенгуром», не говоря уже об «Архипелаге ГУЛАГ». Последний явил собой как раз превращение художественных идей в самую что ни на есть «материальную силу». Правда, основную свою просветительскую и разрушительную роль по слову парадигмы во всемирном масштабе он сыграл не после официального «выхода в свет», а ранее, когда стал достоянием подлинных творцов истории, а не широкого круга советско-российских читателей и новых теоретических «авторитетов» в современном смысле этого слова. Вавилонская башня XX века провалилась в литературоцентричную «Вавилонскую шахту», как называется одна из кафкианских притч (кстати, на протяжении целых двух страниц излагается в книге содержание притчи Ф. Кафки «Превращение». Интересно, какой уровень теоретической подготовки подразумевается у читателя, если ему нужно так подробно все растолковывать? При этом для Андрея Платонова у авторов пока что нашлась не столько теоретическая, сколько историко-литературная характеристика: «изгой соцреализма»). Покуда не решена проблема соотношения количества читателей и их, так сказать, качества, предлагаю такое

парадоксальное развитие известного романного изречения: «Настоящие рукописи не только не горят, но и не публикуются!» Ну а если все же опубликовать их, то обязательно с именным и предметным указателями.

Александр ЛЮСЬИЙ

Мастер парадоксов

●
Кирилл Ковальджи. ТЕБЕ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. Избранная лирика. М., «Когелет», 2002.

●
 В этой книге – ни дат, ни посвящений. Это сразу ставит общий тон работы вне времени и вне биографии автора. Название сборника – «Тебе. До востребования», и в нем – уже очень узнаваемый почерк Кирилла Владимировича Ковальджи. В наше время завалов, обвалов и развалов лотошной литературы каждая книга, не отмеченная ее печатью, воспринимается как чудо. Но автор не упрощает себе задачу. Потому и до календарных подробностей не снисходит, если они по замыслу не нужны. Из какого, например, века эти строки:

Господи, что ты задумал,
 что сотворил ты со мной?
 Ранил меня красотой,
 велел: чтоб я полюбил,
 Но за миг промедленья
 карал меня мертвой тоской,
 но за шаг приближенья
 ты меня молнией бил.

Из XX? Из XXI? Разумеется, въедливый историограф проставит все же век XX, ориентируясь по характерному «ты» с малой буквы. Это, надо полагать, навсегда останется особенностью орфографии именно прошлого века. Однако и в нынешнем, и в прошлом – мертвую тоску испытывал почти каждый, а многие ли открыли для себя, за что она?

Философские открытия Ковальджи не навязываются читателю, точные формулировки не сопровождаются словесными фейерверками: ничего поверхностного и конъюнктурного. «Будете проходить мимо – проходите».

Ковальджи – мастер парадоксов, не лежащих на поверхности. В силу этого у него нет любовых, хрестоматийных стихотворений. Есть, вернее, одно на весь сборник – «В начале и в конце века». Но и тут автор, не изменяя себе, удивляет неожиданным нехрестоматийным словечком в окончании.

Далекий от всяких банальностей, поэт тем не менее в отношении банальностей наблюдателен – для того, чтобы извлечь из них парадокс очередного открытия. Таково, например, начало «Любови и лингвистики»:

По-русски
любовь действительно зла:
она не любит множественного числа.

Для автора сама структура русского языка – носитель того важнейшего для него (и всегда нелинейного) склада реальности, которая упрямо сминает все логические упрощения.

По Ковальджи – не случайно:
запрещая расхожий размен,
русский язык указал
на единственность, неповторимость,
уникальность...

Установив авторитет рифмы почти на судьбинный уровень, поэт все же ни рифмам, ни судьбе покорности не проявляет:

пламя и знамя,
любовь и кровь,-
погодите, не смейте
притягиваться
и рифмоваться!

И только после этого открывается его предерзостное стихотворение:

Бог
любовь

Это – все стихотворение, но знающим парадоксы Ковальджи ясно, что суть тут не в риске (хотя и немалом) повторения теологического открытия двухтысячелетней давности. Просто в заглавии стихотворения эти слова объявляются рифмой, причем с декларативностью манифеста. В русском языке не так? А должно быть – так!

Вся сила этого «должно быть» – в том, что написано это не бунгарем-дилетантом, а мастером, у которого руки от эмоций не дрожат, для которого технических сложностей стихосложения не существует, автором двух венков сонетов, представлен-

ных в этой же книге. Как и следовало ожидать, Ковальджи не впал в соблазн множества стихотворцев, сообразивших, что большинство нынешних читателей про сонет знают только то, что в нем четырнадцать строк, а стало быть, можно беззнакано занижать планку.

Сонеты Кирилла Ковальджи безупречны по исполнению, что не всякий может оценить, но к тому и не приглашается: нет ни тяжести, ни натуги в неспешном и прозрачном течении мыслей. Так в хорошо устроенном саду не чувствуется веса воды и камней, хотя создатель сада это учитывал. Динамика образов поэта молодо легка, ритм не спорит со смыслом и оставляет неясное ощущение счастья.

Чем создается это ощущение? Тем ли, что сонсы Ковальджи «перестреливаются белками», что «Москва, какулика, кругла», что в темноте «отчаивается зеркало»? Или очевидностью того, что секунду назад очевидным не было?

Кирилла Ковальджи трудно цитировать. Очень многие его стихотворения слишком цельны, и так их и надо воспринимать: или целиком, или никак. Таково самое пронзительное стихотворение из всех, которые мне случилось читать о женской доле: «Совсем закружили дела...» Таковы стихотворения «Полоумный», «Хэппи-энд», «Меня оперировали...», «Слепой сеятель». И вещь, открывающая сборник: «Ты белкой в России была»...

Нелинейность автора может привести в отчаяние литературных критиков: на какую же полку его поставить? В какой внести файл? Если философ – то почему его стихи, в том числе и верлибры, так легко, будто для того и рождены, ложатся на музыку? Если блестящий стилист подчеркнуто хорошего тона – то куда девать озорство крупнозернистой русской речи? Если сухая, тренированная культура мышления – то откуда чистейшая лирика «лунатиков любви»? Если «беззащитная исповедальность» (часто встречающийся штамп) – то как это связать с жестким мужеством строк:

Жизнь – как сон. Но, может быть,
бессмертье,
как бессонница, нам надоеет.

Что ж, такова судьба стихов слишком живых, чтобы подчиняться порядку размеченных полок, пусть даже хорошо протертых от пыли.

Ирина РАТУШИНСКАЯ

Шульц, или Общая систематика осени

В пять часов утра наш дом купался в пылающем блеске раннего солнца, в этот торжественный час бесшумное, никем не видимое сияние брело по комнатам, где за опущенными занавесами еще внушительно колыхалось безмятежное сопение спящих...

В ранний этот час мой отец – ибо он уже не мог спать – спускался по лестнице с бухгалтерскими книгами, собираясь открывать лавку, которая помещалась в нижнем этаже, на мгновение останавливался перед дверью, моргая, выдерживал атаку солнечного огня...

Магазин был для моего отца местом вечного мученичества. Это выростившее творение его рук наваливалось на него все тяжелее и перефосло его самого, то было время, непосильное для него, задача возвышенная и неразрешимая. Полный страха перед ее грандиозностью и величием, поставив на эту карту всю свою жизнь, он с отчаянием замечал легкомыслие персонала, порхающий, безответственный оптимизм своих помощников, их шутовские, бессмысленные телодвижения на поверхности великого дела. С горькой иронией вглядывался он в череду этих лиц, не мучимых заботами, видел лбы, не изборожденные ни единой мыслью, проникал до дна этих глаз, чью невинную доверчивость не омрачала ни малейшая тень подозрения. Чем могла помочь ему мать с ее лояльностью, с ее преданностью? Ее простой, не ведающей угрозы души не коснулся даже слабый отблеск этих чрезвычайных забот... От всего этого мира беспечности и праздномыслия мой отец все больше отгораживался, все настойчивей бежал в затвор некоего ордена и, пораженный этой распущенностью, посвятил себя одинокому служению... («Мертвый сезон»).

Город Дрогобыч, по-польски Дрохубыч, в ста километрах юго-западной Львова, с населением около 60 тысяч, из которых значительную часть составляли евреи, в сентябре 1939 года был занят немецкими войсками, затем, согласно договору о разделе Польши, немцы отошли на запад, чтобы уступить дорогу Красной Армии, и город вместе со всей Восточной Галицией стал частью Украинской ССР.

В июне 1941 года, в первые дни так называемого русского похода – нападения на Советский Союз, части вермахта вновь вошли в Дрогобыч, осенью следующего года в соседнем Бориславе произошел первый еврейский погром. Те, кому удалось спастись от погромщиков – украинцев и поляков, были согнаны в дрогобычское гетто, учрежденное оккупантами; среди его обитателей находился местный житель, учитель рисования и черчения Бруно Шульц. В четверг 19 ноября 1942 года во время облавы Шульц был застрелен на улице шарфюрером СС Карлом Понтером. Ночью один из друзей Шульца нашел его труп и похоронил тайком на еврейском кладбище; могила не сохранилась.

Больше шестидесяти лет прошло после гибели Бруно Шульца и более ста десяти – со дня, вернее, ночи на 12 июля 1892 года, когда он родился в доме торговца мануфактурой Якуба Шульца на Самборской улице в Дрогобыче. Бруно Шульц был третьим, самым младшим ребенком, диковатым, необщительным, рано обнаружившим художественное дарование. Семья не была религиозной, в документах отец называл себя поляком иудейского вероисповедания, в синагогу ходили по большим праздникам. Дома говорили по-польски, официальным языком учреждений был немецкий. Этот край на задворках

дряхлой Австро-Венгерской империи граничил с Российской империей, такой же архаичной; его уроженцами были Йозеф Рот, Пауль Целан, Роза Ауслендер, Роза Люксембург, Манес Шпербер. Это восточная окраина той самой Центральной Европы, в которой хотели видеть «лабораторию модерности» (Б.Дубин) и которая до сих пор возбуждает у одних (Милан Кундера) чувство трагической потери былого цветника европейской культуры, у других (Отто Габсбург с его девизом: *Zurück zur Mitte*, «вернемся к центру») – надежды на возрождение Пан-Европы вокруг Вены, Праги, Будапешта.

Шульц окончил дорогостоящую польскую гимназию, поступил в Высшее техническое училище во Львове, собирался изучать архитектуру, но принужден был вернуться из-за болезни отца и угрозы разорения. Неудача постигла его и в Вене, где он начал было учиться в Академии изящных искусств; отец умер, магазин в Дрогобыче был продан.

В 20-е годы Шульц, живший случайными заработками, создал цикл замечательных, отчасти напоминающих модного в начале века Фелисьена Ропса графических листов под общим названием «Книга о служении идолу». Папки с рисунками, которые он дарил друзьям, ныне хранятся в частных собраниях и некоторых польских музеях. К несчастью, рисунки выполнены на бумаге скверного качества, которая долго не протянет. В начале 90-х годов они демонстрировались на выставке в Мюнхене. Их тема – мазохистское поклонение женщине.

В заметках покончившего с собой в сентябре 1939 года Станислава Виткевича (они опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1996, № 8, перевод В.Кулагиной-Ярцевой) есть любопытный отзыв об этих работах: психический садизм и физический мазохизм, будто бы характерные для женщин, у мужчин вывернуты наоборот, и Шульц, по мнению Виткевича, доводит эту особенность до предела. «Средством угнетения мужчины у него оказывается женская нога, самая опасная, если не считать лица и еще кое-чего, часть женского тела. Ногами топчут, терзают...». Далее говорится о «чудовищных рожах шульцевских дам».

Впоследствии эти рисунки подали повод для домыслов о специфической психопатологии художника, хотя в литературных сочинениях Шульца ничего подобного нет. Другие графические работы, созданные позже, – уличные сцены польско-еврейского городка в экспрессионистском стиле, автопортреты художника, идущего рядом с отцом, – могли бы служить иллюстрациями к его рассказам. Шульц получил, прежде чем обратить на себя внимание как прозаик, некоторую известность в польском художественном мире, несколько раз выставлялся. Ему удалось, сдав экзамен, получить место преподавателя рисования в гимназии.

Живя в глуши, он переписывался с писателями, приобрел друзей, среди них были Витольд Гомбрович, Тадеуш Бреза, Юлиан Тувим. Мечтал жениться, сделал предложение поэтессе Деборе Фогель, но родители панны Деборы воспротивились союзу с провинциальным учителем. Еще одна барышня, католичка, стала его невестой, ради нее он вышел из еврейской общины, собирался заключить брак в Силезии, переехать в столицу; женитьба не состоялась.

К этому времени (30-е годы) Бруно Шульцу же весьма широко печатался в польских литературных журналах, публиковал статьи, рецензии, выпустил два сборника новелл, перевел на польский язык роман Кафки «Процесс» и удостоился литературной премии в Варшаве. Рецензент «Вядомошчи литерацики» называет его основателем новой литературной школы. Шульц совершил поездку в Париж, где надеялся завязать связи с художниками, – ничего не вышло. Первого сентября 1939 года, на рассвете, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по крепости Вестерплатте в устье Вислы близ Данцига, немецкие моторизованные части ворвались в Польшу, и жизнь изменилась.

Шульц был малорослый, шуплый человек с невыразительной внешностью, робкий, неуверенный в себе и склонный к депрессиям. («Не знаешь ли ты в Варшаве какого-нибудь хорошего невропатолога, который полечил бы меня бесплатно? Я решительно болен – тоска, отчаяние, чувство неотврати-

мого краха, непоправимой утраты...». *Письмо к Романе Гальперн*, январь 1939.) Во время оккупации присоединилось какое-то соматическое заболевание. Поначалу, с приходом русских, положение Шульца остается прежним, он все еще учительствует в гимназии Ягелло; теперь он гражданин СССР; посылает две повести (по другим сведениям, рассказ под названием «Возвращение домой») в Москву, в редакцию журнала «Интернациональная литература»; ответа нет, рукопись пропала, неизвестно, дошла ли вообще. А вот еще один эпизод короткого междувременья: ко дню выборов в Верховный Совет Шульцу поручено написать портрет Сталина. Вождь народов в полувоенном френче, с литыми усами, с радостно-загадочным взором украшает здание ратуши, но, к несчастью, загажен галками. Узнав об этом, художник, по свидетельству Ежи Фицовского, заметил, что впервые в жизни не испытывает досады от надругательства над своим творением. Впрочем, ни в письмах Шульца, ни тем более в его сочинениях нет ни малейших следов интереса к политике. Другое дело, что «политика» сама проявила к нему интерес.

Со вторым приходом немцев, после начала войны с Россией, Шульц потерял свое место учителя. Как все, он должен был носить на рукаве повязку со звездой Давида. Гестаповец по имени Феликс Ландау, бывший столяр из Вены, ныне «референт по еврейскому вопросу», проявил внимание к художнику, приобретает его рисунки в обмен на продукты (Шульц живет с родными, все без работы) и позирует ему. Референт обитает на вилле, где Шульцу велено расписывать стены спальни сценами из сказок. По протекции того же Ландау удалось получить другие заказы: росписи в конноспортивной школе и местном управлении гестапо, составление – но это уже скорее приказ – каталога конфискованных библиотек. Сто с лишним тысяч книг свалены в помещении дома для престарелых, работы хватит на много месяцев.

Зофья Налковская и литературные друзья в Варшаве пытаются помочь Шульцу. Есть возможность бежать. Он колеблется. Между тем тучи сгущаются. В Бориславе – по наущению гестапо – погром. В Дрогобыче евреев сгоняют в гетто. Это первый этап; второй – отправка в лагерь уничтожения. Друзья добывают деньги и фальшивый паспорт. Составлен план побега (о нем рассказывал Фицовский). В Дрогобыч должен приехать переодетый в форму гестапо офицер подпольной Армии Крайовой или сотрудник бывшей польской разведки, «арестовать» Шульца и препроводить его в Варшаву, где приготовлено убежище.

В день облавы в ноябре 1942 года в городе было убито около ста человек с желтой звездой. Ландау, покровитель Шульца, застрелил зубного врача, которого опекал эсэсовец Гюнтер. Кто-то из местных жителей слышал, как Гюнтер, повстречав Ландау, сказал: «Ты убил моего еврея. А я – твоего».

В послевоенной советизированной Польше Бруно Шульц должен был умереть вторично. Заслуга вызволения Шульца из окончательного забвения принадлежит нескольким польским писателям, прежде всего Ежи Фицовскому, о котором здесь уже упоминалось: еще в 1946 году он пытался обнародовать материалы к биографии Шульца. Протолкнуть публикацию удалось одиннадцать лет спустя, после смерти Сталина. Мало-помалу, ценой великих усилий стали появляться тексты самого Шульца; рецепции его прозы много способствовали статьи критика Артура Зандауэра. Вышла в свет (1967) книга Фицовского «Регионы великой ереси», наконец, Шульц был переведен на западные языки.

Есть основания думать, что немалая часть написанного им пропала (как и множество графических и, возможно, живописных работ). Утверждают, что он был автором романа под названием «Мессия» и еще одного тома повестей и рассказов. Существует малоправдоподобное известие о том, что он посылал рукопись «Возвращения домой» Томасу Манну; ни в письмах, ни в самых подробных биографиях Манна об этом нет упоминаний. Никого из родных Бруно Шульца после войны не оказалось в живых, пропали без вести люди, у которых кое-что хранилось; друзья, знакомые, женщины, любившие Шульца, рассеялись; Гомбрович уехал в Аргентину, Тувим эмигрировал в США, Дебора Фогель, Романа Гальперн погибли в лагере уничтожения.

Сохранившееся – повесть «Комета» и два сборника рассказов с трудно воспроизводимыми заголовками, один из возможных переводов – «Лавки пряностей» и «Санаторий под водяными часами» – составляет триста с небольшим страниц. Это и есть то, что в конце концов сделал Шульца не просто известным писателем, но поместило его в первый ряд европейских прозаиков только что минувшего века. Собраны и выпущены отдельными изданиями его литературно-критические статьи (в том числе программный текст 1936 года «Мифологизация действительности», в переводе Бориса Дубина – «Миф и реальность»), разыскано несколько прозаических отрывков, два-три десятка писем.

В ряду многих научных трудов, которым посвящал себя мой отец в скупо отмеренные часы душевного покоя и досуга, посреди ударов судьбы и крушений, коими его награждала бурная, полная приключений жизнь, всего милей его сердцу были исследования по сравнительной метеорологии и особенно – о специфическом климате нашей неповторимой провинции. Не кто иной, как он, мой отец, заложил основы точного анализа различных форм климата. В своем «Введении в общую систематику осени» он дал исчерпывающее разъяснение сущности этого времени года, которое в нашей провинции принимает особо утомительную, паразитически разбухающую форму, называемую «китайской осенью», ту, что вторгается в самые недра нашей многоцветной зимы. Да что я говорю? Он первым раскрыл вторичный, производный характер этой формации, которая представляет собой не что иное, как отравление климата миазмами того перезрелого, выродившегося искусства барокко, что переполняет наши музеи. Это архивное, разлагающееся в скуке и забвении искусство, без выхода, без оттока, засахаренное, как старый мармелад, пересластило наш климат, оно-то и стало причиной того отмеченного красотой малярного жара, того красочного безумия, в котором чахнет наша томительная осень. Ибо красота – это болезнь, учил мой отец, таинственная инфекция и темное провозвестие распада, доносящееся из глубин совершенства... «Можешь ли ты постигнуть отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи?» – спрашивал мой отец... Осень, осень, александрийская эпоха года, в чьих гигантских книгохранилищах скопился выдохшаяся мудрость трехсот шестидесяти пяти дней солнечного кргооборота... («Другая осень»).

Может показаться самонадеянной затея писать о Бруно Шульце и его творчестве без достаточного знания польского языка. Если автор этой статьи все же отважился на что-то подобное, то отчасти потому, что он был, кажется, первым, кто познакомил (по зарубежному радио) русских слушателей с судьбой и наследием этого писателя. Мое внимание к Шульцу привлек, в свою очередь, Петер Ли-лиенталь, один из лидеров так называемого Нового немецкого кино 60-х годов; был проект (не осуществившийся) сделать фильм по мотивам рассказов Шульца. Что касается публикаций в России, которые стали возможны лишь после краха советской власти, то честь быть первым переводчиком рассказов Бруно Шульца с языка оригинала на русский язык принадлежит, если не ошибаемся, Асару Эппелю. Эту заслугу невозможно переоценить. Правда, мне кажется, что по сравнению с переводами на западные языки работа Эппеля несколько проигрывает: в его переложении барочный стиль Шульца подчас начинает напоминать нарочито непричесанный, сдобренный вульгаризмами стиль новой русской прозы. Переводы отдельных рассказов, а также писем и статей Шульца выполнены Б. Дубиным, И. Клехом, В. Кулагиной-Ярцевой, Г. Комским. Сравнительно недавно появились новые переводы Леонида Цивьяна.

Отец – центральный персонаж почти всех дошедших до нас художественных произведений Шульца. Отец – неудачливый коммерсант, обремененный семьей, в вечных хлопотах под угрозой разорения; отец – чужак и визионер, философ и ученый, автор диковинных сочинений; отец – маг, демиург фантастического космоса, похожий на Всевышнего или даже (кто знает?) его земное воплощение.

В повести «Комета» отец, оставив все дела, безвылазно сидит в своей лаборатории, ставит эксперименты с электричеством и магнетизмом, наблюдает загадочные превращения материи, общается с оккультными силами природы – провинциальный самоучка, изобретатель велосипеда. А вместе с тем –

чудодеем и мистиком, Фауст XVI века, посвященный в секреты черной магии. Разбуженные им космические стихии бушуют над городом, толпы взбудораженных жителей собираются на улицах, в черном небе стоит хвостатая звезда. Ждут светопреставления. Но ничего такого не происходит. Причина – вполне прозаическая: комета перестала быть сенсацией, попросту говоря, вышла из моды. *Энергия актуальности исчерпалась... предоставленная самой себе, комета улетела от всеобщего равнодушия и удалилась.*

В другой повести, «Санаторий под водяными часами», давшей название сборнику новелл, сын совершает путешествие в далекий санаторий к отцу, который, по-видимому, умер, но продолжает жить странной потусторонней жизнью. В «Гениальной эпохе», где речь идет о мальчишке-художнике, отец в виде исключения присутствует лишь на заднем плане; рассказы начинаются с рассуждений о времени. Время приводит в порядок обыденные факты, *и это очень важно для рассказов, ибо длительность и последовательность составляют их сущность*; время заполнено фактами, как вагон, где не осталось свободных мест, и, когда происходят настоящие события, они не умещаются во времени.

Вместе с материей претерпевает удивительные метаморфозы и ее властелин: отец может превратиться в подобие кухонного таракана или в чучело кондора. Мать уверяет мальчишку, что это не так, отец якобы стал коммивояжером, приезжает домой поздно вечером и уезжает на рассвете; но она слишком простодушна, чтобы понять истинный смысл его исчезновений. В рассказе «Последнее бегство отца», которым заканчивается цикл «Санаторий под водяными часами», действие происходит *в позднюю и пропашую пору полного распада, в период окончательной ликвидации наших дел*. Вывеска над магазином отца снята, идет распродажа остатков товара. Отец умер. Но что значит умер? Он умирал уже много раз, умирал как-то не совсем, оставался в живых, хотя и умер, и это имело свою положительную сторону: *он постепенно приучал нас к факту своего ухода*. Однажды мать вернулась домой из города в полной растерянности. Она подобрала где-то на ступеньках существо, похожее на рака или крупного скорпиона. Отца можно было сразу же узнать. В дальнейшем происходят разные события, отец забирается в кастрюлю с кипящей водой, остается жив и в конце концов уползает, чтобы исчезнуть навсегда.

«Последнее бегство...» больше, чем другие произведения Шульца, побудило сравнивать его с Кафкой. Шульц переводил Франца Кафку на польский язык в годы, когда до всемирной известности Кафки было еще далеко, мало кому приходило в голову, что речь идет о профилирующем писателе века. Похожая история, как мы знаем, произошла и с самим Шульцем. Ни тот, ни другой не только не стали, но и не могли быть, скажем, нобелевскими лауреатами.

Кафка носил чешскую фамилию, был евреем и принадлежал к пражской немецкой литературе. Шульц, с его немецкой фамилией, родным польским языком и австрийским подданством, был в известной мере человеком сходной судьбы. (В отличие от Шульца Кафка умер «своей смертью». Но Голокауст настиг его, так сказать, посмертно, вся его родня погибла в печах.) Некоторые сквозные мотивы, прежде всего иудейская мифология всемогущего Отца, сближают обоих писателей. Их сближает и литературное происхождение. Кафка был немецким писателем, а не еврейским или чешским. Шульц, хоть и писал по-польски, гораздо теснее связан с литературой Австро-Венгрии, чем с собственно польской литературой. Слова о барочном, перезрелом, музейном искусстве, которое будто бы насытило празднично умирающую осень в «нашей провинции», – не воспоминание ли о последних временах Дунайской монархии? Гротескный эпос Шульца подчас может напомнить прозрачную, жутковатую, как на картинах Дельво и Магритта, и вместе с тем неотразимо реальную, как сновидение, фантасмагорию Кафки. Отец, который обернулся членистоногим, и Грегор Замза, превратившийся в жука, – не родные ли братья?

И все же: какие это разные писатели, разные художественные миры, как непохожа кафкианская атмосфера страха и одиночества на атмосферу рассказов Шульца. Мир Кафки, где беззащитный человек тщетно отстаивает свое достоинство перед лицом зловещих анонимных сил, у врат абсурдного Зако-

на, содержание которого никому не известно, где, как в тоталитарном государстве, каждый под подозрением, каждый виновен, не зная за собой вины, виновен самим фактом своего существования, – и мир Шульца, отнюдь не сумрачный, не безнадежный, подчас даже гротескно-веселый, капризно-причудливый, полный детской серьезности и галицийского юмора. Шульц писал одному из друзей: «Дело в том, что род искусства, который мне ближе всего, – это и есть возвращение, второе детство... Моя мечта – «дозреть» до детства» (Андрею Плесневичу, март 1936. Пер. Б.Дубина). Новеллы Шульца – эпос о похождениях героя, увиденный изощренным зрением художника, но, может быть, попросту сочиненный ребенком-фантазером.

Стиль Франца Кафки: суховатый, деловой, протокольный, заставляющий вспомнить стиль и слог австрийской канцелярии, рационалистичный по контрасту с алогизмом содержания, добросовестный и достоверный при всем безумии того, о чем сообщается. Стиль Бруно Шульца: барочный, велеречивый, рапсодический, а подчас и мнимо-научообразный, чуть ли не пародийный, всегда живописный, изобилующий неожиданными метафорами, невероятными сближениями, фантастическими преувеличениями. Все новеллы рассказывают об одном и том же: городишко, семья, магазин, безалаберный чудако-отец; и каждая новелла – открытие. Захолустье, превращенное в универсум. Повествование, утепленное личными интонациями, в котором особое место занимает то, что лишь с большой условностью можно назвать картинками природы. Часто рассказ начинается с метеорологических прологов (вроде того, как роман австрийца Музиля «Человек без свойств» открывается сводкой погоды), с фантастических описаний климата, как бы цитирующих ученые труды отца. И так же, как обстоятельная, составленная по всем правилам науки метеосводка Музиля подытожена самой обыденной фразой: «Одним словом, стоял прекрасный августовский день», – так и красочно-причудливая, сюрреалистическая картина осени у Шульца – это просто осень.

Всякий знает, что вслед за чередой обычных летних сезонов свихнувшееся время нет-нет да и выродит из своего чрева странное, дегенеративное лето; откуда-то берется – словно шестой недоразвитый палец на руке – фальшивый тринадцатый месяц. Мы говорим: фальшивый, ибо он редко достигает полного развития: словно поздно зачатое дитя, он отстает в росте, горбатый месяц-карлик, побег, который увял, не успев произрасти, скорее воображаемый, чем настоящий. Виной тому – старческая похоть лета, его поздний детородный позыв. Бывает так: август уже миновал, а старый, толстый ствол лета по привычке продолжает зачинать, гонит и гонит из гнилых своих недр эти желтые, идиотические дни-уродцы, дни-волдыри, а сверх того дни, похожие на обглоданные кукурузные початки, пустые и несъедобные, – бледные, растерянные, бестолковые дни...

Иные сравнивают эти дни с апокрифами, которые кто-то тайком засунул между главами великой библии года, или же с теми белыми страницами без текста, по которым бредут вброд усталые, навьюченные тюками прочитанного глаза...

Ах, этот забытый, пожелтелый романс года, эта толстая растрепанная книга календаря! Забытая, где-то валяется она в архивах времени, но ее содержание продолжает разбухать под обложкой... И сейчас, когда я пишу эти наши рассказы, когда заполняю рассказами о моем отце ее истрепанные поля, меня не покидает тайная надежда, что когда-нибудь, незаметно они пустят корни между пожелтелыми листьями этой великолетнейшей из всех распадающихся книг... То, о чем здесь у нас пойдет речь, случилось в тринадцатом, излишнем и, значит, фальшивом месяце года, на этих нескольких пустых страницах великой хроники календаря... («Ночь большого сезона»).



Октябрь

предполагает опубликовать
до конца года:

Виталий ВУЛЬФ	Главы из новой книги
Анатолий ГАВРИЛОВ	Повесть
Андрей ГЕЛАСИМОВ	Рахиль. Повесть
Михаил ЗАДОРНОВ	Писатель, который разводил кошек Из цикла "Фантазии сатирика"
Владимир КАНТОР	Гид. Повесть
Анатолий КИМ	Роман
Николай КЛИМОНТОВИЧ	Роман
Павел КРУСАНОВ	Американская дырка. Роман
Михаил ЛЕВИТИН	Повесть.
Давид МАРКИШ	Рыжий. Повесть
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ	Белый круг. Роман
Юнна МОРИЦ	Весна в Карфагене. Семейный роман (1920-2001 гг.). Продолжение Книга "Рассказы о чудесном"
Анатолий НАЙМАН	Стихи
Юрий ОЛЕША	Роман
Владислав ОТРОШЕНКО	Стихи
Олег ПАВЛОВ	"Прости меня, Суок, что значит вся жизнь". Переписка с женой
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ	Повесть
Вячеслав ПЬЕЦУХ	Вольная проза
Эдвард РАДЗИНСКИЙ	Рассказы
Михаил РОЩИН	Рассказы
Павел САНАЕВ	Книга о терроризме
Игорь САХНОВСКИЙ	Воспоминания об Олеге Ефремове
Михаил ТАРКОВСКИЙ	Детский мир. Роман
Антон УТКИН	Рассказы
Валерий ХАЗИН	Рассказы в рубрике "Место жительства"
Александр ХУРГИН	Роман. Рассказы
Евгений ШКЛОВСКИЙ	Каталоги Телегона
Асар ЭППЕЛЬ	Рассказы
Сергей ЮРСКИЙ	Рассказы
	Цикл рассказов
	Рассказы

В рубрике "ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ" - ведущий Андрей БАЛДИН - статьи, эссе
Василия ГОЛОВАНОВА, Рустама РАХМАТУЛЛИНА, Гелы ГРИНЕВОЙ и др.

Статьи философов Владимира КАНТОРА, Бориса ПАРАМОНОВА
и Александра СЕКАЦКОГО, политолога Ярослава ШИМОВА,
культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, критика Марии РЕМИЗОВОЙ,
а также новые произведения

Василия АКСЕНОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Аркадия БАБЧЕНКО,
Дмитрия БЫКОВА, Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ, Игоря ВОЛГИНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ,
Владимира КАЧАНА, Кирилла КОБРИНА, Алексея ЛУКЪЯНОВА,
Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ,
Юрия ПЕТКЕВИЧА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА,
Бориса ХАЗАНОВА и др.